

СИБИРИАДА

ТАИСЬЯ
ПЬЯНКОВА

Я-ДОЧЬ
ВРАГА НАРОДА

Тайся Пьянкова

Я – дочь врага народа

© Пьянкова Т.Е., 2021

© ООО «Издательство «Вече», 2021

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2021

Сайт издательства www.veche.ru

* * *

Моему внуку Илье ПОСВЯЩАЕТСЯ

Предисловие от автора

Летом 1986 года мною был отдан в редколлегию Новосибирского книжного издательства уже готовый (по моему мнению) роман «Птаха вольная воробей» на рецензию. Судя по объёму работы (540 страниц) и моей придирчивости к себе, роман этот ложился на бумагу очень много лет. Начат он был ещё тогда, когда у меня не было даже примитивной пишущей машинки, потому рукопись писалась от руки.

В ноябре того же года писатель Л.А. Баландин вернул роман с очень добрым отзывом, но решением, что произведение публиковать всё-таки рановато, следует доработать.

Мне этого хватило, чтобы осознать себя никудышным романистом...

С той поры я вплотную стала заниматься сказами^[1]. Затем пришла мысль написать книгу о моём детдомовском детстве. Получилась повесть «Я – дочь врага народа». После выхода этой работы (февраль 2015 г.), стали поступать просьбы о продолжении произведения. Результатом тому было моё согласие. Так в декабре 2017 года увидела читателя моя вторая повесть «И всё-таки – жить!»

Все годы создания стихов, сказов, сказок я даже ни разу не заглянула в рукопись своего первого романа. Меня одолевало желание выбросить её, как старый хлам. Но рука не поднималась: работа всё-таки была сделана огромная. Хотя, признаться, я совсем забыла её содержание.

Где-то в марте 2019 года я просматривала свои бумаги – на предмет уничтожения. И вот старая, пожелтевшая папка с забытым романом снова оказалась в моих руках. Прежде чем окончательно обречь эту работу на уничтожение, я всё-таки её открыла. Открыла, будучи уже совершенно другим человеком. Как-никак, со времени работы над романом минуло не менее пятидесяти лет (если учитывать, с какой скрупулёзностью я вывожу свои произведения в люди). Писательский, жизненный, критический опыт, здравый рассудок позволили мне понять, что же мною тогда руководило – многие годы отданы этой работе. Удивило меня то, что она оказалась преддверием двух моих уже состоявшихся повестей. И ещё поняла, что уже тогда я была

писателем (хотя мало уверенным в себе). Естественно, я приступила к работе над романом, по сути, заново.

Я беспощадно убрала всякие пустословия, заменила многие слова на синонимы, несущие в себе более глубокий смысл, исключила описательства, слабо утверждающие моменты событий, наконец услышала согласие звуков...

В результате у меня от прежней работы осталось меньше трети объёма – получилась повесть, которую я определяю начальной книгой данной трилогии.

Часть 1. Воробей – птица вольная

Глава 1

В конце октября тысяча девятьсот сорок первого года, ночью, на степном полустанке был загнан в тупик кулундинский поезд. Проснись в это время кто из пассажиров, его бы охватило недоумение: кому это вздумалось занавесить вагонные окна чёрным бархатом? Но приглядишься, и он бы заметил вдалеке квадрат неяркого света, за кисеёй которого открылось бы ему нутро путевой сторожки с обходчиком внутри.

Кто-то и впрямь отворил дверь одного из вагонов. Сказал в темноту хриплым женским голосом:

– Сдуреешь с такую ездой. Пятые сутки телимся...

– Четвёртые, – уточнил девичий голос из соседнего тамбура. – Эшелоны через Татарку гонят.

– Гонят-хоронят, – срифмовала хрипатая и добавила: – Лупят нашего брата и в хвост и в гриву... На фронте – фашист, тут – своя сволота дёржит...

– Война «дёржит», – возразил молодой голос. – Перемогаться надо...

– Перемогался тать – греха не брать, так он сам в душу лезет... Чё сидели, чесались...

– Тебя бы туда – почесаться...

– А чё! – согласилась хрипатая. – Власть у нас народная. И я народ!

– Ты? Народ?! Да ты тот народ, что с народа семь шкур дерёт.

– Надо будет – и с тебя сдеру.

– Пупок не сорви, Григорьевна!

– Ха! Пугала ярка подъярка^[2]...

Хрипатая громко позевнула и спокойно пожелала:

– Чаёчку бы горяченького.

– С чужим сахарком, – съязвила молодая.

– А то, – не смутилась чаёвница. – На халяву и хрен сладок...

– Уж не с хрена ли тебя сухотка заела?

– Паскуда! – почти весело выругалась Григорьевна.

– Ну уж нет! – возразила молодая. – Маньку свою паскудь – она у тебя по Каинским да Омским все чужие постели поизмяла...

Хрипатая разом втянула в себя доброе ведро воздуха. Не меньше того выпустила в темноту грязной ругани. Но дверь соседнего вагона уже захлопнулась.

Помянув чёртову куклу, хрипатая развернулась – уйти. В тамбуре, однако, сошлась грудью с кем-то в темноте затаённым. Не испугалась. Только сказала: «Язви тебя!» И прошла в вагон.

На лавках, на узлах, на полу спали сумошники. Они стонали, кричали, кашляли. Старались хотя бы во сне освободиться от тягот накатившей войны.

– А этому ш-шелкуну, – проворчала Григорьевна, имея в виду тамбурную встречу, – никакая холера сна не даёт...

Одетый в серое обдёрганное пальтецо, в шафрановый беретик, остроносый этот «ш-шелкун» появился у вагона в Славгороде. Появился не один. В нервной толпе пассажиров за него орудовал парняга в собачьей дохе, чёрных кудрях и с розовыми ушами дармоеда. Он одолевал толпу не силою. Широкою глоткой издавал такие звуки, словно старался напугать паровоз. Люди цепенели, пропускали горлопана вперёд. За кудрявым, словно катерок за ледоколом, следовал шафрановый беретик. Глазоньки из-под шафрана вознесены были на затылок дармоеда, а пальчик его крутился у собственного виска. Этим шафрановый извещал народ, что кудрявый не в себе...

В тамбуре горластый верзила только что не растёр проводницу по стене, «ш-шелкун» и перед нею решил покрутить пальцем. Но Григорьевна рявкнула:

– Во! Прилабунился к балбесу! Знает, что в России дураков любят.

Шафрановый беретик собрался было перед нею посомневаться относительно российской любви, но его кто-то сильный двинул по его ногам корзиною, а потом выпихнул из тамбура в вагон.

Григорьевна тут же забыла о нём, лишь в сердце осталось не то шевеление, не то жом. Это побуждало её излишне канителиться. Даже различать лица пассажиров, хотя для неё они давным-давно слились в единое месиво.

Войдя после посадки в вагон, Григорьевна тут же увидела остроносого. В заношенной зелёной стёганой безрукавке он сидел на лавке в третьем купе – коленями в проход. За его спиной бровастая

тетёха теснила до окна чету стариков. Она держала на мощных стёгнах копну тугого узла. Недовольство так и лезло из её недospelых паслёновых глаз. Она давно бы столкнула ненужного ей мужичонку на пол, если бы не кудрявый парняга над головой, хотя тот, откинув цыганистую башку на перетянутый медной проволокой чемодан, прикрытый отцовым пальто, уже сопел на второй полке так, будто на этот раз силится сдвинуть с места всё тот же паровоз.

При каждом его выдохе остроносый шевелил пальцами рук, упёртых в колени – вроде старался, чтобы не сдуло, нащупать точку опоры. Видя его носишко, устремлённый в проход, Григорьевна подумала:

«Ышь! Того и гляди загудит-вопьётся... Кровосос!»

И вдруг ей захотелось, чтобы мужичишка смутился – тот потупил глаза; захотелось, чтобы оробел – стал озираться на мощную бабу. Но когда ему было велено задремать, фокус не удался, хотя бровастая тетёха и та уже оттопырила губу...

«Ышь, вылутился! Хоть мешок на морду набрасывай!» – зло подумала Григорьевна и ушла в дежурку. Там она остановилась перед зеркалом; от никчёмности вида своего поморщилась; щёку дёрнула нервная жилка.

– Язви его! – сказала хрипло, но беззлобно. – Надо же, растележилась... Нашла перед кем...

Наконец затеплился рассвет. Подхватывая на совок мусор, Григорьевна пятилась вдоль вагона. Когда она поравнялась с мужичком, тот вскочил, оступился, пал на колени, ухватился за неё и стал подниматься по её телу, как пьяница по столбу. Из близкого купе, ровно курицу из мешка, кто-то выпустил хохот. Проводница веником хлестанула влезавшего прямо по шафрану, под которым обнаружилась плешь. Мужичишка ухнул на лавку, придавил сонной тётке стегно. Та заверещала. С верхней полки явилась крепкая рука и вlepила ей такой щелбан, что тетёха лишилась голоса. А проводница уже сидела в дежурке, пытаясь понять: оскорбили её или обласкали?

Всю свою жизнь Григорьевна и не думала, что кто-то на неё позарится. Кроме сто раз проклятого ею мужа, не знавала она в своей жизни больше никого и напрочь изжила в себе женщину. Да и Филиппа Лопаренкова помнила она в мужьях не больше года. Женился

он не на ней, а на богатстве её отца. И только этой любовью был до предела обуян.

На солончаковых выпасах Барабы стада Григория Дзюбы нагуливали в ту пору молоко особого вкуса. Масло отличалось неподдельной солонцой, и потому облизывались на него не только русские гурманы. Так что с огромным куском этого масла Филипп Лопаренков и заглотив, как случайную муху, дочку Григория Дзюбы.

Проводница вновь глянула в зеркало и отвернулась. Но тут же отразилась в стекле пока ещё тёмного окна. Там впадины её глазниц представились очами, мерцание капельных зрачков – влажной поволокою. И себя, законную, Григорьевна вдруг пожалела.

– Хозяюшка-а, – проник в щёлку двери виноватый голос. – Прости дурака.

Она тяжело шагнула, во всю ширь раскатила дверь и с маху опустила кулак на плешивое темя мужичка. Тот вякнул, нервно поддёрнул локотками брюки и исчез.

– А не суйся... – тихо сказала она в пустоту. – Ышь, кобель паршивый! Всю серёдку вывернул...

Отец её, Григорий Дзюба, революцию принял сразу. Сам явился перед новой властью, сам сказал – всё ошупное, видимое и спорое примите от меня с пользою для светлого дня родимой земли!

Широко шагнув в светлый день, Дзюба и о чёрном не забыл: столько отложил, что никак не мог его дожидаться. Нетерпение это и учуял зятёк. Когда же по Сибири взялась орудовать колчаковщина, Филипп смекнул, что пора кричать ура. Но тесть пояснил зятю: сколь блоха ни скачи, а ржать ей не придётся... Тогда Филипп встал перед большим колчаковцем и предложил – давай поровну!

Взяли Дзюбу, а тот – кремень! Как ни долбили, даже искры не высекли. Денщик, который пластал его кнутом, балагуром оказался. С каждым ударом читал, как псалтырь: «Не таи, не прятаяй ни серебра, ни злата, ни от царя, ни от ката, а спрятал, змей, сокрыть умеи; а вот те ишшо на бока – не примаи в зятевья дурака...»

Из приговорок Дзюба утвердился в своей догадке, чья охота подсунула его под кнут. Филипп и сам не боялся быть уличённым. Закопать надеялся грех в тестевой могиле. Не подумал, что такого в

кровь забитого тестя примет и укроет тёмная ночь. Тогда Филиппу словно кто пружины в задницу вставил: за три дня от Каинска до Колывани допрыгал. Там и остопился потому, что дорогу ему вовсе неожиданно загородил расхлёстанный тесть...

В тот день Григорьевна и овдовела, и осиротела. И осталась на свете молодой, одинокой, обнищавшей матерью. Долго пыталась отыскать отцову заначку, да пришлось плюнуть и перебралась жить из Каинска в Татарск.

На новом месте пошла она работать уборщицей в Сибторг. Стала думать о судьбе с тяжёлой иронией. Но когда её дочка, Мария, взялась израстать (в Филиппову породу) красавицей, усмешка у неё получаться перестала. Тогда подавала она завхозу Сибторга и вёдра и тряпки; пошла нанялась в проводницы и раскатилась по спекуляции...

Мимо пассажирского поезда, стоящего в тупике, проносились в ночной тьме товарняки. Духота в вагоне густела. Григорьевна решила пустить сквозняк. Но не успела отворить дверь, как услышала за спиною ласковый голос:

– Стоим, хозяйюшка? Колёсики-то не крутятся...

Григорьевна молча распахнула двери, молча вернулась в дежурку. Мужичонка семенил следом, дурашливо прищебетывая:

– Не крутятся колёсики-то. И гудочек не посвистывает. Язви его!

Последние слова рассмешили проводницу. А мужичок разом усёк такое дело и опять было сунулся в дежурку. Да услышал:

– Ну!

Вертелось на языке у Григорьевны весомее слово, только привычная для неё грубость на этот раз прокрутилась вхолостую. Так прокручиваются шестерёнки в старых ходиках. Она всего лишь и добавила к сказанному: «Отвяжись!» А потом, прежде чем задвинуть за собою дверь, сморозила и вовсе чёрт-те что:

– Много вас тут... соловьёв...

Сказанного она не выдумала: дорожных певунов всегда можно по вагонам собирать мешками, только к ней это никакого отношения не имело.

Никтошеньки за десяток лет вагонной службы не то что соловьём пропеть – вороном в её сторону не каркнул. И вот те... Дождалась кухарка приварка...

В зеркале дежурного купе жалкая ухмылка повела её щёку набок. Григорьевна стёрла её ладонью. Отвернулась. И сразу в оконном отражении передразнила себя, говоря:

– Не посвистывает... Свистнуть бы тебе, чтобы не липнул к одиноким...

– А до кого мне ещё липнуть? До семейных? – услышала она за спиною и обнаружила, опять же в окне, что дверь приоткрыта.

Мужичишка за порогом тихо задрезжал смехом. Григорьевна косо улыбнулась, но не отозвалась. Мужичок разом оказался в дежурке. Григорьевна тут же ощутила на тощей своей талии трепет нервных пальцев.

– Ещё чего! – хлестанула она по блудливым рукам. – Озоруй мне!..

– Чего ты, святая душа? – отдёргнул «озорник» руки и только не заплакал. – Разве я чего тревожного?..

Он опустил на сиденье, стал пояснять:

– Смятение твоё от сухости жизни твоей...

– Во! – изумилась Григорьевна. – А ты чё? Размочить моё смятение явился? Мало ли нас, баб, с вашими войнами, на корню повысохло? Всех не размочишь... Иди-ка лучше жалей своё место в вагоне, а то займут.

– Шут с ним, с местом. Не привыкать...

– Чё так?

– Да мы с сыном с первого дня войны место ищем...

– Бродяжите, значит, – уточнила Григорьевна. – Не время болтаться-то? Гляди, немец нагрянет. Он не любит, когда человек не при деле...

– Да-а, – протянул мужичок. – Похоже, слопают нас Гитлер до весны... – вздохнул он, качая головою. – Сам-то я и под чёртом проживу, а вот сын... Больной он у меня. Припадочный.

– Господи, твоя воля! – произнесла Григорьевна не крестясь. – Больное дитя – нарыв: и саднит, и саднит.

– Нарыв – он прорвётся, – горестно вздохнул несчастный отец. – А тут... – махнул он рукой и заканючил: – Нынче у немца страда: почём зря косит. До Сибири-то дойти, может, намахается... Глядишь, и сын мой на что-нибудь сгодится. Притомились мы бегать. Считай, пять месяцев... Прирасти бы где...

– По вас не скажешь – притомились. Шуба-то на твоём бугае... только не лопаётся. А на чемодане? – поглядела она в упор на мужичка. – Эвон сколь... проволоки-то... Чехол бы, что ли, какой натянули... А то заглянуть хочется...

– Жили мы до немца или нет? – обиделся мужичок.

– Ну-у! Жили!

– Работали или не работали?

– А чёрт вас знает. Теперь разве разберёшь...

«Неразобранный» взялся подниматься, но Григорьевна сказала:

– Какие мы обидчивые... Надо же! Уходить нешто собрался? А чё тогда скулил у двери?

Обидчивый сел и замямлил:

– Жить не живём, подохнуть легче...

– С таким-то чемоданом?! – удивилась Григорьевна и тут же, глянув в окно, сообщила: – Снег повалил... Сам-то пошто не воюешь? – напрямую спросила она. – Аль тоже припадочный?

– Язва у меня.

– Смотри не потеряй! А то взамен шанелку серую схлопочешь...

Григорьевна уже поняла, что ЭТОТ ищет по свету пристанище с надёжной хозяйкою, такую примерно, как она. Потому готов многое стерпеть. Она решила не миндальничать, села рядом, спросила:

– Жену свою пытал – нет? Спрашивал, поди-ка: какой-такой здоровый фулюган изловил её? Ышь какого породистого сына тебе отвалила! – Она похлопала гостя по колену. – Ну-ну-ну! Брось! Никакой обиды тут нету. Где бы овечка ни бегала, а ягняточки всё наши... – Затем напористо осведомилась: – А может, он такой же припадочный, какой ты язвенник?

– Ну и характер! – только и проговорил гость.

– А ты покайся, – посоветовала Григорьевна, заглядывая ему в лицо. – Я – поп надёжный. И в доме своём одна живу...

Мужичок оживился:

– Это дело! Это да-а!..

Тут Григорьевна решила, что пора пришла узнать:

– Тебя как зовут-то?

– Осипом. Осип Семёнович Панасюк.

– Сю-сю-сю, – ухмыльнулась проводница и назвалась: – Фетиса Григорьевна Лопаренкова.

– Не из простых, – заметил Осип.

– Да уж! Не ошибся, – согласилась Фетиса.

Она извлекла из-под стола укутанный в казённое одеяло чайник и подтвердила:

– Есть маленько.

Затем пригласила:

– Придвигайся.

В этот момент вагон дёрнуло...

Глава 2

Нюшке пригрезилось, что не бабушкин голос пропел над её ухом – грянул оркестр, тот, который летом помешал ей понять, о чём кричала с подножки зелёного вагона её мать.

Девочка села в постели, сообразила, что испугалась напрасно, и снова повалилась на подушку. Сразу увидела тот самый зелёный вагон с белыми во всю длину буквами... Но бабушка опять затормошила её:

– Вставай, воробей!

Нюшка подняла косматую голову, увидела в морозном окне рассвет, съехала с кровати на пол, потянула со спинки стула вязаную кофту. Но бабушка остановила её:

– Мордаху сперва сполосни. Не в курятник нацелилась...

Девочка раз-другой поддала мочку рукомойника, утёрлась холщовым полотенцем, отворила дверку шкафа.

– Не дотянешься, – остановила её бабушка и проворчала: – Всё сама... Всё сама... Батя родимый...

Девочка надела поданное ей платье, влезла на табурет, покрутилась перед зеркалом. Тонконогая, в пёстром наряде, она и впрямь смахивала на воробья.

Бабушка расчесала ей вихры, приобняла, сказала:

– Червячка хоть замори... Кто знает, когда там Варвара раздобрится покормить вас?

– Не, – отказалась Нюшка. – Верка велела рано быть, а то большие сядут гулять – не до нас будет. Она показывала мне, сколько у них там всего наготовлено.

– Понятно, – согласилась старая, – где ж не наготовить... – Потом, скорее для себя, чем для внучки, уточнила: – Сам-то Степан Матвеич – бог и царь в любом колхозе. Потому как – заготовитель!

Говоря это, она поверх шубейки повязала внучку платком, глянула в запрокинутое личико, попросила:

– Если Варвара лишнюю постряпушку раздобрится дать – не откажись: Тамарка Будина совсем плохая. Пусть хоть перед смертью сдобненького пожуёт. Вечером сама и отнесёшь.

Нюшка толкнула попой дверь и с обещанием «ладно» утонула в холодном сумраке сеней.

Сама Елизавета Ивановна Быстрикова прошла до окна. В проталину стекла увидела рассветный переулочек, подумала вслух:

– Чего бы это Немчихе раздобраться – Ньюшку в гости приглашать? Наверно, надо платье новое пошить или к седьмому побелить в доме...

По утреннему снегу Ньюшка топотала чунями. Они походили на калоши деда Мицая, который служил завхозом в школе деревни Казанихи, где был директором Ньюшкин дядя – Быстриков Сергей Никитич.

Деревня от районного города Татарска отстояла в двадцати километрах. Отправляясь в район по делам школы, Мицай обычно забирал с собой деревенскую почту. Если в Татарске его застала ночь, заезжал переночевать в доме матери своего директора – Елизаветы Ивановны.

Завидев в окошко старика, маленькая Ньюшка обычно пряталась за сундук. Сидела там и знала, что старый Мицай только потому не Дед Мороз, что у него и калоши, и борода чёрные.

Появляясь в доме Быстриковых, Мицай первым делом принимался «искать» Ньюшку. Старик долго «не мог её найти», а когда находил, визгом и смехом наполнилась вся изба...

Чуни для внучки соорудила сама Ивановна – так звали бабушку её соседи; все внучкины и не только её пожитки остались в Новосибирске, потому как после ареста энкавэдэшниками по 58-й статье^[3] Ньюшкиного отца мать с дочерью были высланы из города в двадцать четыре часа...

Войну они встретили в Татарске, в хатёнке Ньюшкиной бабушки. Отсюда и забрали хирурга Александру Быстрикову прямо на передовую...

И пришлось Елизавете Ивановне отыскать в кладовке старые ребячьи валенки, отрезать от них голенища, ими же подшить головки. Готовые чуни она поставила перед Ньюшкой, сказала:

– Щеголяй! Пугай зиму. Пусть она бежит – фашистов морозить.

При ходьбе чуни шмыгали, оставляя на снегу следы, похожие на больших головастика. Это всегда забавляло Ньюшку. Но сегодня она торопилась к подружке, которая позвала её на именины...

Во дворе Немковых притомилась брехать собака Халда. Девочкины следы успела припорошить снежная искра, а калитка высокой зелёной ограды все не отворялась. Гостье давно бы следовало понять, что в доме никого нет, да сладкий запах ванили сулил праздник. Нюшка пыталась заглянуть во двор, но не находила щели.

Готовая заплакать, она прилипла лицом к доскам ворот, зажмурилась и в зелёной темноте увидела знакомый зелёный вагон. Странно, что на этот раз она различила вдоль вагонов белые буквы, которыми было написано: «Наше дело правое – мы победим!»

Читать Нюшку научил отец. Он же наказывал ей никогда не жаловаться, не врать и не реветь. А вот сколько можно стоять в ожидании у чужих ворот, этого он не успел объяснить...

И вдруг на неё сверху свалился голос:

– Ты чего тут забыла?

Нюшка метнулась от ворот; чуня свалилась, подвернулась под ногу, уронила её на четвереньки, и такой девочка попятилась от голоса.

– Эт-того ещё не хватало! – опять услышала она над собою, а перед собой увидела на серых валенках чёрные клеёные калоши деда Мицая.

Старик подхватил её, поставил на ноги, сказал:

– Негоже такому человеку, как ты, ползать перед воротами всякой нечисти! Твоя мать на фронте солдат от смерти спасает, а ты, видишь, чё творишь... По земле только фашистское тараканье ползает!

Он приподнял за подбородок её лицо, заглянул в глаза, сам качнул головой в сторону калитки, спросил:

– Зачем ты к этим?

– Надо.

– Надо так надо... – не стал допытываться дед, а, вытянув из-за опояски полушубка кнут, ударил кнутовищем по воротам.

Во дворе взорвался собачий лай, и тут же пропел Немчихин голос:

– Слышу, слышу... Чего доски-то ломать? Не своё, так и не жалко...

– Ты, Захарьевна, насчёт своего-то помолчала бы... – отозвался Мицай и громко обратился к Нюшке: – Если эта паразитка вздумает ещё когда над тобой изгаляться, бери палку! К этим выследкам с палкой ходить надо...

– Чему учишь?! – заругалась было Немчиха, но, высунув голову в проём приоткрытой калитки, уже елеиным голосом спросила: – Ты

чего это, Данилыч, расходился? – И вроде только что заметив девочку, разве что не запела: – Нью-туш-ка! Ты к нам? Проходи, милая.

Девочка поглядела на Мицая, старый подтвердил:

– Иди, иди! Поди-ка, не слопают.

Хозяйка пропустила гостью во двор, там спросила:

– Ивановна, что ли, зачем прислала?

– Не-а, – ответила Нюшка. – Верка ваша на именины звала.

– Ещё не лучше! – воскликнула Немчиха. – Нашла мне гостью! Со всякой хухры мохры...

– Варвара! – грянул с улицы голос Мицая. – Только обидь мне малую!..

Дух стряпни замутил Нюшке голову. Озябшими пальцами она не сумела распустить узел платка, стащила его с головы на плечи и не посмела окончательно его снять, поскольку хозяйка, указав ей на табурет у двери, велела:

– Сядь!

Девочка покорилась, а Немчиха взялась втыкать длинный нож в огромный кусок свинины, что лежал на столе. В каждую прорезь всовывала она по дольке чеснока. Нож был туповат, и гостя мысленно стала помогать хозяйке. Табурет под нею взялся поскрипывать.

– Чё ёрзаешь?! – окрысилась Варвара.

Нюшка притихла, а хозяйка прошла до горячей плиты, грохнула там синей мискою, кинула в неё кусок масла, сказал в сердцах:

– Только проснись мне, курвёха! Я т-те справлю именины!..

Она вернулась к столу. Льняное полотенце, что таило у печи на лавке что-то бугристое, задетое хозяйкиным подолом, сползло на пол – оголило поставленные на ребро круглые хлебные булки. Из эмалированного таза вылупились на девочку жёлтыми яичными глазами сдобные шаньги.

– У, ладья! – обозвала себя Немчиха. – Раскурдючилась...

Она подхватила с пола накрыву, отряхнула и заново прикинула ею готовую стряпню. Но одна из шанег осталась глядеть на гостью яичным оком.

Нюшке показалось, что она шепчет, почему-то картаво: «Дурлочка ты дурлочка...»

На плите, в синей миске зашипел ком сливочного масла. Глянцевым опльвом он тоже стал пялиться на гостью. Оседая, он словно хотел спрятаться за край посуды. А когда осел, начал плевать на плиту синими огоньками.

– Раззява чёртова! – спохватилась хозяйка и впопыхах сдвинула чашку голой рукой, отчего затрясла пальцами, заругалась: – Задурили совсем башку, что б вы все передохли! Где тряпка? – чуть не вывернулась она мездрой наружу.

Нюшка соскочила с табурета – подать тряпку, которая лежала на краю стола. Однако Немчиха рывкнула так, что во дворе вновь отозвалась Халда:

– Прыгай мне тут! Тряси вшами!

Девочка бросилась к порогу, но Варвара ухватила её за шиворот, пихнула на прежнее место.

– Сядь! – приказала. – Сщас проснётся сучонка моя – разберусь с вами: кто кого приглашал...

Немного погодя она стала выговаривать Нюшке:

– Гляньте на её. Капся капсёю, а туда же – в гордость! И знать не хочет, чья она дочь... Вот порода! Ты мне поясни, – потребовала она, – на какой такой вершине вы все, Быстриковы, стоите, что и до макушки вашей не доплюнешь? Ну, врачи! А чё наврачевали? Пару драных штанов? В бабкиной вашей завалюхе доброму вору и прихватить-то нечего...

Девочка понимала, что Немчиха говорит уже не ей. Говорит она в ту избушку, где её бабушка думает, что внучка от подобрешней Немчихи принесёт сдобную булочку – угостить больную подружку Тамарку Будину...

На табурет девочка больше не села – опустилась на корточки у порога, уткнулась лицом в колени. Сначала она принимала хозяйкину говорильню пословно, затем слова смешались, зашумели непогодой, вроде Лиза и в самом деле взшла на вершину горы. Скоро она и впрямь увидела перед собой бескрайнюю неизвестность, поняла, что именно быстриковской породой определено одолеть ей этот простор...

Пойми Варвара, каким уроком для девочки послужит её брехня, подавилась бы словом. Но она токовала и токовала, как глухарь, чуя только себя.

Тем временем Нюшка уже оказалась в бабушкиной хатёнке, где недавно умерший дед Никита, похлопывая худыми ладонями, пел:

Три татары, два татары.

Три татары, два татары...

Голос у него был хороший, но иных песен он не знал, хотя бабушка уверяла, что в молодости дед ходил в бо-ольших педунах.

Для любимой внучки он готов был петь своих «татар» когда угодно, сколько угодно, только бы она при этом плясала.

– Ну, – смеялась бабушка, – взялся балет...

Кончалась обычно пляска тем, что дед нащупывал под подушкой гостинец и одаривал им «народную танцорку»...

– Уснула!

Нюшка вздрогнула, подскочила, пропустила уже одетую Немчиху в сени. Там Варвара лязгнула дужкой ведра, хлопнула дверью, и скрип её шагов потонул в радостном собачьем лае.

И опять на гостью выпучилась желтоглазая шаньга. Девочка не выдержала, подошла укрыть пучеглазую, но помедлила – спросила шёпотом:

– Чё ты вылупилась? Не бойся – не заберу.

Она пальцем погладила сдобу, похвалила:

– Краси-ивая!

Словно ёлочную игрушку она приняла шаньгу на ладонь, вдохнула аромат ванили, на вытянутой руке стала баюкать сдобу, придумывая колыбельную:

Ты меня не бойся, полотенцем укройся.

Не возьму я тебя никогда, никогда...

Скрип сенной двери бросил девочку к порогу. Тут она вспомнила про шаньгу, метнулась вернуть. Но хозяйкины шаги кинули её вспять. Она прижала постряпушку к себе и сама прилипла спиной к дверному косяку.

Стоило Немчихе перешагнуть порог, девочка рванулась в открытую дверь и так скоро оказалась на улице, что Халда хватилась лаять, когда калитка уже захлопнулась.

– Под ворами, – говорила как-то бабушка Лиза, – кроме страха, никакой опоры нету. Ползают они по страху своему, как по гребню высокого хребта; по одну сторону – пропасть больной памяти, по другую – бездна никчёмности. И елозят они по острию своей жизни, и скулят, и скалятся на простых людей. Куда ни ползут, туда и беду несут...

«Не воровка я, – хотелось кричать девочке, которую уносили ноги подальше от немковского двора. – Не воровка!..» – шептала она, всё медленнее перебирая ногами. Глаза её плохо видели дорогу, и она то скользила по наледям, то оступалась на рытвинах. Но не плакала – не могла она понять своей вины. Не верила, чтобы невольная её проделка могла бы кому-то принести горе. Не ведала, что для жаждущих истины существует одна лишь правда – правда быть понятым.

Наконец Нюшка остановилась, посмотрела на шаньгу, которую всё ещё прижимала к груди, не придумала – что с нею делать, сунула за пазуху и побрела дальше...

Вдруг она оказалась на главной Володарской улице Татарска, как раз против своего переулка. Второй от угла теплилась двумя окнами бабушкина хатёнка. Окна её глядели и на деревянный мостик через канаву, копанную вдоль бабушкиного двора, и на хилую у калитки заиндедевешую рябину – только не на Нюшку.

Избёнка, мостик, рябина были как бы нарисованы на холсте, в который невозможно было войти... Тогда девочка решила оказаться в своём дворе с тыла. Соседней оградой она добралась по снегу до межевого плетня, влезла на него, увидела с высоты ещё один двор – двор бабушки Буды. Увидела, что сама старушка стоит на крыльце дома, вскидывает к небу руки, потом роняет их себе на голову и покачивается...

Из сеней вышла чужая тётка, увела Будю в тепло...

Нюшка колыхнулась на плетне, раскинула руки – шаньга скользнула из-за пазухи на снег. Тут же недалеко опустилась с неба ворона, трепыхнулась и боком стала прискакивать к поживе. Нюшка сверху повалилась прямо на сдобу...

Она не сразу осмелилась глянуть под себя, а когда увидела шаньгу целой, радостно вскочила; ворона каркнула и нехотя взлетела на крышу сарая. Нюшка сказала ей:

– Сама не ем. Тамарке Будиной обещала.

Сказала и обрадовалась этой правде.

Тем же путём девочка вернулась на улицу. По тротуару, вдоль заплота запрыгала к дому Будиных, напевая:

Скоком, боком, не-на-ро-ком
Поскачу к лесным сорокам.
Поскачу, полечу, всех я пе-ре-стре-ко-чу...

У этой песни, чтобы допрыгать до Будиных ворот, не хватило слов, и девочка начала другую:

Чудо-юдо па-ро-воз, ты куда меня по-вёз?
Видно, сел я на-у-гад – по-во-ра-чи-вай на-зад...

Намеченные ворота на этот раз оказались рядом прежде, чем слова закончились. Девочка допрыгала своё пение на одном месте и только потом оказалась во дворе.

Тёмными сенями она пробралась до тяжёлой избяной двери, потянула за скобу. Пока пролезала в скупой проём, успела увидеть подружку Тамарку. Та голая сидела в корыте, поставленном посреди пола; мокрые волосы занавешивали ей лицо. Густой пар восходил из корыт. Девочке показалось, что Тамарка замурована внутри глубины живого тусклого льда.

Нюшкина бабушка держала Тамарку за подмышки, чужая тётка намыливала вехотку...

Обе подняли глаза на вошедшую и замерли. Она же вынула шаньгу из-за пазухи, протянула бабушке, но та сказала:

– Ступай, воробей, домой. Я скоро приду.

Чужая тётка заплакала и сообщила:

– Нету больше нашей Томочки, вот она – беда-то какая...

Уходя, Нюшка успела увидеть, что зеркало над рукомойником прикрыто полотенцем. Лишь маленький уголок глядит на неё, скрывая какую-то страшную тайну...

А на улице валил снег. Он когда-то успел запорошить и тропки, и дома, и чахоточные татарские деревца. Всё побелело, кроме неба. Усланное сивым рядом сплошной тучи, оно сеяло и сеяло на землю белую хмарь.

Девочке показалось, что прохожие набухают этой непогодой. В каше клейких снежинок люди плывут стоя. Медленные, усталые, они похожи на ленивых карасей. Некоторые шевелят вывернутыми губами. Но и безголосых Нюшка понимает: они вторят: «Во-ров-ка, во-ров-ка...» На близком переезде слышно стучит злыми колёсами паровоз и во весь город орёт: «При-нес-ла-а беду-у-у...»

И уплывают от неё, от виноватой, рыбные люди в небыль, пропадают меж водорослей, которые ниспадают с низкого, как потолок, неба...

Снег взялся налипать и на неё. Только Нюшке не захотелось становиться рыбой.

Пытаясь нарушить это колдовство, она закричала: «Мама!» Однако её губы уже успели когда-то вывернуться и потому выпустили наружу только водянистый хлип. От хлипанья такого дома и дерева вдруг закачались. Девочку повело тоже покачаться, но она не попала со всеми в лад и её стошнило.

Оттерев рукавом губы, она медленно зашмыгала чунями домой.

На дощатом мостике, перекинутом через канаву, прокопанную вдоль бабушкиного двора, Нюшка сослепу уткнулась лицом во что-то шершавое. Её обдало запахом дыма, пыли и пшённой каши. Этот запах ей был очень знаком. С ребячней она не раз бегала на железнодорожный переезд, где зачастую останавливались военные эшелоны. Там из теплушек выскакивали солдаты. Они спешили обласкать стоящую вдоль насыпи детвору и угощали её плотными кусками пшённой каши.

Нюшка втянула в себя этот запах, раскинула руки и с новым криком: «Мама!» – обняла шинель. Но одна её рука подхлестнулась в странную пустоту. Девочка поглядела вниз, обнаружила на мостике только одну ногу и попятилась. Глянула вверх и увидела там лицо молодого солдата...

Где было догнать девочку одноногому инвалиду? Лишь паровозный гудок, которым несло от переезда, поспедал за нею. Ему, наверное, хотелось помочь Нюшке заплакать, однако ей было не до паровоза. Когда же она уловила его настырный голос, то показалось, что он продолжает орать: «Не воруй!»

Увидев на дороге клок сена, девочка сгребла его, развернулась и помчалась – заткнуть паровозную глотку.

Настывший на чунях снег подсекал её полёт. Она падала, но охапку не выпускала. На огромной наледи она выбороздила в снегу долгую ледяную пролысину и всё-таки пустила сено на ветер.

Усевшись посреди дороги, она промокнула снегом кровь на лице и заметила, что всё кругом изменилось: или задумалось, или подобрело? Потом поняла, что настырный паровоз больше не орёт. Но тут оказалось, что бежать-то ей больше некуда. Она поднялась и, чтобы не стоять на месте, побрела неведомо куда...

Глухая зелень заплота по-прежнему охраняла немковский двор. Халда опять взялась исходить брёхом. Нюшка увидела у соседнего забора гнутую железяку, что выглядывала из-под снега, ухватила её, вытащила, а потом со всего маха долбанула ею по зелёной калитке. И ещё! И ещё! И вдруг повисла на этой железяке, а когда сорвалась – увидела перед собою Варвару в зелёном, как заплот, платье, только уляпанном красными маками.

Выпуская из себя злобу, Немчиха шипела:

– Нищета проклятая! Отвяжешься ты нынче от нас или нет?!

Девочка наконец поняла, зачем она заново оказалась возле двора Немковых. Она отбежала в сторонку, сунула за пазуху руку и крикнула:

– Забери свою шаньгу!

Однако сдобы за пазухой не оказалась. Лиза взялась обшаривать себя, но увидела, как Варвара, словно танк, медленно наползает на неё. За красными маками исчезли калитка, забор, небо... остался только скрежет страшных слов:

– Ах ты, вор-р-ровка!

Под Нюшкин платок полезли Немчихины пальцы, загребли ухо. Девочка крутанулась и что есть силы вцепилась зубами в мякоть ванильной руки.

Крепкая затрещина откинула Нюшку на дорогу. Калитка заскрипела, матерясь и проклиная «вшивую нищету...»

И опять девочка побрела заулками, чиркая по снегу заледенелыми чунями, из которых уже всползал на неё болезненный озноб. Он поднимался по ногам, по животу, по груди, до плеч, до зубов. Зубы взялись стучать. Тряский холод взбудоражил недавнюю тошноту. Голова закружилась. Нюшке казалось, что она летит по небу, куда однажды взметнул её отец. Невидимый, он где-то внизу, он поёт – всё

выше, и выше, и выше... Но руки его не ловят Нюшку. Потому она медленно съезжает с серого неба, ложится животом на такую же серую дорогу, которая расходится под нею голубыми, зелёными, фиолетовыми кругами... Она поднимает голову, но никого кругом не видит. И опять пришлось вставать, задвигать ногами, чтобы совсем неожиданно оказаться возле бабушкиной избы.

Калитка отворена. Во дворе, на крыше сарая, что-то долбит знакомая ворона. Девочка лепит снежок – бросить в птицу, но вдруг обнаруживает перед собой несколько красноносых, сопливых старух. В свете предзакатного солнца они тоже качаются. От этого колыхания исходит скрежет, словно внутри толпы какой-то настырный дурак водит по стеклу длинным ножом.

Последние слова, что слышит Нюшка перед тем, как померкнуть в её глазах вечернему солнцу, произносит прямо ей в лицо одна из плачущих старух:

– Сиротинушка несчастная...

Глава 3

В городе, каким бы он ни был, не живёт то простодушие, которое роднит крестьянские дворы. Деревня всегда знает своего дурака, иначе бы она захворала подозрением, потому как всякий стал бы гадать – уж не меня ли таким считают. Ведь без Анохи^[4] все Ваньки плохи. Дурень на миру – это отхожее место нервной жизни общины.

Иное дело – городок! Тут всякий родится уже «облизанным», и никто никому не позволит переплюнуть себя в самомнении. Поэтому, видать, и не любят городские улочки новосёлов, потому и стараются их изживать. Когда же кто из «новаков» приходится злопыхателям не по зубам, в таком углу города начинается новое летоисчисление.

– Данил-лна, – пытается тогда одна соседка другую, – помнишь, када я эту шаль купляла?

– А то! – гордится Даниловна памятью. – В Мануйлихина примака годок.

И если с «примаками» да «фатерантами» как-то ещё смирялся такой городской закут, продажа дома равна была концу света. Заулок воспалялся, как слепая кишка. Хозяину продаваемого дома разом прощалось всё: и языкастость, и скардность, и, чего греха таить, даже

слабость на руку... Как из мешка сыпались на него примеры возможного исхода предстоящей «дурости».

Но обычно вся эта «мука» молотась на ветер. Дом продавался. Вселялся новый хозяин, и начиналась для него пытка: не помрёт, так подохнет...

– Матвевна! – жаловалась одна старожилка другой. – Вечор потянула меня холера на чердак, квочка, паразитка моя, взялась там гнездиться, а туды ктой-то мне кошшонку дохлую закинул.

– Да никто боле, как новаковы шармачи.

– И я так поняла. Я и швыранула дохлятину ету прям-ка имя на крыльцо...

– А у меня ктой-та поленья из дровяницы наловчился потаскивать...

– А у кумы у моей лук на грядках повыдергали...

– Всё новаки...

– В жисть никогда в нашем проулке такого не было...

Случалось, дом перепродавался, пока владельцем его не становился «подходящий мужик»: либо угодник, либо хват...

А чтобы сокрыть в доме постороннего человека, так это вовсе было пустой затеей. Не удалось и Фетисе утаить своих гостей. Прибыли они в дом слякотной ночью, а белоснежным утром, когда Лопаренчиха, задумавши большую стирку, растапливала печку в летней избе, что стояла во дворе, её окликнула через заплот соседка Калиниха:

– Григорьевна! Приехала, чё ли?

– Прикатила воротила, – отозвалась Фетиса.

– Никак со гостями?

– С какими тебе ишшо гостями?! – сразу озлилась Лопаренчиха. – Яйца в куриной дыре от тебя не утаишь! Нешто моих гостей всю ноченьку ты, бедная, высматривала?

– Ну! – согласилась соседка. – Полсуток на работе отдубасила, два часа за хлебом отстояла, ребятню обиходила, с хозяйством управилась, а там села и давай гостей твоих сторожить.

– Ты свой рот-то паклей не то бы заткнула: текёт из него чё ни попадя...

– Свой заткни! Опять наprivезла нам всякой шалупони!

– Какая тебе шалупонь? – В голосе Лопаренчихи пыхнули мстительные нотки. – Вакуированные беженцы привязались: продай да

продай дом. Вот! Смотреть привезла.

– Как это – продай? Как это – смотреть? – тут же забыла Калиниха всякую перебранку. – А сама куда? К Морозу под берёзу?

– Так мне чё? Одна-то голова не бедна, а бедна, так одна.

– Как это – одна?! А Манька твоя?

– Так ить Манькиному маёру фатеру в Омском сулят. Я до них и перееду...

– Вот-вот! Куда это тебя черти намаёрили? Да у твоей у Маньки важный день по Ваньке. Уж каким был для неё Сергей Никитич и тот не угодил. Всё князя ишшете...

– О-ой! Сергей Никитич! Нашла прынца! – захрипела смехом Григорьевна. – Да мы от него еле избавились. До сих пор в избе книгами его воняет. А чё до маёра... Маёр – человек самостоятельный. Мария вся прям исхвалилась.

– Хвалиться не с крыши свалиться, шею не свернёшь... А как того маёра да на фронт погонят?

– Так Мария чё, не знала, с кем связаться? Бронь у него. Он и расписаться её звал, да ваш хвалёный Сергей Никитич до сих пор в паспорте у неё стоит.

– Выходит, Манька твоя маёру-то – пришей кобыле хвост? А ить чужой мужик, что чужая собака – не удерёт, так укусит. И долго она будет разным богам молиться?

– Чё ей молиться? Она сама – бог! Её красота любому не то маёру – генералу в честь будет! А то вспомнила мне... Сергея Никитича. Хромоту полуногую!

– Да вы вместе с Манькой ополоска той ноги не стоите! – подняла голос Калиниха. – Маньку твою все хватают, да никто не дёржит...

– Зинку твою дёржут! – захотелось Фетисе зацепить соседку за живое. – На неё голодный комар и тот не сядет. Заматерела – кайлом не разгвоздишь...

– Ничё! Сухое не зачервивет. А вот Маньку твою знай поливают, кому не лень... Просушить бы не мешало...

– Пошла ты!.. – матюгнулась Лопаренчиха. – Без сопливых склизко...

– Смотри не расшибись! Кому я тогда с Омска весточку передам?

– От Марии, – встревожилась Фетиса.

Калиниха уловила соседкин непокой, спросила не без издёвки:

– Чё всполошилась? Али твоя красавица доброй вестью не славится?

На что Лопаренчиха приказала:

– Неси письмо!

– Щас! Сама не барыня – прибежишь, – ответила соседка и ушла в дом.

В избе Калинихи на русской печи посапывали двойнята. Забавляясь, дыханием ребят занавеску пошевеливала тишина. Было тепло и чисто.

Крепенькая хозяйка приняла с посудной полки письмо, подала следом за нею вошедшей в дом Фетисе, сказала:

– Без обратного адресу. От Маньки ли?

– Разберусь, – ответила Григорьевна, сунула письмо в карман стёганки, повернулась уйти, но Калиниха остановила её:

– Ты одна такого вопросу-то не решай.

– Какого такого?

– Дом продавать! Какого...

– Эва, – усмехнулась Фетиса. – Скулит, об чём Бог не велит.

– Как это – не велит? Сколь годов, худо-бедно, бок о бок прожито. Да ты подумай только: ить в чужбу, как в службу – всяк тебе командир.

– Все мы нонча по чужим дворам живём. Война сюда идёт, аль не слыхано тобою? Наши только портянки успевают подхватывать...

– Рехнулась баба! – перекрестилась Калиниха.

– Если бы! Дуракам-то куда проще: где поел, там и в рай поспел. А тут уж и не знаю кем надо быть, чтобы не понять – крошит нас немец, что капусту! Ты дома сидишь, одно радио и знаешь. А я чего только не наслышана... Гляди, на заре загалдят во дворе...

– Типун тебе на язык!

– Да хоть десять... Типунами Россию не загородишь...

– Опомнись, Григорьевна! Чё ты молотишь! Кровь наших сынов разве зря льётся?

– Танки кровью не захлебнутся. Уж сколь успели пролить, а немцу хоть бы хны. Он уже галифе своё гладит – седьмое в Москве справлять.

– Да на Москву нашу какие только псы не рвались – все на перегной пошли! И этих приструнят!

– Приструнил Федя медведя... Кабы не распутица, они б теперь по Красной площади с барышнями бы гуляли...

Фетиса закрутила задом, изображая гулящих девиц.

– Чего ж они дотянули до распутицы? В Москве бы и гладили свои штаны... Ктой-та им, наверное, всё-таки помешал?

– Не журишь, тату, придут и в хату, – заверила Григорьевна. – Если у немца и вполовину так пойдёт, к весне, гляди, воевать – мужиков наших не останется. Баб с вилами начнут призывать...

– Нужда припрёт, я первой на пушку с вилами полезу...

Представив коротенькую Калиниху верхом на пушке, Лопаренчиха развеселилась:

– Пушка не печка. Она тебя так согреет – задом к небу прилипнешь.

– Фетиса, – почти шёпотом спросила Калиниха, – ты, часом, не рада ли немцу?

– Какой мне от него резон? – не смутилась Григорьевна.

– Да простой: кошку бьют, мышки розги подают. Не будет нашей власти – спекулируй, жри за всех совестливых! Чую, что и твои покупщики нонешние одного с тобой пошибу. Ты чего им сральною-то не показала? Всю ноченьку заплот мой обстреливали. Хороший человек до такого стыда не дожрётся.

– Во-он как ты выследила моих гостей! Жалко – не знали, что ты в задницу к имя заглядываешь... Надо было им по твоим шарам лупануть.

– Я и без шаров скажу: опять... навезла нам срамоты – то ль баптисты, то ль скоты...

У Фетисы из морщин, как ржавые пузыри из болота, вылезли бешеные глаза. Она шагнула на хозяйку. Калиниха метнулась к печи, ухватила сковородник. Григорьевна медленно вернулась к двери, сказала:

– Дай время, соседushка: не тем час дорог, что долог, а тем, что короток...

Глава 4

После снегопада воздух загустел. Подул сиверок. У Калинихи на крыльце Фетиса закашлялась, ругнула погоду, направилась вон со двора. Но не успела отворить калитку, как услышала, что кто-то идёт переулком. Она понадеялась – переждать идущего, однако шаги замедлились. Фетиса выглянула на улицу, за калиткой стояла Калинихина дочь Зинаида.

Лопаренчиха её не звала никак. Надо сказать, что и Зинаиде после встречи с Фетисой всякий раз хотелось отряхнуться. Однако на этот раз девушка поздоровалась и безо всяких предисловий сказала:

– Елизавета Ивановна Быстрикова умерла.

Григорьевна шагнула со двора – уйти молча, сделала пару шагов, но спиною всё-таки спросила:

– Не она ли вчера перед аптекарем у Сибторга хорохорилась?

– Отхорохорилась, значит, – ответила Зинаида. – Днём солдат к нам в госпиталь долечиваться прибыл; он своими глазами видел, как Александру прямо из хирургической палатки забрали энкавэдэшники. Вот Ивановну и скрутило...

– Ну а чё от меня ты хочешь? – так и не повернувшись, спросила Фетиса.

– То и хочу, что Нюшка заболела – простыла. В детской больнице нету мест, так её к нам в госпиталь положили.

– Положили – выхаживайте. На то вы и дохтора.

– Но, Фетиса Григорьевна, вы всё-таки девочке какая-никакая, а родня...

– Родня – от юбки мотня. Ежели взять по мне, так пусть они хоть все попередохнут...

Она уж было подготовилась к ругани, да Зинаида шагнула к себе во двор и задвинула на калитке щеколду.

Фетиса направилась домой. У своих ворот плюнула в отпечаток девичьего сапога, да только вдруг присела на корточки, скособенила голову, приглядываясь к следу, потом вскочила, побежала за ушедшей, но тут же опомнилась, развернулась и крупно пошагала к себе во двор. Однако в избу не свернула, а напрямик направилась в летник, где села

на скамью и стала складывать кусочки памяти – составлять одну из картин былого.

Одной из зимних ночей запрошлого года в доме оставались Мария да Сергей, Фетиса возвращалась с поездки ранним утром. Шагая своим переулком, она увидела по снегу женские следы. Её озадачило то, что следы вели к ней во двор. На крыльце же ими был вытоптан целый точок. Там явствовало ещё и отпечатки зятевых костылей. Увиденным наполнило Фетису, как ядовитой отрыжкой. Тогда Фетиса ударом плеча высадила в доме дверь...

Былая картина вспыхнула теперь с такой силою, что Лопаренчиха бросилась в дом, но у крыльца опомнилась. Войдя в кухню, заглянула в комнату. Гости почивали. Осип лежал на диване, Фёдор на кровати, хотя с вечера она кинула ему на пол ватный тюфяк. Из-под подушки Фёдора выглядывал уголок чемодана.

В душе Фетисы от увиденного появилась какая-то пустота, словно что-то она проглядела, до чего-то не дошла умом.

Лопаренчиха машинально сняла с себя телогрейку, взамен надела полушубок. В сенях взяла вёдра, коромысло – отправилась на водокачку.

У калитки, вперемешку с Зинкиными, увидела собственные следы, опять вспомнила девичьи, запрошлые, сказала безо всякой страсти:

– Ой, Зинка, Зинка! Догадайся я тогда, что это ты натопала, вышли бы тебе боком мои спички...

Тогда зять Лопаренчихи Сергей Никитич Быстриков был удивлён настолько, словно тёща влетела в комнату на метле.

– Кто? Отвечай!

– Вы о чём? – не понял Сергей.

Но Фетиса на его вопрос так саданула кулаком по столу, что огонь в настольной лампе погас. Зато сама она вспыхнула голосом:

– Допрыгался?! Доучился?! Девочек по ночам принимать...

В ничтожном свете грядущего дня Фетиса покосилась на лежащую в постели Марию, которая показушно отвернулась лицом к стене, позволяя матери блажить дальше.

– Я для чего дочку растила, чтобы она тебя, змея хромого, пригрела на своей груди?! Ить ты не на одну ногу костыляшь, ты на всю свою

совесть падаешь. Кто ж это тебя, уroda, столь шибко полюбил, что и совесть потерял – среди ночи шататься?

– Да спичек кто-то приходил попросить, – не вытерпела, пояснила тогда Мария и натянула на голову одеяло, поскольку знала, что никакое пояснение мать не успокоит, пока не наорётся. И Лопаренчиха тогда не остановилась:

– Спичек?! У нас чё, мешками спички по углам стоят, шкура ты барабанная! Решил спичками Маньку дурачить?! Да она, захочет, сама кого угодно в любое очко вставит...

– Григорьевна! Опомнись! Чего ты лаешься на всю улицу?

Кто-то одёрнул её за рукав. Лопаренчиха огляделась, поняла, что стоит у водокачки с пустыми на коромысле вёдрами.

Представьте себе солончаковую пахоту, размытую осенними дождями. У вас получатся бывшие улицы города Татарска. Когда же наступали холода, дороги, не заметённые ещё снегом, превращались в сплошные ухабы.

В те времена купленные в районном земельном отделе талоны давали право наполнить на водокачке пару вёдер любой ёмкости. Потому хозяйки ходили по воду с двенадцати-, а то и пятнадцатилитровыми бадьями. Так возникло местное искусство – в любую погоду донести до дому полные в дужку вёдра. Многие донашивали, не сплеснув на дорогу ни единой капли.

Фетиса в этом свершении была не хуже других.

И теперь с полными вёдрами она ступала так, что вода слушалась каждого её движения. Сама же она думала о том, что память – не водица: не омоешь ею душу, не выплеснешь ополоски...

Подобные мысли всё чаще чёрными птахами стали запархивать ей в голову, хотя никакими зёрнами она их не манивала. Наоборот – гнала прочь. Да и что бы изменилось, приручи она их? С зятем давно покончено. После Сергея Мария уже успела проехаться по жизни на двух прожиггах. Нынче отыскался в Омске вроде стоящий мужик: за три месяца две посылки переслал...

И тут Лопаренчиха вспомнила о письме, которое поутру было ею забыто в телогрейке.

Но до письма надо было ещё дойти, и Фетиса опять вернулась к памяти.

Пару лет назад, в тот поганый час, она пугала зятя:

– Я тебя в роно поташшу. Там быстро разберутся с твоими спичками...

Увидев тогда, что Сергей потянулся за костылями, она с криком: «Не ускочишь!» – сгребла их, зашвырнула под кровать и тут же запричитала, издеваясь:

– Несчастный ты мой... Ноженьку-то твою левеньку по дурости твоей же согнуло. Да какой же идиот, кроме тебя, станет девку цельную ноченьку на морозе ждать? Я ить соврала тебе тогда, что Маньки дома не было. Дрыхла она, как сейчас дрыхнет...

И увидела Фетиса, как побелевший зять выхватил из-под себя табурет...

Уже из кухни Лопаренчиха блажила тогда:

– Вон из моего дома! Чтоб сегодня же духу твоего тут не было!

В открытую дверь ей было видно, как зять пытался тогда достать из-под кровати костыли. Как смотрел он потом на Марию, успевшую когда-то во всей своей неповторимой красоте разметаться по широкой постели...

Не догадывалась тогда Григорьевна, о чём думал её зять. А ему хотелось проверить: может, выросли на спине молодой жены чёрные крылья?

За много лет своей горькой к Марии любви ни разу не видел Сергей, чтобы она заплакала. Потому и думалось ему тогда, что ни в каких сказках никакая нечистая сила не льёт слёз...

Лопаренчиха вернулась от водокачки, внесла полные вёдра во двор. Увидела, что в летнике горит свет. Ругнула себя за то, что забыла погасить лампу. Но проходя мимо окна, разглядела внутри Осипа. Он сидел, одетый в свою латаную стёганку, и что-то читал. При появлении хозяйки сунул листок в карман.

– Чего прячешь? Дай-ка сюда!

Осип поднялся, нервно поддёрнул брюки локотками, вытянул из кармана сморщенный, словно побывавший в клейстере, носовой платок. Стал его расправлять, виновато поясняя:

– Испростыл весь дорогами, зашёл сюда веничка глянуть; сходить в баньку – попариться бы. Имеется ль у вас тут банька – общая?

– Банька-то? – прищурилась Фетиса. – Банька – рукой подать. Счас я тебя прям тут и выпарю. А ну, показывай, чё утаил!

Важно обижаясь, Осип опять полез в карман, достал клочок газеты, застеснялся, сказал:

– Для нужника прихватил.

– А чё тогда мудришь? Или не знаешь, что в чужом доме даже таракан хозяйский? Сидишь тут, керосин расходуешь...

– Керосин? – радостно переспросил Осип и заверил: – Да я тебе достану керосина – хоть залейся.

– Брехло! – с усмешкой сказала Фетиса. – Керосин нонче только на самогон меняют. За деньги-то в ём и рубля обмакнуть не дадут... И неча лампу зря палить. Айда завтракать...

За стол Осип уселся без Фёдора.

– Пошто байбак твой жрать-то не поднимается? – спросила Григорьевна. – Деньгами ли чё ли он у тебя получает?

Осип ответил со вздохом:

– К обеду бы поднялся, и то дай бог...

– Ты ж в баню вроде как настроился?

– То ж я, а Федьке надо телегу подгонять...

– Он чё собрался? Так и будет хорьком вонючим валяться на моей постели?

– Да чёрт с ним! Не трогай ты его, – попросил Осип. – Куплю я тебе и простыней, и остального чего...

– Куплю-облуплю, – проворчала Фетиса и стукнула пальцем по кромке стола. – Гляди у меня! Я брехни не потерплю!

Воды для задуманной Лопаренчихой стирки надо было натаскать вдосталь. После завтрака она опять взялась за вёдра.

– В баню-то мне в какую сторону идти? – спросил уже во дворе Осип.

– Шас-ка влево, потом по улице вправо и прямо. Три заулка пройдёшь и в баню упрёшься...

И ещё сходила Григорьевна по воду, и опять собралась, когда увидела посерёдке избяного крыльца трёхлитровый бидон. Она

хмыкнула, думая – пора бы уже и в бане париться, а он, похоже, за керосином собрался.

Она ухватила бидон за дужку – убрать с дороги, да чуть не опрокинула неожиданную тяжесть. Подняла крышку и поверила скорее нюху, чем глазам. Долго смотрела она в прозрачное нутро посуды. Потом обмакнула палец, лизнула – спирт!

Фетиса унесла бидон в кладовку, навесила на дверь замок. В дом не пошла – не захотелось видеть чужого самодовольства. А зря. Осипа в доме не было. Он сидел в отходнике за сараюшкой – на краешке «пьедестала» и перечитывал Мариино письмо.

«Дорогая мамаша, – с конкретной теплотой обращалась дочка к матери. – Пишу прямо с вокзала. Скоро новосибирский поезд. Попрошу проводницу бросить письмо в Татарке – быстрее получишь. Мне нужны деньги. Николаю жилья пока не дают. Живём у прежней старухи. Бабка сволотная попалась, вечно лезет доглядеть, чем я занимаюсь да что делаю. Откуда бы тогда Николаю всё знать? А тут заявил, что ему за меня стыдно. Я ушла – пусть поищет. Попросилась на ночь к Верке Салтыковой. Помнишь, у которой отец инвалид? Верка говорит, что я ещё красивей стала. Сели ужинать, я, от душевной простоты, всё и рассказала про Сергея. А инвалид этот как завёлся! Вертихвостка, говорит на меня! Тебя, говорит, на одной осине рядом с матерью твоей надо повесить. Оказывается, мы с тобой Сергея загубили. Я не стерпела... А на дворе уже ночь была. Иду – кругом ни души. Какая-то ограда с будкой попалась. Постучала. Сторожиха открыла. Я прикинулась беженкой. Она раскудахталась, давай чаем поить, давай рассказывать: сын у неё на фронте. Карточку достаёт. Ой, какой капитан! И холостой! Я тоже наврала, что одна живу. Сторожиха сказала, что из нас хорошая бы пара получилась. Адрес дала. Я ему фото своё pošлю. Пусть хвастается всем, какая у него невеста. А пока поживу с Николаем. Если мне вернуться в Татарку, там ни одного путёвого мужика не найдётся... Разве что аптекарь. Так он со своей Кларой из одного яйца вылупился. Чего на него рассчитывать... Мария».

Письмо оборвалось, будто яблоко с ветки. Но Осипу вполне хватило прочитанного.

– Ну и ну! – покачал он головой. – Не приведи господи – нагрят! Натворят они тут с Фёдором, никаким золотым веслом не разгребёшь.

Надо устраиваться куда подальше, пока не поздно...

Глава 5

Начало ноября взялось мудрить: то удивляло ростепелью, то ударяло стужею, да такой, что ночами в небо взлетали световые столбы. Дыханье перехватывало, звуки становились резкими, словно удары тарелок в погребальном оркестре.

Мимо узловой станции Татарская торопились на запад тяжёлые составы. Обратным путём везли раненых солдат, осиротевшие семьи, оборудование заводов, крытое брезентом...

Казалось, мечется туда-сюда один сумасшедший состав-оборотень. Но стоило прислушаться, как тут же приходила уверенность в необходимости происходящего. Эшелоны, спешащие на запад, сообщали колёсным перестуком – сол-да-та-ми, сна-ря-да-ми... Завершал их отчёт паровозный гудок – помо-о-о-жи-им. Встречные им поезда отзывались иным слогом. Такие уверяли – одо-ле-ем, пе-ре-си-лим, по-бе-ди-и-им!

Эти составы проносились почти без задержек. А вот эвакуационным поездам приходилось сутками простаивать в тупиках. По привокзалью бродили беженки. Они собирали всё, что могло гореть. Жгли на пустырях костры, чтобы хоть скудным, но горячим варевом покормить ребятишек. Взрослым же еда тогда перепадала, когда думать о ней уже не хватало сил.

Рельсы от движения колёс наледью не покрывались, зато на деревянных лежнях настывали такие катыши, какие зачастую не брал никакой заступ – приходилось их сбивать ломом, отгребать лопатой. Но боже упаси повредить при этом шпалу!

Четвёртую ночь Фетиса работала на путях. Бригада её была временно расформирована и подчинена дорожной службе. А Лопаренчиха привыкла быть себе хозяйкою. Потому злилась и ворчала – всяк нахал тебе генерал...

Бесило её ещё и то, что нынешней ночью в Славгороде должна была она принять из рук на руки мешок просяной крупы. А уж если говорить об остальном, так выворачивала Григорьевну мездрой наружу невозможность заглянуть в гостевой чемодан. Похоже было, что в нём укрывалась уверенность приобретать не только спирт...

– Эх! Марию бы сюда... – откидывая осколки льда под железнодорожную насыпь, вдруг сказала себе Фетиса и поняла, какой «газетный листок» читал Осип Панасюк, когда неделю назад она застала его в летнике...

Ночь, словно варом, затопила темнотой землю. У пристанционных фонарей хватало сил высветить лишь её студёную плотность. Но Фетисе хотелось переколотить и эти лампочки, чтобы во тьме стало возможным крушить ломом всё подряд.

Когда мимо проходили беженки, она старалась долбить настывы так, чтобы ледяные сколыши летели им прямо в лица. При этом шипела:

– Х-ходят! Ишшут! Никак не нажрутся!

Со стороны работающих с нею рядом женщин наконец послышалось:

– Уймись! Лайка! Креста на тебе нет!

Фетиса ударила ломом так, что тот просёк наледь и застрял в земле. Она попыталась высвободить его, не справилась, ругнулась и только что не бегом кинулась в темноту.

В досаде, сотканной из неугодной работы, упущенного прибýtка, тайны чужого чемодана и непрочитанного письма, душа её нарывала и уже была готова отторгнуть накипевшую дрянь. Спазмы закладывали дыхание. Только разум всё ещё не поддавался приступу необузданной натуры.

Лопаренчиха миновала здание вокзала, заметила в стороне прилавков пустого перронного базарчика, добежала до него, повалилась на струганые доски грудью, подвывая взялась кататься по ним головой.

– Эй! Бабынька! – услышала она почти рядом старческий, надтреснутый голос. – Тебя чё, милая, не рожать ли приспичило?

Не поднимаясь, Фетиса спросила:

– А ты повитуха ли чё ли? Подставляй ладони, сщас навалю.

– Тьфу, срамота! Пьянь поганая! – выругался сердобольный дед, но, увидев, что «пьянь» грозно поднимается и растёгивает на полушубке ремень, затрусил мелким бегом вдоль насыпи, приговаривая: – Царица Небесная, чё деется...

Фетиса догнала бы деда, опоясала бы его ремнём, да оступилась на насыпи, покатила под откос, влетела в сугроб и тут же услышала

сверху довольный голос:

– Вот она, Божья-то справедливость...

Покуда Григорьевна кувыркалась в сугробе, платок распустился, опояска потерялась... Такой рассупоней и вошла она в вокзал. Не было у неё никаких сил после душевной встряски привести себя в порядок и вернуться в бригаду...

Кроме одиночества и бессонницы, нет на земле более подходящего места для раздумий, чем зал ожидания. Звуки и лица сливаются в своём изобилии, словно морские волны. Разница лишь в том, что море увлекает человека своим ожиданием чуда; вокзальная же суeta уверяет всякого, что золотая рыбка имеется, но никакого её волшебства не хватит на такую уйму народа. И в этом Лопаренчиха сразу убедилась, постольку в зале были заняты людьми даже подоконники.

Чтобы успокоиться, ей занемоглось всех пересчитать. Но она скоро сбилась со счёта и стала думать: «Понаехали! Утром расползутся по Татарке. А где взять хлеба на такую прорву? Скоро всю Сибирь выжрут! Одного того бугая целой буханкой не уговоришь, – отличила она глазами крепкую шею сидящего к ней спиной парня. – Да и пигалица его не говно клюёт...»

Последние слова Григорьевна додумывала медленно, узнавая в «пигалице», одетой в белый заячий полушубок и такой же беретик, накинутый бекренем на копну каштановых волос, дочь свою Марию. Она подобралась к парочке вплотную, услышала басистое: «Ну чё, пойдём», – затем дразнящее: «Погоди, надо узнать в диспетчерской, когда мать дежурит...»

Эти слова дали Фетисе понять, в чём суть разговора.

– Опять новый зятёк завёлся, – прошептала она. – Не-ет! – возразила, не зная кому. – Не пушщу! Катитесь вы оба к чёртовой матери!

Она заторопилась отступить прочь. Подумалось – надо быстрее отпроситься у начальства, чтобы явиться домой прежде Марии с новым хахалем. Но как назло, парень оглянулся и басовито спросил именно её:

– Эй, бабка, ты не знаешь, где тут диспетчерская?

– Ты меня спрашиваешь? – от неожиданности показала Фетиса на себя. Когда же парень кивнул, взорвалась сдуру: – Я те чё тут,

дежурная?!

Вопрос её прозвучал так гулко, что Мария отшатнулась от парня, подхватила на ноги и заверещала плаксиво:

– Мамочка! Он меня с вечера домой не пускает...

Этого хватило, чтобы Лопаренчиха хрипло громыхнула на весь вокзал:

– Тебе што, шалашовок мало?!

Парень покраснел, стал подниматься. Фетиса вспомнила зятев табурет и заблажила:

– Ми-ли-ция!

– Ну и ну! – покачал головою парень. Вскидывая одну ногу и опадая на другую, он пошёл прочь.

Фетиса поспешно устроилась на его место и ехидно спросила:

– Без хромых никак не живём?

Потом приказала, уже тихо:

– Рассказывай! Чё у тебя опять? От маёра, поди-ка, сама увильнула, сучка палёная?

Мария выпучила даже в гневе прекрасные глаза, выгнула маленькие холёные ладошки, заговорила с крайним нажимом:

– А то и случилось, что ты меня сучкою сделала! Кто ещё до Сергея приводил ко мне Аркашку? Кто Степана привечал? Ну?! Тебе женихи-то всё денежные были нужны! Всё искала, как бы меня подороже продать... Не ты ли в Омск за Николая меня спихнула?

– И Николай тебе не угодил... – удивилась Лопаренчиха. – Ты же сама психовала, что я тебе дома житья не даю.

– И не даёшь! Ты же вечно: ах, доченька, ах, красавица, тебе ж только в золоте купаться... Ах, какой у Лопатихи маёр остановился! С бронью... Р-растуды его в бронь! Скажи своему маёру спасибо, что он красавицу твою на матерках из дома выбросил... Тебе Сергей был хуже всех, а я от него и «дуры» ни разу не слышала...

– Зато меня чуть табуреткой не захлестнул...

– Ври! – ощерилась Мария. – Я тогда не спала. Поделом бы тебе было и табуреткой... Свинье в огороде одна честь – полено!

Она рванулась подняться, но мать удержала её, говоря примирительно:

– Сядь! Не дёргайся! Дело есть...

– Ночь не спала, – капризно отозвалась Мария, – ещё ты тут со своим делом... Чё опять придумала?

– А то и придумала... Хрен с ним, с маёром! На твой век дураков хватит... Ступай домой. Но предупреждаю – у нас постояльцы.

– Какие ещё постояльцы?

– Беженцы.

– Поди, в комнату пустила?

– Нет, на улице буду держать...

– И надолго они у нас?

– Как придётся... Сам-то Осип работать намерен. А что сын у него Федька... Если не врёт, то родимчик его колотит. Хотя на вид бугай-бугаём.

Говоря, Фетиса достала из кармана клетчатую тряпицу, что служила ей для носа, взялась рвать на полоски, поясняя:

– Ремень потеряла, подпоясаться надо. У меня смена не кончилась, так что ступай без меня. Да смотри! Поласковой там... с родимчиком-то.

– Опять сватаешь? – поморщилась Мария. – Он же припадочный?

– А тебе чё? Только хромых подавай? И вообще... Не тот урод, кто кос, а тот, кто бос... По мне-то, мужик пушай хоть узлом завязан, было бы чё развязать... А что родимец у Федьки, так он, похоже, бумажный, родимец-то. Осип-то, скорей всего, дёржит сына при себе за цербера.

– За кого?

– За кобеля трёхглавого!

– Чтобы тебя, что ли, никто не спёр? – засмеялась Мария.

– Да уж! Языком твоим только железо рубить, – сказала Фетиса и со словами «мне пора» поднялась идти. Однако опять села, притянула к себе дочку, припала губами к её уху и стала что-то нашептывать...

Мариины брови вскинулись, на смуглом лице заиграл румянец, прядь изумительных, каштанового цвета, волнистых кудрей выбилась из-под беретика... Сидящий напротив страшный мужик проснулся, увидел Марию, не поверил в её красоту, сказал: «Иди ты!» И опять уронил голову.

А Фетиса продолжала шептать:

– Мало ли чем набит чемодан... Послезавтра – седьмое ноября! Спирту в кладовке – хоть залейся... Упоить обоих – и всё!

– А, может, лучше так... – предложила Мария. – Прямо сейчас я захожу в аптеку, прошу у Бориса Михайловича люминалу...

– Не переборщить бы с твоим люминалом! – встревожилась Лопаренчиха.

– Здрас-сте! Так бы все от снотворного и помирали... Я ж не горстью буду сыпать...

– Ну, гляди, – уступила Фетиса. – Дело твоё...

Глава 6

Городок, убранный свежим снегом, полыхал на раннем солнце кумачом лозунгов. Каждый второй из них гласил: «Да здравствует XXIV годовщина Великой Октябрьской социалистической революции!»

«Двадцать четвёртая, – думала Мария, шагая Володарской, главной улицей города Татарска. – Настанет ли она теперь, моя ровесница – двадцать пятая? Да и надо ли? Всё равно поголовно всех счастливыми не сделать... Да уж! Сколько шавку ни стриги подо льва, всё жмётся до хозяйского подола... Может, хоть мужики настоящие появятся... А то наши-то... Поразвесят красных тряпок и скачут... Дикари чёртовы!»

Мария из руки в руку перекинула дорожную сумку и стала размышлять дальше:

«Доскачетесь... Покажет вам немец праздник покраснее этого... А я не буду Марией, если сегодня же не облапошу аптекаря, а с его помощью и гостей...»

Из примет и случайностей у Марии давно сложилось мнение, что аптекарь Борис Михайлович появляется на улицах Татарска только для того, чтобы увидеть её, Марию. Она же всегда представляла его (был бы он поближе) не иначе как белым плюшевым медведем...

Теперь же, подходя к аптеке, она представлением своим утонула в его мягком тепле настолько, что, коснувшись чего-то щекой, не отстранилась, только повела томным глазом и увидела перед собою морду одноглазой чубарой лошади, которая фыркнула и спросила её, пошевелив толстыми губами:

– Милая, куды ж тебя несёт?

Мария отпрянула. Рядом с кобылой увидела старика, похожего на Деда Мороза. Он хитро улыбался и продолжал говорить:

– Такой красавице да с моей Сонькой целоваться. Дай-ка лучше я тебя расцалую.

– Пень трухлявый! – огрызнулась она. – Раскорячился по всей дороге...

Дед засмеялся, а Мария обнаружила, что стоит она против аптеки, над входом которой полощется на ветру красный флаг.

Взойдя на высокое крыльцо кирпичного особняка, Мария обернулась: старик, прихрамывая, опираясь в плетёной кошеве меховую полость, прикрывая ею заднее сиденье.

«Ещё один колченогий, – подумалось ей. – Вся, бл... Россия хром да калека – нет доброго человека...»

Чистая, в зеркальных полочках аптека была свободна от посетителей. Две белые двери по обеим сторонам застеклённой лицевой стены таили позадь себя глубину аптекарского дома. За прилавком собственной персоной стоял хозяин аптеки Борис Михайлович.

При виде вошедшей он медленно всплеснул руками, губы его образовали жирный полумесяц, лежащий на спине с задранными ножками.

– Господи Боже ж мой! – воздев глаза к потолку, произнёс он так, словно Создатель квартировал у него на чердаке. – Имею ли я возможность верить своим глазам?!

Будь провизор юным кобельком, он наверняка рванулся бы облизывать вошедшую. Но в нём уже состоялся тот возраст, который приходилось уважать, и в первую очередь самому хозяину.

Не потому ли, сдвоенный отражением застеклённого прилавка, он показался Марии хотя и карточным, а всё же королём? Однако из-за прилавка выдвинулся ей навстречу этакий белый, щедро лепленный снеговик, вознесённый на пару тёмных конусов, называемых штанинами брюк. Из-под них выглядывали бантики шнурков. Эти бантики сразу в глазах Марии развенчали короля. Она протянула аптекарю тыльную сторону ладони, даже не соизволив снять перчатку. При этом ей подумалось: «То ли ты заматерел Борис Михайлович, то ли ещё потолстел?»

– Господи Боже ж мой! – повторил аптекарь, принимая в бархатную свою пригоршню крохотную руку Марии. – Вы думаете, ч-что маму родную мне хотелось бы сильнее видеть, чем вас? Да не-ет же... Без вашей красоты я забыл, ч-что я должен считаться мужчиной. Зачем мне такая жизнь? Фу на неё, да и только.

В разговоре он опирался на звук «ч», как барин на ореховую трость. А междометие «фу» напомнило Марии кривую лошадь. Однако оба аптекарских глаза были на месте, и Мария увидела в их глубине

отражение своего лица, свежесть которого была примята беспокойной ночью. Потому она поторопилась объяснить:

– Я только что с вокзала.

– Ка-ак! И сразу ко мне?! – восхитился и озаботился аптекарь. – Что, нужда какая имеется?

– Соскучилась, – наклонив голову, увильнула Мария от прямого ответа.

Губы Бориса Михайлова загнулись ухватом. Послышался ласковый стон:

– Ах, озорница! Неужто не забыла бедного провизора?

«Идиот! Что ты для меня сделал, чтобы так уж и не забывать о тебе?» – подумала Мария, но на всякий случай опустила ресницы. Аптекарь понял это по-своему: мягким мизинчиком он приподнял её лицо, чуть слышно произнёс: «Благодарю» – и коснулся тёплыми губами её щеки.

«Как раз туда, куда кобыла...» – подумала Мария и тихо засмеялась.

Смех ободрил Бориса Михайловича, он приложился к её лицу подольше и покрепче... но кто-то заговорил за одной из белых дверей. Аптекарь отлип от её щеки, повлёк Марию за другую дверь, нашёптывая:

– Не пугайся, Мусинька, у меня никто красавиц не кушает...

За белой дверью оказалась абсолютно белая комната. За белой ширмой – белая вешалка, зеркало, умывальник. И внутренняя белая дверь, которая вела в глубину обширного особняка, что вмещал в себя и глубину аптеки, и семейные угодья её хозяина...

Пока Мария снимала свою полудошку, оправляла причёску и свитер, Борис Михайлович, отворив эту дверь, заговорил вразтяжку:

– Кла-ра-а! Будь хорошей девочкой: попроси Феню приготовить достойный завтрак. У меня теперь нужный человек...

– Кла-ра-а! – погода, договорил он. – Девочка моя, потом сама пройди в залу. А то у меня имеется очень важное совещание. Ты слышишь?

– Я что? – отозвался голос Клары. – Я когда-нибудь была глухой? Трудись, моё солнышко. Дело есть дело...

Если бы удалось поставить на одни весы эту «девочку» и это «солнышко», то в них двоих оказалось бы не меньше пятнадцати

пудов. И почти такой аптекарскую чету Мария помнила с детства.

Самого же Бориса Михайловича она замечала уже тогда, когда пошла в первый класс. От аптеки школа находилась совсем близко; ребята бегали туда покупать мятные таблетки. Машеньке это лакомство часто доставалось даром. А спустя лет семь-восемь Борис Михайлович уже явно выделял вниманием своим Марию среди сверстниц.

Когда же, по окончании десятилетки, она устроилась в кинотеатр буфетчицей, аптекарь как-то летом позволил себе покинуть киносеанс до окончания, чтобы предложить проводить Марию домой. Но её (уже тогда) поджидал на улице ещё вполне здоровый студент Казанского университета Сергей Быстриков – парень, из-за которого она была окутана завистью сверстниц. А для тщеславных умов чужая зависть равна славе. Потому Мария чувствовала себя на щите, который высоко был поднят авторитетом Сергея. И хотя самого «щитonosца» она не больно-то жаловала, однако подпустить аптекаря близко не решилась. Да и он особо не настаивал...

Теперь же, пока Борис Михайлович вёл разговор со своей Кларой, Мария устроилась на кушетке, откинулась на стенку, которая оказалась боковиной тёплой печи. Ей сразу захотелось вздремнуть. Но аптекарь, завершив разговор, уселся напротив неё, нежно взял прохладные руки, стал дышать на них – согревая. Она же, оглядывая склонённый перед нею белый его колпак, его бритую шею, думала: вот что значит красота! Тем временем Борис Михайлович развернул её руки ладонями кверху, каждую серёдку поцеловал, потом принялся пощекотывать их языком.

«Облизывай омскую грязь, – думала Мария, улыбаясь и пошевеливая пальчиками под его жирным подбородком. Когда же край белого колпака потемнел от испарины, она удивилась: – Э, как тебя забрало! Надо же так любить!»

А Борис Михайлович уже целовал её запястья, её подлокотные ямочки... Благо рукава свитера были податливы. Скоро мягкие руки аптекаря уже блудили по её спине... Она же думала о нём, как ленивый хозяин о голодной скотине, – потерпи, успеется... Но мягкие руки донесли тепло до её груди. Мария обмякла и понесло её не то в рай, не то к чёртовой матери...

Когда белая за ширмою дверь увела аптекаря в глубину дома, прихорашиваясь, Мария подумала: «Вот бы сейчас выскочить в “залу”! Здравс-сте, Клара Абрамовна! Отныне я ваша родня... Сколько бы валерьянки потребовалось!»

Она раскинула по плечам удивительную гриву своих волнистых волос, прошла до окна, чуть отодвинула занавеску.

Аптечный двор, огороженный крепкой кирпичной, как сам особняк, оградой, заливало ярким солнцем. У такого же кирпичного склада сидела цепная собака. Она смотрела за угол дома и дёргала загравком.

Вот псина рванулась, но крепкая цепь чуть не опрокинула её навзничь. Из-за угла, в накинутом на плечи пальто, вышел Борис Михайлович. Знакомые бантики шнурков трепыхались под штанинами брюк...

«Даже бантики не развязались», – с некоей досадой подумала Мария о только что минувшем.

На подошвы аптекарских ботинок налипал снег. Они скользили, принуждали хозяина подёргивать ногами. А Мария смотрела и думала, что она – не снег, что просто так её не стряхнёшь... Потому даже не оглянулась, когда Борис Михайлович вернулся в комнату.

Обнимая Марию со спины, аптекарь уткнулся лицом в копну её волос. Она же подумала: хорошего помаленьку – и повела плечом. Но когда обернулась – ахнула! На столе стояла ваза с виноградом. В каждом его плодике живою каплей отражалась красная этикетка стройной бутылки вина.

Отщипнув ягоду, Мария раскусила её, посмотрела на пальцы, словно испугалась увидеть кровь, потом произнесла: «Ну, вообще!» Глядя на этикетку, вспомнила красный флаг над входом в аптеку. И ещё сказала: «Вот так-то!» Этим она словно преподнесла кукиш всем, кто свято верил в красный цвет...

Борис Михайлович, похоже, догадался, о чём её восклицания, хмыкнул, открыл штопором бутылку, наполнил бокалы, произнёс:

– С праздником! С нашим праздником, – уточнил он.

Вряд ли ведал аптекарь о Мариином житье-бытье, но, уточнив смысл тоста, полуспросил:

– За покой наших близких? Дорогая!

Мария вскинула брови, соображая, кого он имеет в виду с её стороны. Поняла намёк – Сергея! И сразу прояснилось то, что никому не следует моститься ехать по жизни в аптекарских санях. Не ответив, она махом выпила вино, чем обескуражила Бориса Михайловича. И дальше, как бы митингуя, налила себе ещё.

– Мусинька! – поторопился обеспокоиться Борис Михайлович. – Я ч-что-нибудь не угодил?! Прости за-ради бога! Приходится подумать, ч-что совсем не то время, чтобы пренебрегать покоем.

– Чьим? – вызывающе спросила Мария.

– Разумеется, чьим, – не решился аптекарь назвать имени. – Конечно, покоем близких людей.

– Уже успокоились! – торжественно соврала Мария.

– Ой, как я довольный! Как это похвально! – с радостью обманулся аптекарь.

Мария же из его восторга вдруг поняла, что никто ни из каких саней высаживать её не собирается. Наоборот, проявляют (вдвойне) бережное к её покою отношение.

– Мусинька, – продолжал аптекарь. – Ты меня прости, ч-что я веду себя юношей. Но сегодня в тебе я обрёл сразу двух необходимых мне людей! Пойми: в Казанихе, в деревне твоего мужа, в корпусе бывшего маслозавода, захотелось верхним людям быстро оборудовать детский дом. Уже всю ремонт идёт. А ч-что касается завхоза? Сама подумай – разве хорошо такое место дарить кому чужому?

Мария поняла окончательно, что аптекарь намерен спрятать её для себя за Сергеем. Тот скоро как пару лет работает в деревне Казаниха школьным директором. А чтобы она в такое тяжкое время имела и довольство, и свободу передвижения, с ходу решил пристроить её в детдом завхозом!

Однако, желая показать себя уросливой кобылкой, а не рабочей клячей, Мария решила подождать, когда аптекарь выскажется окончательно. Тот понял, что ему как бы не совсем доверяют, сделал обиженное лицо, спросил:

– Я ч-что? Я ерундой занимаюсь? Или кто сказал, ч-что Борис Михайлович не умеет быть дальновидным? Да при такой службе, какую смею тебе предлагать я, можно купаться как сыр в масле! А пожелаешь, так я сам стану тебя купать...

Полный угоды аптекарь перестарался в своём обещании настолько, что сам и засмеялся.

– Так уж и купать? – ответно улыбнулась и Мария.

– Конеч-чно! Я же буду вокруг тебя много жить. И не кем-нибудь – куратором! Опекуном по сути... для детей. А такого, как ты, ребёнка, я и вовсе никому не позволю обидеть.

«Чёрт пузатый! Виноград среди войны, сиротский стол-самобранка, чужая жена-любовница...» – прикинула в уме Мария, а вслух сказала:

– Как ещё на это мой Сергей посмотрит...

– Мусинька! А ты согласишься, поезжай. Таки осмотришься. Издалека-то все мелочи большими кажутся. А там всё на месте и примеришь...

– Ладно. Примерю... Но если что – откажусь!

Глава 7

Длинным коридором, миновав несколько прикрытых дверей, Борис Михайлович вывел Марию на заднее крыльцо аптечного особняка. Во дворе от кирпичного склада рванулась к ним овчарка, захрипела под цепью, по приказу хозяина вернулась на место...

Мария вспомнила о снотворном только тогда, когда оказалась вместе со своей дорожной сумкой за воротами. В надежде успеть вернуть аптекаря она позвала его по имени, но ей ответил собачий лай. Тогда она ударила по обитым листовым железом воротам своей сумкой. Но результатом оказалось только то, что из неё вывалился на снег весомый пакет. Мария подхватила его, вернула обратно и шагнула от ворот прочь.

Этим временем в аптечный переулок свернула с главной дороги чёрная бабка, пошла навстречу. Поравнявшись с Марией, она вдруг подняла над своей головой суковатую палку и прошамкала:

– Не на пользу красота-то! Не тебе бы, дурёхе, её носить...

– Пошла к чёрту! – огрызнулась Мария и торопливо направилась своей дорогой.

За поворотом намерилась она вернуться в аптеку, но на высоком крыльце стоял хозяин кривой лошади. Он разговаривал с мелким мужичком в шафрановом берете. У ступеней крыльца, одетый в

собачью доху, топтался цыганистый парняга лет двадцати. Он что-то широко жевал.

«Ничего себе жеребчик!» – подумала Мария и сразу обрела привычную походку настоящей женщины.

«Жеребчик» уловил эту перемену – в глазах проснулся интерес. Край губы хищно приподнялся, показал крепкие зубы. Словно в клыках аптекарской собаки, Мария почуяла в них животную силу.

«Пошёл к чёрту!» – повторила она мысленно посыл, только что адресованный старухе, и уже походкой царицы перешла через дорогу на другую сторону улицы.

С полгода Марии не было в Татарске. Но ни ласкового взгляда, ни тёплой улыбки не дождался от неё родимый кров. В лице молодой хозяйки была только настороженность, как у блудливой кошки, попавшей в чужой двор.

Оттого, зная, дом, вместо широко открытой двери, подставил ей кукиш навесного замка. Её это несколько не огорчило. Наоборот: порадовало, поскольку она оказалась на месте до прихода постояльцев.

Мария пошарила пальцами за наличником сенного оконца – ключа на условленном месте не оказалось. Тогда она пошла в летник, где взялась обшаривать закутки, ругаясь на мать:

– Захламила всё, паразитка!

Из закутков её старанием выпархивали на середину летника грязные тряпки, драные чулки, полоротые обутки...

Увидела зацепленную шиворотом за гвоздь на стене ватную заношенную зелёную безрукавку. Пошарила в её карманах, заглянула в печное поддувало. Ключа нигде не оказалось.

От зряшных усилий заболела голова. Мария присела на скамью. Какая-то битая на полу склянка поймала тонким сколом солнечный луч, пустила ей прямо в глаза.

– Чё я сижу-то? – спохватилась Мария и заторопилась к дому. По дороге прихватила под навесом полено и с ходу хлестанула им по сенному окну. Заодно со стеклом высадила раму. В сенях приземлилась умело, только берет свалился с головы. Потери она не заметила, а сразу оказалась в доме...

Чемодан прятался за диваном. Кроме проволочной обмотки, нутро его караулил ещё и внутренний замок. Шпилькою она справилась и с этим сторожем. Укладка, словно распластанный по земле пьяница, тут же отдала себя во власть «Маньки-потрошителя». Вот только полнили чемодан не золото-брильянты, которые жаждала обнаружить посягательница, а стандарты аптечного зелья: порошки, таблетки, пилюли... И россыпью, и пачками...

На упаковках она прочла надписи: «первитин», «морфий», «опий»... И даже «цианид калия»!

– Мать честная! – догадалась кладоискательница. – Так это же они! Ну конечно, они топтались у аптеки... Ни хрена себе постояльцы! Затопчешься небось... Целый чемодан! Попробуй-ка продать... Ясно, что сбить такую прорву через аптеку проще... Ну и ну! Никаких Казаних! Тут поживу – прикину, что мне с вами делать...

Крышка чемодана не хотела сразу прикрыть потревоженное нутро. Пришлось придавить её коленом. Старательно обмотав укладку той же проволокой, Мария отправила чемодан на прежнее место. Мозги её сделались настолько размазанными по идеям, словно она приплюснула в чемодане своё умозрение. Эта неопределённость ломотою вступила к ней в шею, в поясницу. Лавина невозможности разом определиться в своих действиях повалила её на диван...

Сколько она так пролежала, глядя в потолок, один домовой считал. Только он один и понимал, расшиб ли хозяйку паралич или хватил столбняк. Не слыхала она ни ребячьего на улице гомона, ни взлаивания собак, ни скрипа калитки, ни чьего-то разговора во дворе... Войди в дом чёрная старуха с косою, Мария показалась бы ей уже отработанной...

И в самом деле – кто-то вошёл в дом. Этот кто-то придержался у порога комнаты. Затем приблизился к дивану так, что Марии пришлось вдохнуть его выдох... И вдруг её накрыла медвежья тяжесть, которая взялась тискать, бормотать ей что-то на ухо, срывать с неё то, из чего пару часов назад так нежно вынимал её аптекарь.

Мария поняла, что избавиться от этой дурной силы у неё не получится. Тогда она приоткрыла глаза и узнала: её решил немедленно присвоить цыганистый здоровяк в собачьей дохе... В его широких,

незрячих от страсти глазах она увидела своё прекрасное отражение, поняла нетерпение насильника и вынуждена была его простить...

Воссевши на диване после такого необузданного наказания за красоту, Мария поглядела на ходики, удивилась:

«Мама родная! Столько... за три часа! Ничего себе! Управилась!»

Потом она посмотрела на парнягу, который, так и не сняв собачьей шубы, развалился на кровати. Уши у него всё ещё не потухли от работы. Они были словно проварены в малиновом соку.

«Сосунок! – решила Мария. Но тут же отдала ему должное. – А Борису Михайловичу, однако, до него далековато...»

– Сколько тебе лет? – спросила.

– Кукушку пытай, – усмехнулся ответчик, – она маленькая. А у меня уже всё выросло.

Он хохотнул, тоже глянул на часы, ругнулся: «Подь ты вся!» Подхватился на ноги, достал чемодан, поспешно пересёк комнату и от кухонного порога сказал:

– А ничего! Полюбовно получилось... Жалко – тороплюсь...

Фёдор ушёл, а Мария заговорила:

– Щенок! Совсем не понял, с кем связался... Времени у него, видите ли, не хватило! Понятно, куда полетел... Ох, Борис Михайлович! Всё и всех под себя гребёшь... Ясно, почему он топтался у аптеки. Ждал, когда ты «нужное совещание» со мной закончишь... И за чемоданом этот щенок тобою поскорее всего послан. Понял, старая крыса, что я быстро с чемоданом разберусь...

«А-а! – вдруг ошарашила её догадка. – Так вот почему ты решил меня сплавить в деревню! Чтобы я вам тут не мешала торговать... Да я счас из тебя из самого завхоза сделаю...»

Мария не могла понять, куда делся её берет, потому поверх головы накинула платок, сунула ноги в боты. На крыльце она запнулась за свою же сумку, зачем-то села на ступеньку, спросила упавшую на юбку снежинку:

– Разве можно так... со мною?..

Снежинка подобрала ножки-лучики, сжалась, обернулась бисеринкою и исчезла, оставив после себя крохотное пятнышко.

– Нет! – сказала ему Мария. – Так дело не пойдёт! Сейчас я вам всем организую виноград-малину красную! – уверенно пообещала она,

подскочила, кинулась за калитку...

Переулок, где стоял её дом, не был длинным – до аптеки бежать минут пять, не больше. Марии оставалось только выскочить на главную улицу да пересечь её наискосок, как вдруг она услышала знакомый голос:

– По-оспем! Солнце эвон где только ешшо пляшет...

Сидя на передке саней, давешний старик показывал кнутовищем в небо. Его лошадка тем временем успела кивнуть растерянной Марии одноглазой мордой и пробежать мимо. В кошеве сидел знакомый кучерявый верзила в собачьей дохе, чуть ли не под мышкой у него ютился укутанный в тулуп мужичонка в шафрановом берете. Это были, как сделала Мария вывод со слов матери, сын Фёдор да его отец Осип. И она не ошиблась.

Быстрая на ноги, она крутанулась – догнать убегающий от неё возок, да проехала по скользкой колее и расстелилась плашмя вдоль дороги...

Ей казалось, что тому, как она кандыбала обратной дорогой на ноге с разбитым коленом, был свидетелем весь, хотя и безлюдный, переулок. Но Мария знала: за её спиной оживают на окнах задергушки, дают простор насмешливым глазам лицезреть её просак. Уж она-то ведала, что её тут никто никогда и не любил и потому не ждал. И всё из-за Сергея Никитича – будь он трижды неладный!

Сумка так и стояла на крыльце. Даже Фёдор её не пнул. А вот в сенях заячий берет, забытый ею на полу, хранил след мужского сапога. В кухне Мария вынула из сумки аптекарев свёрток. В нём оказалась фляжка со спиртом. Мария набулькала только что не стакан, разбавила водой, выпила...

Очнулась на полу. Не сразу могла понять – утро на дворе или вечер? Слабый свет резал глаза. В голове работала ржавая мясорубку. Она перемалывала мозги. Но тошнее того были падающие на сторону стены, которые никак не могли упасть. И она с ними заодно падала и не могла упасть. И всё это валилось и не сваливалось в муторную глубину...

Наконец стало совсем дурно, в горло ударило изнутри смесью огня и падали. С каким-то куриным клёкотом жижя вырвалась наружу. Утопила в себе прядь её волнистой каштановой гривы. Стало немного

легче, и она, сообразив, что лежит в кухне, переползла в комнату, добралась до дивана, привалилась к сиденью спиной.

Вошла мать, у которой лицо было такое, словно она сама только что опомнилась от перепоя.

– Где Осип?! – спросила сквозь зубы.

Мария ответила с присвистом:

– Удрал твой хахаль. И следы, фю-ю, замёл...

– Ты?! Выгнала?! – утвердительно спросила Фетиса.

Жилы на её горле натянулись, и Мария сообразила, что сейчас любой ответ для матери прозвучит надругательством над ею придуманной истиной. И тогда Мария мстительно спросила:

– Ты чё? Замуж, что ли, за него собралась? Ба-атюшки мои! Старому ведру и говно по нутру?

От крепкого удара ногою в бок Марию опять стошнило. Обычно крикливая, на этот раз Фетиса молча повторила пинок и пожалела, что обута в валенки, а не в сапоги. После ушла в летник – от греха подальше...

Глава 8

Когда Сергей Быстриков привёл Марию знакомить со своими родными, дома случилась только мать, Елизавета Ивановна, да ещё четырёхлетняя его племянница – Нюшка, которая частенько гостевала у деда с бабушкой.

Нюшка сидела на полу среди избы, ела только что собранный на огороде зелёный горох. Навсегда запомнилось девочке это знакомство, этот разговор.

– Ты и есть Лопаренчихина дочка? – спросила Марию бабушка.

– Я и есть, – ответила та.

– Мать-то всё приторговывает?

– Само собой...

– И чем она теперь пробавляется?

– Да чем подвернётся...

Ещё запомнилось Нюшке то, с какой небрежностью спросила Мария, осмотрев избёнку будущей родни:

– А почему у вас одни только книги?

– Потому что и ум, и совесть, – вступил тогда в разговор уже больной дед Никита, – живут не в толстом кошельке...

– Зачем вы так? – после ухода Марии упрекнул родителей Сергей. – Я люблю её.

– Да она тебя не любит, – решила тогда бабушка. – Упадёт она на твою жизнь, как валун на родник...

– Не пойму, чем она вам негодна?

– Неудобной бывает лошадь, корова. Взял да продал. А как может быть неудобной сыновья любовь? Этакая горища! Не сдвинешь, не перепрыгнешь и за всю жизнь не обойдёшь...

Не много чего поняла тогда Нюшка из этого разговора, но детская память сохранила и приобщила услышанное к событиям собственной её жизни.

Спустя время Нюшка опять гостила в Татарске. Деда уже не было – изболелся. Девочка в тот день одна сидела на сундуке у окошка. Все большие ушли – кто в школу, кто на работу.

Ей было наказано – никого чужого в дом не впускать. А тут мимо окон прошла, уже вроде как своя, тётя Мария. Нюшка без особой охоты открыла ей дверь и опять устроилась на сундуке.

– Ты одна? – спросила Мария.

Нюшка промолчала.

– Бабка-то далеко ушла?

– Не знаю, – насупилась девочка.

– А дядя Серёжа пишет домой или нет?

– Пишет.

– Бабушка читает? Только не ври! Она же любит читать вслух.

– Читает.

– Не помнишь, о чём он пишет?

Мария намерилась погладить Нюшку по голове, но та отстранилась и забубнила:

– Книги мои в кладовку не выноси, мыши источат... Кроме службы директора я взялся преподавать физику... Живу при школе...

Такая скудная информация не устроила Марию. Захотелось узнать:

– Куда письма бабка твоя прячет?

– Не знаю, – решительно ответила Нюшка, хотя видела, что бабушка часто просовывала письма за зеркало.

– Зна-аешь! – протянула Мария. – Тут они, скорее всего, под тобой, – похлопала она по крышке сундука.

Нюшка смолчала.

– А ну, пусти! Дай – погляжу!

Но девочка мотнула головой:

– Не-а. Бабушка без разрешения никуда не велит лазить.

– А ты ей не рассказывай.

– Она сама догадывается.

– А конфетку хочешь?

– Не хочу.

– Врёшь, – постаралась улыбнуться Мария, начиная нервничать.

– Сама врёшь!

– Ах ты, зараза!

С этими словами Мария силой ссадила девочку на пол, поскольку та не захотела встать на ноги. Но не успела она путём дотронуться до сундука, как Нюшка поднырнула ей под руки и животом легла на его крышку.

Мария вскинула кулак, но ударить не посмела, а только прошипела:

– Чтоб ты сдохла, змеёныш!..

Всё это случилось ещё весной. А теперь, в начале зимы, Нюшке сказали, что пришла забирать её из госпиталя тётя Мария.

Вообще-то имя – Мария представлялось девочке величиной с Татарскую водонапорную башню. А мелкая её тётка Мария каталась в этой величине, словно огрызок карандаша в стакане. Оттого Нюшка покинула палату нехотя...

Отведённая няней в раздевалку и там оставленная, девочка не спешила одеваться. И тут за дверью восхитился мужской голос:

– Му-усинька!

Нюшка поняла, кому это в коридоре так откровенно обрадовались. Там стояла тётка её Мария, протягивая обе «лапки» навстречу аптекарю.

– Боже ж ты мой! – говорил Борис Михайлович, подходя к ней. – Разве я думал, ч-что на твоих руках такая забота окажется? Можешь ли поверить, ч-что я уже раскаялся?

– Да будет вам... – отвечала Мария. – Теперь уж придётся постараться, чтобы в Казанихе поскорее детдом открылся.

– А ч-что? Разве Сергей Никитич уже согласился не возражать?

– Дело его. Пусть возражает. Тогда ему одному придётся племянницу свою поднимать. Я же не смогу справиться разом и с нею, и с делами завхоза. А больше всего я боюсь, что он меня ещё и поучать возьмётся. Это для меня – нож к горлу... Не дай бог, пришлют в детдом ещё и директора сильно правильного... Кстати: назначили кого директором или всё ещё канителются? А то ведь я не соглашусь окончательно, пока не узнаю...

– Ч-что?! Директором?! Директором кого попало никто не назначит – это моя прерогатива. Директор станет делать, как я ему втолковать захочу...

– Хорошо бы. А то у меня и с Сергеем хватит хлопот.

– Каких, Мусинька, хлопот? Да я тебя научу для него такие картинки раскрашивать, что он будет только успевать любоваться...

– И то! Я не против... – улыбнулась Мария. – Выходит, люди правильно говорят: кому грешника творить, кому ладаном курить?..

– Боже ж ты мой! Да ты у меня мудрец! – воскликнул аптекарь, на что Мария игриво, слышным только Нюшке шёпотом, отозвалась:

– А тебе, любимый, не страшно меня от себя отпускать? Что как слопают твоего мудреца волки... Говорят, их уйма теперь в наших краях развелось...

– Ч-что ты! – не захотел принять такой вероятности Борис Михайлович. – Всякую неделю школьный работник Михаил Данилович туда-сюда ездит – Бог милует. Знаю, что у старика тозочка, как сам он говорит, имеется – Тульского завода ружьё. Надёжное. Может стрелять и пулями, и картечью.

– Старику что? На старика никакой волк не позарится, – кокетливо пошутила Мария.

Аптекарь подхватил её шутку.

– Конеч-чно. А здесь я на тебя готов позариться, – сказал он так, словно на самом деле намеревался проглотить Марию.

– Ладно уж! – сказала она и, прощаясь, тихонько выразила желание: – Надеюсь, скоро увидимся в Казанихе...

Нюшка давно знала аптекаря. Как-то стояла она в очереди за хлебом. На её ладони красовались фиолетовые цифры. С вечера производимая нумерация рано утром строго проверялась, потому всё

иждивенчество, вся инвалидность, вся дряхлость человеческая с куриных потёмок толклась у магазина «Сибторг».

Худо-бедно хлеб пока ещё выдавали. По карточкам. Но спички, мыло, керосин – вроде никогда и не были товаром. За какие-то четыре месяца войны люди успели вернуться к берёзовому щёлоку, к огню, взятому у соседа горящими угольками, к сальным фитилькам... Все запасы, в предчувствии долгой беды, стали неприкосновенными. Пряталась и крепкая одежда. Люди надели обноски. Позже прибережённое добро менялось по деревням на картошку, муку, отруби... Селяне от этого не богатели – везли менянное обратно в город, отдавали на толкучке за то же мыло, спички, керосин...

Но где-то же оседало это добро? Появлялись же на улицах меховые дамочки, добротные мужики. Нюшка видела, какими глазами провожала хлебная очередь тех, кто проносил мимо неё свои замороженные высокомерием лица, слышала, как таял среди людей шёпот:

– Вырядилась, курва!

– В шанелку б его, паразита... Ышь! Вышагивает барин-барином...

Как-то заскорюзлый пацан, науськанный подобными восклицаниями, подхватил ком земли и цокнул им по «барской» каракулевой ладье. Серо-голубая «корона» соскользнула с лысой головы и рухнула в грязь. Ах, как унижительно было великоуτρόбному хозяину видеть символ своего достоинства повергнутым в глинистую жижу!

Словно дохлую кошку, двумя пальцами, поднял он свой каракуль, угадал в очереди посягателя, приблизился и хлестанул им по задиристой мордахе. Пацан набычился и... врезался головой в огромное брюхо. «Барин» ухватил мальчишку, за уши оторвал от земли...

Вздёрнутый не заверещал, хотя его шея оголилась до ключиц. Толстяк же решил лопнуть от натуги, но дождаться детского крика. Очередь зароптала. Вдруг кто-то хлестанул рукой по бритому затылку, пацан упал, а Нюшка услышала голос бабушки Лизы:

– Уймись, людоед! С кем воюешь?

Нюшка тут же оказалась рядом с заступницей и пискнула:

– Фашист!

Очередь захохотала... «Фашистом», по разговорам в очереди, оказался аптекарь Борис Михайлович.

Глава 9

Бараба! Зимней порою она куда как просторней, чем летом. Берёзовые колки, унизанные куржаком, сливаются со снеговым половодьем равнины, и не остаётся для глаза никакой опоры. Скользит взор по равнине до самого края земли и дальше того – по раздолью затканых морозной опокой^[5] небес...

Смеркалось. Со стороны понижающего солнца тянул ветерок. По тугому насту скользили снежинки. Они вели затейливую игру: каждая вспыхивала цветным огоньком, в любой из них для Нюшки успевал на мгновение открыться сияющий мир. Хотелось заглянуть глубоко хотя бы в одну, открыть чудо... Но для этого нужно было знать заветное слово. В этом Нюшка была уверена, как была уверена и в том, что этого слова она пока ещё не знает. Потому и сидела в кошеве тихо. Настолько тихо, что ей стало казаться, будто она спит и видит сон. Снятся берёзы в сумеречной степи, по которой скользят сани. В глубоком гнезде саней на дорожных взмётах покачивается укутанная в тулуп вовсе не тётя Мария, а Снежная королева! На этот раз она в своё ледяное царство увозит девочку, чтобы заморозить её сердце. Но у девочки имеются приметы другой судьбы. Не зря же на передке саней сидит дед Мицай. Не зря у него за опояской заткнуто кнутовище с кнутом. А ещё, когда старик у почты укладывал в кошеву сумку с письмами, из-под меховой полсти глянуло на Нюшку ружьё. А разве то, как слушается старика его кривая кобылка Соня, и то, что Мицай часто оборачивается и подмаргивает Нюшке (дескать, держись, воробей), ничего не значит? Чтобы в мыслях не собраться «королеве» со своей хитростью, дед Мицай ведёт с нею разговор, перемежая его обращением к лошади:

– Значит, в деревню нацелилась? Будешь при сироте состоять? Ну-ну! В других местах, значит, тебе не пондравилось? Но-о! Чтоб тебя леший понужал!.. А Никитич-то знает об твоей затее? Пошла! Спишь, холера!.. Как ехать мне в госпиталь за Нюшкою, об тебе он ни слова не обронил... Я ж тебя смертным грехом к себе на душу взял... Вот привезу-то Сергею Никитичу подарочек!.. Но-о, нечистая сила! Чёт-тя холера подсекает?.. Никитичем-то было прошено только племянницу в деревню доставить...

Надо заметить: когда в саях, подкативших забрать в Казаниху тётку с племянницей, Мария узнала в Мицае того самого старика, что увёз из Татарска Осипа с Фёдором, она даже обрадовалась ему. Но Мицаев разговор скоро стал раздражать её.

А вот теперь, от злости, она уже рывками подпелёнывает Нюшку в меховую накрыву. Потом сама до бровей уныривается в тулуп.

– Дело твоё... – вздыхает Мицай и ненадолго отворачивается.

И никто, даже сама Мария, пока что не догадывается, что «королеве», укутанной в тулуп, не хочется быть ни Сергеевой женой, ни Нюшкиной тёткою, ни детдомовским завхозом, ни чёртом лысым... Всё противно: и аптекарь, и муж, и намёки старого Мицая... Она никому не способна сейчас признаться, зачем окончательно решила ехать в Казаниху. А решила скорей всего потому, что поняла: туда Борисом Михайловичем направлены работать оба Панасюка.

Вдруг старик, словно проникнув в её недомыслие, спросил:

– А как же омский маёр? Он чё? На передовую от тебя удрал?

Мария дёрнулась; Мицай посоветовал:

– Ты бы уж присосалась бы до кого-то одного. У нас в деревне народ тебе сожрать-то Никитича не даст. Мне Лизавета Ивановна, царство ей небесное, много чего об тебе рассказала. Вашу-то с матерью семейку вся Татарка от корня знает... Если придётся, я ить знания эти на всю Казаниху растрясу...

Старик отвернулся, помолчал и опять заговорил:

– А может, маёра-то и не было вовсе? Может, собаку твою да кошка родила? Но-о, родимая! Ты ж без вранья, как без сранья...

– Хватит! – не стерпела Мария. – Взялся – вези... Скотина старая!

Из её глотки вырвался пар. Да Нюшке показалось – полыхнул дым.

Пока Мицай разворачивался на козлах, Мария успела поумнеть до тихого укора:

– Постеснялся бы ребёнка.

– Э, не-ет! – качнул головою старик. – Ребёнку вперёд жить... Ему наши речи – как лист на воде: намок – и потонул, и наслоился до поры. Потом наслоения такие помогают разбираться в людях...

– Оно по тебе и видно – чем ты наслоён...

– Чё тебе видно, сова ты слепая? Ты ж бельма-то свои только тогда продираешь, когда очередь подходит на чужих маёров пялиться. В тебе ж с малолетства подлость на подлость наслоилась. Чуток твою душу

колыхни, одну муть только и поднимешь! Взятась кого стыдить! Да я в своей жизни только тем и осквернился, что взялся тебя в Казаниху доставить...

Мария уже ненавидела старика, не знала, как ненависть эту выразить. Она вновь принялась укутывать Нюшку, на что Мицай сказал не оборачиваясь:

– Будет тебе девку-то дёргать! – Затем он понужнул лошадь: – Пошевеливай! Неча прислушиваться ко всякой брехне...

Чтобы не продолжать разговора, старик запел:

И шли два героя и с финскава боя.
И с финскава бо-оя домой.
Только ступили на финску границу,
Как финн меня ранил чи-жа-ло...

В негустых ещё сумерках внимала его пению студёная, пока ещё малоснежная Бараба. Она еле слышно отзывалась эхом чуткого простора:

Одна пролетела, друга просвистела,
А третья ранила меня!

Нюшке показалось, что она сама побывала там, на финской границе. Может, потому и показалось, что бабушка Лиза как-то при ней пояснила кому-то, что Мицай на той на войне разведчиком служил. «Финским снайпером пораненный, долго до своих добирался, ноги успел поморозить. Обрезали ему пальцы. Вот и кандыбает по жизни...»

И девочке захотелось подпеть старику от него же заученную песню:

Одна нарыва-ит,
Друга прорыва-ит,
А третья к смерти сулит...

От песни ли, от Нюшкиного ли подголоска, но Марию вдруг проняло весельем. Вслух, правда, засмеяться она не рискнула. Тихо затряслась под тулупом. И не осознавая почему, но девочка вдруг запела во весь голос:

Лежу я в больнице, на бе-елой постели,
А доктор подходит, го-во-рит...

Она блажила потому, что не могла простить дедовых обмороженных ног именно Марии. Нюшке хотелось допеть песню прямо тётке в глаза, да Мицай прервал пение и со вздохом сказал:

– Значит, едем, кума; везём воз дерьма... Выгребай, Сергей Никитич!

– Зануда! – выругалась шёпотом Мария, а вслух сказала: – Чего ты лезешь в дела, где собака хвостом не мела? Без тебя разберёмся...

– Ты разберё-ёшься! Ты ж не головою, ты же задницей на свет вылезла. Ну, кто ты против Никитича? Тебе бы не по Омскам чужие хвосты нюхать, не перед аптекарями сиски выставлять...

– Заткнись! – вдруг заорала Мария.

Кобылка дёрнула головой и остановилась. Мицай перекинул одну ногу через козлы, спросил:

– Ещё как умешь? По вокзалам ли чё ли приучилась так трубить?

Марию бил озноб. Заметив это, Мицай сказал:

– Никакая ты не сова. Ворона ты трёпаная!

Нюшка вспомнила ворону, которая что-то клевала на бабушкиной сараюшке, и вдруг поняла, что она пожирала Тамаркину шаньгу, что этой птицей была Мария. Нюшке захотелось убедиться в своей правоте. Она глянула на тётку и не узнала её лица: нижняя губы закушена, верхняя растянута в ниточку, нос заострён, глаза побелели...

Нюшка оттеснилась в уголок кошевы, но Мария поймала её за воротник и выдернула оттуда.

– Не трепли девку, – тут же подал голос Мицай, – скотина безрогая!

И видимо оттого, что племянница бесстрашно глянула в её глаза, Мария вдруг завизжала:

– Сам-то... Кандыбало задрипанный! Ноги-то когда сумел пропить? Вот и сиди, указывай своей кобыле под хвост!

Мицай остановил лошадь, сказал не оборачиваясь:

– Приехали. Вылазь! Тут недалеко осталось...

– Я те вылезу! Я те так вылезу, неделю будут по степи искать... А ну, понужай!

– Эхма-а! – вздохнул старик. – Чёрт с тобой! Скажи спасибо, что боюсь дитё заморозить.

Лошадёнка опять взялась перебирать ногами да кивать головой, точно одобряя стариково решение. А Мицай сказал:

– Помяни моё слово, Маруська: сожрёт тебя жись, и нечем ей будет даже до ветру сходить...

Мороз крепчал; лошадёнка поспешала. Старик изредка оглядывался на закат. Мария всё ещё дышала своим угаром. Нюшка жалась в угол кошевы. Показалась луна и дырявым блином стала медленно вползать на небо. А солнце всё ещё чего-то медлило. И вдруг лошадь ржанула, пустилась было вскачь, но в минуту остановилась, задрала голову и задом полезла из оглобель.

– Чего ты, чубарая? Ходи, милая, ходи!

Сонька послушно сделала два скачка и снова полезла из упряжи.

Мицай живо оказался на дороге, стал поправлять сбрую, приговаривая:

– Дурёха! Эка невидаль – волки дорогу перешли. Глянь, когда это было. Оне теперь уж под Еланкою рыщут... Остарела ты у меня...

Старик вернулся на козлы, сказал:

– Давай, милая! Шести вёрст не осталось... Давай!

Но вместо привычной трусцы лошадь рванула и понесла сани, расхлёстывая полозьями по обочинам крутые залысины. Старик не усидел на облучке, повалился навзничь в кошеву. Мария сунулась перехватить у него из рук вожжи, но Мицай отпихнул её, крикнул:

– Держи ребёнка!

Повернувшись к Нюшке, Мария глянула на дорогу, и рот её распахнулся. Но затрепетавшая перед Нюшкой гортань крика не выпустила. Наоборот, как бы втянула его и только секунд через пять громким шёпотом сообщила:

– Волки!

Сразу оказалось, что солнца уже нет. Однако и малокровного пока ещё света луны хватило, чтобы хорошо разглядеть, как снеговой равниной, нагоняя сани, катятся за ними следом три живых клубка.

Мария задышала так, будто не лошадь, а она несла по степи кошеву. Старик ухватил её за плечо, обернул к себе, сунул ей в руки вожжи, крикнул: «Не упусти!» – и поторопился вынуть из-под козел ружьё.

Рискуя на любой колдобине вывалиться из саней, Мицай с колен стал целиться. Но взять зверя на мушку ему мешала завязка от треуха. Боковым ветром заносило её старику на глаза. Он хотел сбросить шапку в кошеву, но её подхватил и унёс ветер. Мицай опять припал к ружью... Волки уже стелились не степью, а дорогой. Было видно, как шевелятся их крепкие лопатки.

– Стреляй! – закричала Мария.

Белый её берет тоже унесло в степь, волосы разметались. А Мицай никак не мог взять зверя на прицел. Наконец раздался выстрел – пара задних волков поубавила прыть, зато передний взялся того проворней шевелить ногами.

– Бешеный! – прошептал Мицай и полез в карман за патроном. – Щас я тебя вылечу...

Передний зверь шёл нахлёстом уже метрах в ста от кошевы. Остальные прижимали уши, изгибали спины немногим дальше... Старик успел разломить свою одностволку, но никак не мог поймать в глубоком кармане патрон. И вдруг Нюшка увидела, как Мария самую малость двинула плечом в сторону Мицайя. Дед вскинул руки. Ружьё ударило Нюшку по ногам. Девочка подхватила его и кинула старику, который медленно, как показалось Нюшке, вывалился из кошевы на дорогу. Так же медленно Мицай перевернулся через голову, но подхватился, кинулся за санями и... упал...

Нюшка в это время, сдёрнутая Марией на дно кошевы, увидела над собою вскинутый кнут...

Мария хлестала то по лошади, то по племяннице, которой не было больно. Девочка только вздрагивала, но скорее оттого, что любопытная луна при каждом тёткином взмахе выглядывала у неё из-под мышки и слезила ей глаза...

Мицайя звали Мицаем потому, что, перед самой войною приставший к деревне неведомо чей Семешка-дурачок, страсть как любивший лошадей, завидя издали старика-конюха Михаила Даниловича Копылова, радостно сообщал всем, кто его слышал:

– Мица идёт!

На его языке это означало – Миша идёт. А получалось – Мицай-дед. Таким образом участник Хасана и финской войны, списанный

инвалидностью конюховать в родной деревне Казанихе, был обращён добрым дурачком Семешкою в деда Мицая.

С приходом очередной войны добрых лошадей мобилизовали. За оставленными в колхозе несколькими клячами доверили приглядывать доброму Семешке.

Жил Семешка, с разрешения директора, в одном из школьных закутков, столовался по очереди у селян. Та же сельская община пользовала его баней и прочими заботами... А Мицая, заодно с кобылкой Соней, направили работать в школу – хозяйственником. Доставлять же в район и обратно деревенскую почту он напросился сам.

Соней величали кобылку за доброту и понурый вид. Довольно крепкая ещё лошадка была оставлена в колхозе из-за бельма на одном зрачке. В деревне Соня знала каждого, ко всем тянулась мягкими губами. За подачку могла идти куда угодно. Иногда Соня останавливалась у облюбованного палисадника – ждать угощения. Мила она была всем хозяевам тем, что, дождавшись желаемого, сразу заканчивала осаду.

И вот когда эта ласковая тихоня, храпя и теряя с губ лохмотья пены, вынесла на длинную улицу Казанихи раздёрганные бешеной скачкою сани, люди повыскакивали из дворов настолько дружно, будто над деревней ударил набат.

В санях простоволосая молодайка пыталась умерить кобыльню слань. Соня взбрыкивала, ударяла ногами в передок саней, ржала до визга, но шла растяжкой. От страха она словно переродилась в гончую собаку. Нюшка лежала на дне кошевы; лишь её голые пальцы белели на кромке короба. Когда она потеряла рукавицы, тоже знал один лишь ветер...

Единым духом перемахнув полдеревни, Соня внесла кошеву на широкий школьный двор и остановилась только у крыльца. Озираясь на знакомый ей, казалось бы, народ, она не сразу перестала вскидывать голову, стричь ушами и щерить зубы...

Вся деревня собралась у саней. Больше, чем на лошадь, она глядела на патлатую красотку. А крепкая женщина в сером пуховом платке не замедлила подойти вплотную и спросить Марию:

– А где Михаил Данилыч?

Тем временем на школьном, в пять ступеней, высоком крыльце появился директор – Сергей Никитич. В чёрном костюме, трудно торопясь, он со своими костылями походил на подбитую ласточку, которая пыталась, да не могла взлететь. Такое бессилие все отметили разом. Отметила и Мария. Потому на вопрос о Мицае она отозвалась не сразу. А Сергей при виде жены и вовсе обвис на своих опорах, стал обычным калекой; заскрипел костылями – и с крыльца, и по снегу...

Нюшке казалось, что костыли вовсе не скрипели, а всхлипывали...

– Кобыла понесла, – глядя на мужа, наконец ответила Мария, – старик и вывалился на дорогу.

Осанистая молодуха, что стояла рядом с «пуховым платком», подступила вплотную к саням, чтобы точнее узнать:

– Почему понесла?!

Статность подошедшей покорибила Марию, и она, пытаясь сойти на снег, ответила:

– У кобылы спроси!

Покинуть сразу кошеву Марии не удалось – молодуха не отступила. Тогда она своими тёмными глазами повела по лицам селян, как по развешенному на рынке барахлу, затем повернулась к Сергею, но сказала для всех:

– Ну, муженёк! И долго меня тут будут пытаться?

Селяне разом сникли, вроде как проторговались на её барахолке. Одну только Нюшку не обаяла Мариина спесь. Возможно, душа её, которая с самого утра барахталась в тёткиной подлости и лицемерии, наконец-то увидела своих освободителей. Девочка поднялась на колени и закричала, указывая рукой за деревню:

– Там волки!

Обгоняя взрослых, понеслась в степь ребятня.

Нюшка в кошеве отыскала свои чуни, перевалилась через плетёный край короба и пустилась обгонять скупонюгих стариков. Ни Сергей, ни Мария даже не попытались её удержать.

Им обоим было видно, как народ на краю деревни остановился, толпа уплотнилась, развернулась и медленно направилась обратным ходом.

И вот уже среди различимых лиц засияла улыбка деда Мица. Рядом со стариком, который без шапки ковылял по дороге, теплилась

довольная мордаха Ньюшки. По другую сторону жалась к ногам старика ладная овчарка...

Глава 10

Васёна Шугаева была перестаркою: запрошлой осенью разменяла она четвёртый десяток. В тот же год похоронила шалопутного отца.

В семье Шугаевых от божевольного хозяина появлялись ребята худосочные. Появлялись часто. Но Шугаиха не успевала порой донести младенца до груди. И вдруг последняя деваха крепостью своей оказалась под стать годовику. Но и эта красавица неделю спустя чуть не задохнулась, когда с перепою, отец, вместо хлебного мякиша, обмакнул в молоко и сунул ей в рот чёрного таракана.

С этого переполюха и случилась с матерью горячка – померла, как испарилась!

Поднять Васёну помогла вдовцу соседка Дарья Лукьяновна Копылова – Мицаева жена. Даже во время колчаковщины она держала Васёну при себе, хотя долгими днями приходилось, заодно с мужем партизанить в приобских урманах.

После смерти Шугаихи муж её бросил пить; долго держался человеком. Но потом так взялся догонять своё скотство, что испитая его образина поросла щетиной. Только нос рыхлой свёклою сообщал людям о том, что таких носов ни у одной другой скотины, как у запойного мужика, быть не может.

Взамен прежнего буйства теперь напала на Шугая иная блажь – взялся юродствовать на людях и уже до смерти не изменил своему новому изложению.

Под конец жизни он до того доизложился, что вынудил селян плевать себе вслед...

Будучи ещё крохою, Васёна поняла: отец – её судьба, петлёю жалости и стыда захлестнувшая ей горло. Над нею, в отцову породу огненно-рыжей, пытались потешаться жалкие людишки, что-де из Васёны этаким-то пламенем выходит родителей срам. От этой недоброй шутки она избавилась тем, что низко повязалась чёрным платком, и никогда больше её, белолицую, синеглазую, никто не видел гологолоюй...

При такой оболочке любая другая одежда, кроме смурой, казалась никчёмной. Вот из этой темноты долгие годы и смотрели на селян пасмурные глаза. Оттого и называли её сельские слабоумы баптисткой.

И даже, будучи настоящей баптисткой, не осталась бы Васёна одна, если бы судьба не подарила ей огромное, да несбыточное счастье – любить...

Дверь своей избы Васёна отворяла только перед бабами. Мужики давно не видели в ней ничего женского. Председатель колхоза Павел Афанасьев и тот как-то сказал своей жене Катерине:

– Ума не приложу, за что баптистка наша меня ненавидит? Что я ей такого сделал?

– Даже не прикладывай Васёну к уму... – волнуясь, произнесла тогда Катерина с глубоким вздохом. – Вам, мужикам, лучше этого не знать...

И без того жадная до всякого дела, Васёна с приходом войны взялась прямо-таки лютовать на работе.

– Надорвётся! – сокрушались бабы, сами до посинения устосанные на полях да на фермах. – Осатанела девка, будто семерых милых на фронт проводила.

– Ввёрнутая какая-то...

Такие-то «ввёрнутые» и откалывают порой номера, непостижимые для нормального человека.

Накануне праздника Великого Октября зашла Васёна в правление, где за председательским столом, взамен ушедшего на фронт Павла Афанасьева, теперь сидела Клавдия Парфёнова – та самая статная молодая, которая месяцем позже потребовала от растрёпанной Марии ответа – насчёт Мицая.

В конторе Клавдия-председательша толковала с двумя приезжими мужиками. Остроносый, дробный мужичок стоял перед столом и на каждое её слово согласно кивал головёнкой в шафрановом берете. Другой чернокудрый великаном сидел на стуле и без интереса дёргал за волоски свою собачью доху...

Васёна постояла у порога, послушала разговор, да вдруг и заявила:

– Эти хохряки будут жить у меня!

И не сказав Клавдии того, что привело её в контору, велела приезжим:

– Давай пошли!

Вечером Клавдия заглянула в телятник, где хозяйничала Васёна, поинтересовалась:

– Может, постояльцев-то забрать?

– Нет! – отрезала та.

– Гляди, не пришлось бы с ними...

– Мне?! – резко удивилась Васёна, даже не позволив Клавдии договорить. – Да мне ли привыкать погань уламывать...

Её суд не больно понравился Клавдии. Во-первых, столь жестокий отзыв, по сути, о собственном отце; во-вторых, такое презрение к незнакомым людям... Постоянно жалевшая Васёну, даже Клавдия тут подумала: «И в самом деле баптистка». Но ровно на другое утро бабка Дарья, Мицаева половина, обзвонила всю деревню забавной новостью:

– Ни свет ни заря вынес меня чёрт во двор, а у соседки-то у моей, у Васёнушки-то у нашей, молодой-то новоселец в одних кальсонах под окошком скачет. Не-ежно так просится: «Пусти!..» А я-то: «Ой!» Крутанулся он рылом ко мне. Матушки-и мои! Полморды кровотёком забрано!

– Ай да Васёна! Ай да молодец!

– Скаврадой, поди-ка, пригвоздила?

– Она и кулаком прилепит – не оторвёшь...

Улыбаясь бабьим насмешкам, Клавдия поняла: поди ж ты, какая умница! С одного взгляда распознала нечисть... Велика, знать, боль твоя, Васёнушка, если так стараешься уберечь от лишней срамной заботы землячек своих...

Волчья канитель Васёну дома не застала: она вызвалась пособить дояркам, которые ждали от бурёнок скорых отёлов. Осип тоже отсутствовал – что-то промышлял со Степаном-заготовителем по соседним деревням. Потому рассопевшегося под тулупом Фёдора разбудить было некому. Так что Мария, стоя в раздёрганной кошеве, напрасно корчила перед мужем свою независимость. Впустую надеялся и Мицай, что на сегодня все его треволнения утихли. Но стоило ему подойти к Марии – глянуть в лицо, как все его «шарниры (потом жаловался он своей Дарье) заржавели». Ни тени смущения не обнаружил старик в её глазах. Отдаляясь от этого бесстыдства, он обратился к Сергею:

– Ты чего, Никитич, раздетым стоишь? Веди племяшку в тепло...

Мицай давно знал от матери Сергея Никитича о Мариином житье-бытье. Знал и то, что напрасно ждёт Сергей весточки от жены, да

только всякий раз надеялся выудить из почтовой сумки злосчастное письмо.

Тяжко было старику видеть, как смурнеет хороший человек, принимая от него лишь газеты да деловую почту. И всё-таки в Мицае тлело уважение к Марии за её молчание. Он понимал, что добрых писем от неё вряд ли дождёшься, а плохих – Господь покуда милует.

И вот тебе – грянул гром, да не из тучи, а из навозной кучи...

В ту, в волчью ночь, уже покоясь на тёплом припечике, Мицай видел дорогу, на ней степных разбойников. Благодарил Нюшку за ружьё...

Однако и при ружье не надеялся тогда старик остаться живым – ноги отказывались держать его, ружьё оставалось незаряженным. Только вдруг в переднем звере Мицай угадал собаку. Он закричал как мог:

– Давай! Давай, милая!

Тормозя лапами по мелкой колее, псина чуток проехала мимо старика, тут же развернулась и, ероша загривок, стала рядом.

Волки были на подлёте, но при такой внезапности остопились и упёрлись лапами в дорогу, оголив пасти оскалом. Мицай чуя, что собака мелко дрожит, зачем-то запел, по-волчьи вытягивая звуки:

– И-и шли-и два-а гер-ро-о-оя...

Серые от неожиданности опустили на дорогу зады, приподняли морды, прислушиваясь к непонятным звукам. Мицай, выводил завывание, сам не спускал со зверей глаз. Раскачиваясь под волны своей песни, он скользнул рукою в карман, сразу нащупал заряд и так же медленно донёс его до патронника.

От щелчка затвора серые опомнились. Мицай не успел прицелиться. Он и выстрела-то не услышал... А вот теперь, на тёплой печной лежанке, до самого утра всё видел замедленный звериный взлёт, волчье светлое брюхо, лапы в судороге, затем запрокинутую на спину башку...

Зверь упал на дорогу так, словно ухнул с небес. Другой было кинулся вперёд, но крутанулся в прыжке, спружинил на всех четырёх лапах, мощным прыжком хватил в сторону и во все лопатки взялся стегать под неяркой ещё луной серую равнину.

Собака за ним не погналась. Скаля зубы, обошла мёртвого бирюка, рыкнула, подошла к Мицаю и заскулила. У старого же не оказалось силы сразу подняться на ноги...

А теперь он лежал на припечике и улыбался, потому что видел Ньюшку, которая бежала к нему навстречу по деревенской улице и всё теряла да подхватывала свои чуни...

Мицай ворохнулся со спины на бок, подsunул ладошки под лицо, прошептал:

– Надо пимёшки скатать...

Так до самого рассвета не дался старику сон. Он слышал, как в пригоне фыркала Соня, как взлаивала во дворе собака.

«Не-ет, не Манька...» – подумал о ней старик.

– Не Манька... – прошептал вслух. – Никакая собака не кинет в беде человека...

В бессоннице своей дед старался не видеть Марию, боялся допустить до ума истину приключения. И всё-таки он понимал её намерение разом отделаться и от зверей, и от лишнего свидетеля своей беспутности. Вокруг этой стержневой сути всё крутились и крутились стариковы жизненные понятия. Он ворочался, садился, повторял: «Не Манька», опять укладывался, пока старая Дарья не заругалась на печи:

– Лешак тя вертит! Всю избу расшатал! Какая у тебя там Неманька?

– Да я всё про собаку...

И тут Мицай хлопнул себя по лбу:

– Будь ты весь! Старый пень! Забыл всё с этой собакой!

– Чё забыл? Когда девкой был?

– Письмо забыл отдать.

– Како тако письмо?

– Ну! Закокала! С фронту – како тебе ещё? Катеринино – Афанасьихи. В пинжак на почте заложил, да заканителился...

Дарья уже стояла на полу, ругаясь:

– Обормот! Бабе с начала войны – ни весточки, а он – в пинжак, видите ли, заложил... Куда?! – остановила она деда, когда тот потянулся за портками. – Лежи уж, забывальщик!

Она быстро собралась, приняла от Мицая фронтальной треугольник, сказала на ходу:

– Сѣдни Катерина дома ночевала. Гостей устраивала. Успеть бы, пока на ферму не унеслась...

Во дворе на неё заворчала собака.

– Ишшо чего?! В своём доме да под стражей. А ну, пусти, Неманька!

Слыша такое Мицай на припечике хохотнул.

Афанасьевский дом был рублён самим Павлом на большую семью. И сотворилась эта семья скорее обычных. Старшие сыновья – Пётр да Павел, средние – Константин да Николай были принесены в этот мир двойнятами да погодками. Все толстоголосые, съестные, крепкие. Пятым Иван появился на свет – семимесячным, дробненьким, потому залюбованным матерью сильнее прочих. Но к большим годам если не раздался по-афанасьевски, то, проходя под дверной притолокой, гнулся ниже остальных. Восемнадцать ему стукнуло в посеvную, а чуток спустя грянула война.

Весь афанасьевский рѳдник разом поднялся из-за обеденного стола, будто собрался на дальние покосы, только никто не взял с собою ни оселка, ни литовки, ни всегдашнего балагурства. Зато приняли от матери благословение да наказ: везде и всюду оставаться верными россиянами!

Павел сам вывел сыновей из дому, сам уселся за руль полуторки, прямо с сиденья машины последний раз обнял свою Катерину, сказал виновато:

– Война, мать! Прости!..

И загудела полуторка длиннее бабьих провожальных стонов, длиннее степной дороги, длиннее всей человеческой памяти. Прощались хлебробы с нивами, с берѳзовыми колками, с неповторимыми запахами родимой земли...

Когда полуторка пропала за пологом степной пыли, Катерина вдруг сорвалась с места – догнать, но не осилила и десяти шагов, задохнулась и осела на дорогу. Мицай пособил ей подняться. Повѳл домой. У ворот она остановилась, обернулась на опустевшую степь, обречѳнно сказала:

– Всѳ! Вырубили мою рощу...

– Ты чѳ? В уме, баба?! – застрожился было Мицай, но Катерина горько усмехнулась, словно собралась да не сказала: «Где уж вам,

мужикам...»

Зато сказала неоспоримое:

– Я знаю, што говорю!

А теперь Катерина, считай, жила на ферме, где работала животноводом. У себя дома она появлялась лишь помыться в бане да переодеться.

Как-то Мицай сказал ей, что Сергей Никитич не прочь бы перебраться жить в её дом. Она тому настолько обрадовалась, что тут же назвала директора школы сынком.

Сергей Никитич был человеком таким, словно прожил на свете сто мудрых лет и повторился землёю за своё бескорыстие и доброту.

По приезде его в Казаниху возникшее было среди сорванцов прозвище Костырик в две недели выцвело и совсем потеряло себя в новом звании – «Музыкант». Это звание присвоил Сергею Никитичу опять же Семешка. Глупырь очень любил бывать на школьных уроках. Прежний директор за такого «ученика» ругал учителей, Сергей же Никитич только и сказал:

– Чтобы на уроках ни гу-гу!

И вот однажды, наблюдая с последней парты за движением рук Сергея Никитича, Семешка самозабвенно произнёс:

– Музыкант!

Ясно, что имел он в виду дирижёра. Только где и когда мог он видеть и запомнить нечто подобное, осталось загадкой...

А когда Катерина Афанасьева узнала, что Сергей Никитич женат, то решила для себя: эта его жена может в любой час появиться в деревне. Потому скорым днём она взялась наводить чистоту в доме. Однако же ей недолго было понять, что вряд ли это когда-нибудь случится. И всё же она убедила себя, что такой человек, как Сергей Никитич, не станет сохнуть о какой-то там пустышке.

И вот те на! Явилась жена, как в субботу сатана...

Стоит в кошеве перед удивлённой Катериной только что не таборная красавица, ведёт чёрным глазом так, будто перед нею вовсе не люди, а зеркала, которые обязаны отражать её неповторимые прелести. И вдруг эта красавица говорит не кому-нибудь, а Сергею Никитичу:

– Ну, муженёк!

Деревню в тот дурной вечер так и отшатнуло от саней. Во всяком случае, так показалось Катерине. А ей пришлось самой взять Нюшку за руку и пошагать с нею к себе домой – в тепло, в сытость, в надёжность. Дорогой она приговаривала:

– Щас придём, налопаемся – и спать...

Сергей с Марией молча последовали за ними...

В кухонном окне афанасьевского дома теплился огонёк. Мицаиха в калитку не торкнулась, а поклевала пальцем по стеклу окна. Изнутри разошлась задергушка, свет заслонился хозяйкою. Дарья, как бы разгоня порхающие в воздухе снежинки, помахала конвертом. Катерина поняла её, но к двери не кинулась. В исподней рубахе, с неприбранными ещё волосами, она отступила от окна и вялой рукою прикрыла рот. Но вдруг волосы разметнулись крыльями, крутанули хозяйку и понесли раздетой на мороз.

У калитки Мицаиха поймала её, развернула и только в доме протянула треугольник письма. Катерина отступила, поискала на голове платок, не нашла и стала клониться на сторону. Бабка Дарья помогла ей опуститься на табурет и вздумала журить:

– Сказилась баба...

Но Катерина посмотрела на письмо, сказала:

– Это самого...

– Буровишь, что ни попадя, – возразила Мицаиха, но Катерина отрезала:

– Не спорь! Нынче мне сон был: иду бы я сплошным чернозёмом – глаз не на что положить. А то бы и не чернозём вовсе – вороньё! И не вороньё – кошки чёрные. Расступаются – дорогу дают. На дороге новый сруб – ни окон, ни дверей. Без крыши. Вот она... крыша-то, – кивнула она на треугольник...

– Господи, Твоя воля! – перекрестилась Дарья, а Катерина продолжила:

– Не могу сруб тот обойти; на стену полезла. Сверху вижу – весь пол усыпан червями. В углу на коленях Павел стоит. Меня увидел – рукою машет: уходи, дескать... На том и проснулась. А тут ты... Читай! – приказала она старой. – Про себя читай, я пойму...

Она поднялась, бледная в белой своей исподней рубахе уставилась в чёрную пустоту закопья, как в своё предстоящее, и повторила:

– Читай!..

Во всю Казаниху угодила эта фронтовая пуля. Бабы торопились к афанасьевскому дому – пострадать от первой безысходной на деревне боли, от страшных предчувствий... Они столпились у двора. Хотелось выть, но законная белая Катерина не давала им путём даже передохнуть...

Так засветлел горизонт.

Мимо той молчаливой толпы медленно прошла Васёна Шугаева, остановилась перед окном, занемела – глаза в глаза – против Катерины. Минутой она развернулась, спокойно перешла улицу. На другой стороне опять придержалась, сказала слышно, ледяным голосом:

– Оставайтесь с Богом!

И пошагала изволоком до реки. Кто-то сказал ей вслед:

– Вот у кого сердце-то каменное...

В тихой избе бабка Дарья услышала тот голос, глянула в свободное окно: кого там судят? Но, помимо бабёнок, увидела наискосок только кирпичное строение бывшего маслозавода, которое смотрело на деревню двумя битыми стёклами окон.

«Пару окон вечер высадил, паразит! – подумала она. – Сколько теперь прогреть понадобится. А ребятню под Новый год обещались пригнать».

– Дарья Лукьяновна...

Позвавший её голос был очень тих, но старая услышала, обернулась, увидела на пороге полуоткрытой комнатной двери Сергея Никитича и поторопилась прошептать:

– Беда у нас!..

Она показала глазами на стол, где лежало письмо, охнула, словно бы только что сама его увидела, не сдержалась, запричитала не сторожась:

– Соколик ты наш сизай! В каком поле, в каком во поле да сложил ты свою буйну головушку? Да не встать тебе, не сказать тебе, каким пивом-брагою опоил тебя супостат-злодей...

– Чёрт знает что! – послышалось из комнаты. – Не дадут ребёнку выпаться!

Дверь комнаты захлопнулась, бабка замолчала, Катерина у окошка вздрогнула, прошла за полог своей кровати, которая стояла тут же – в кухне, появилась оттуда уже причёсанная, одетая. У избяной двери накинула на себя полушубок, шагнула за порог.

На улице сказала бабам:

– Война, што ли, закончилась? Айда работать!

Глава 11

Осип Панасюк доставлен был в Казаниху заготовителем Степаном Немковым лишь к полному рассвету. Его ждала соседка – бабка Дарья. Она сразу и окликнула его через низкий плетешок ограды:

– Семёныч, погодь-ка!

Тот улыбочиво погодил. Но старая не собиралась на его умиление отвечать тем же.

– Где тебя черти носили? – спросила она.

– Та-ак! – ответил Осип. – Только перед вами, Дарья Лукьяновна, я ещё и не отчитывался...

– Вот те и так – за рупь пятак, за два – алтын, не ходи дурным... Ступай-ка полюбуйся, чё твой придурок в детдому отмочил!

– А я што могу? – горестно склонил Осип головёнку. – У него – справка. От врачей. А я што могу? – повторил со слезою в голосе.

– В задницу заткни свою справку. – Не проняла Дарью соседова печаль. – Знать, у вас такие и врачи – хоть караул кричи...

– Да в чём дело-то? – уже с лёгким раздражением воскликнул Осип... – Прошу...

– Проси, проси, да вперёд не голоси... – не дала старая Осипу доспросить путём. – Состряпал стервеца – всю жись будешь за него просить. Только деревня-то пошто стряпню твою должна хлебать?! Беги поглянь, чё твой стервец в детдому натворил...

Бабке хотелось удариться в голос, но рядом с нею уже стояла и порыкивала на ответчика собака Неманька...

Осип было вознамерился пройти до здания будущего детдома незамеченным, но в узком переулке лоб в лоб сошёлся он с председателем колхоза – Клавдией Парфёновой.

– О! – воскликнула та. – На ловца и зверь бежит. – И взяла с места в карьер: – Месяц вы тут деревню объедаете, а барыша – ни шиша?! Один заготовителя пасёт, другой распоясался – не завяжешь...

– Больной он, – заново поспешил Осип огородить сына от вины.

Да Клавдия на его старание только повысила голос:

– Самогон жрать – он здоровый, а человеком оставаться – больной! Твой немощный, гляди, только стены у завода не разворотил! Окна

повыхлестал! Чем теперь стеклить прикажешь? Задницей твоей?! Ой, смотри, Осип Семёныч, как бы я из него настоящего родимчика не сделала...

Однако Осип поторопился обнадёжить Клавдию:

– Мне про Федьку в Татарке уже доложили, – соврал он. – Я и с заготовителем успел договориться – насчёт стекла. На днях обещался привезти. А что справки, так я и сам думаю, что пора их удостоверить. Постараюсь, Сазоновна, постараюсь...

Дальше Осип побежал по-над яром реки Омки. Но и тут ему довелось кинуться под стожок соломы, кем-то оставленный у самой кручи. Тому причиной оказалась Катерина Афанасьева. Она стояла в распахнутом полушубке у кромки обрыва; вглядывалась в заречную даль. Туда же потянулся глазами и Осип.

На другой стороне реки по снеговому долгому изволоку медленно брела-поднималась чёрная запятая человека. Минутой она готова была скрыться на вершине косогора. Там её, казалось, поджидал густой заснеженный березняк. А здесь Катерина была напряжена так, что Осипу показалась она беркутом, готовым взлететь над пойменным заречьем, чтобы догнать готовую исчезнуть добычу. И он шепотком не то пожелал, не то предсказал Катерине:

– Сил не хватит... Треснешься, дура, об лёд!

Он обогнул стожок и выглянул с другой его стороны. Потянул носом, прошептал:

– Хлебом пахнет...

Подумал: «Полюбить бы такую...»

В этот момент Катерина подвернула под колени полушубок, села и по крутому снеговому склону яра съехала к реке. Он увидел её опять уже внизу, на льду реки. Проследил, как она ловко одолела шиханы, выбралась из урёмы на другой берег и подалась на высоту косогора в тот самый, в заречный березняк.

Осип отряхнул с пальтишка своего соломинки, вышел из-за стожка. Придержался на краю обрыва, ещё самую малость понаблюдал за происходящим, молвил с усмешкой:

– И чего это они там забыли?

Решил:

– Бесят бабёнки без мужиков... Надо бы заглянуть ненароком до Катерины... Хотя и Клавдия, – помянул он председательшу, – тоже в теле... не откажешь... Хороши, сволочи!

Как на море туман, весть о гибели Павла напрочь срезала перед Катериной весь мир. Сущее да желанное скрылось во мраке с такой скоростью, словно губка непроглядности втянула их в себя, как щепку в речную воронку.

Уже готовая отдать себя на волю крутого омута, Катерина вдруг различила перед собою заслон – лицо законной Васёны. Перед нею стояла откровенная, обнажённая любовь к Павлу. К её Павлу! И между ними, между этими крепкими славянками, ничего больше не оказалось, кроме взаимной несусветной беды...

Отлюлюкалась, отматерилась на Сибири Гражданская война, можно было обустроиваться на родимой земле. И вот уж скоро Павлушке с Петюнькою Павел Афанасьев купил в районе новые картузы. Там и Коське с Николкой по пиджаку справил. А вот и подскрёбьш Иван, гляди, поднялся выше отца. Сама Катерина из тонкой лозины превратила в Афанасьиху – статную хозяйку добротной семьи!

А Васёна Шугаева, повязанная чёрным платком, со слипшимися от молчания губами, всё шагала на ферму и обратно, всё вводила с улицы домой вечно срамного отца. Деревня давно забыла: сколько ей лет? Не спрашивала: что у неё на душе? Живёт – и живи. Афанасьиха тоже ничем не выделяла Васёну – разве что её дикостью. И в страшное утро не различить бы ей во тьме своей беды Васёниного лица, кабы запрошлою весной её жизнь не открылась Катерине совсем другой стороною.

Искала тогда Катерина у вечеряющей реки блукавую козу. И слышался ей вовсе не блёкот упрямой скотинки, а певучий бабий стон.

Зарослями пробралась она до лощины, где у вынесенной на берег половодьем коряжины стояла рыжая в огонь молодуха. Облитое лучами солнца мокрое тело её отливало жемчугом. Сомкнув на затылке пальцы рук, она творила нечто похожее на молитву.

Не скупа на красоту русская земля, но порою властвует её щедротами сила безмерная!

Катерине показалось тогда, что рыжая только-только сотворена самим светилом, которое, намереваясь отправиться отдохнуть, жаждет успеть – сполна насладиться делом рук своих.

А красавицу вдруг выгнуло с такою силой, будто под нею вспыхнул костёр. Слова её зазвучали тихим криком. Она как бы вознадеялась им заглушить боль сгорания:

Гряньте, стареньких небес колокола,
Вольно вам отлёживать бока!
Я себя отпела и оплакала,
А теперь валяю дурака...

Голос был настолько полон страданием, что слова для Катерины потеряли значение. Проявились они только с последним восклицанием:

...Мне давным-давно пора повеситься,
Только больно нравится мне Русь!

Закончив молитву, рыжая пошла в воду, бесшумно легла на волну и поплыла на другой берег.

«Слава богу!» – перевела Катерина дыхание, осознавая, что нет у реки намерения поглотить такое совершенство. Тогда она потихоньку выбралась из урёмы на взгорок, увидела сверху, что рыжая стоит на чистом песке противоположного берега. И подумалось ей: «А голос-то наш... деревенский чей-то».

В тот раз Катерина махнула на козу рукой – холера с ней! – и зашагала гривою домой. Только что услышанные строки моления роились у неё в голове. При этом она размышляла:

«Видать, много накопилось в этой бабе лежалого звона, чтобы так разговаривать с небесами! Может, чужого мужика полюбила? Не приведи господи! А ежели он такой, как мой Павел? Пропала баба! Скоро серебряную свадьбу играть, а он жаден до меня, как голодный парень...»

Заново осознав себя любимой, Катерина тихо засмеялась, сказала себе:

– Не-ет, мои колокола не заржавеют...

Коза блёкотом встретила хозяйку у ворот дома.

– Что? Нагулялась, сатана? – спросила Катерина. – Хлебушка клянчишь? Ничего, потерпишь. Сейчас Жданку встретим – разом и угощу.

Медленное от сытости деревенское стадо уже врывалось с луговины в улицу. Чужое готовое пойло, коровы утробно мычали, верещали овцы.

Выглядывая в пёстром наплыве скотины свою Жданку, Катерина увидела Васёну, которая понуро шагала в отдалении, следуя за стадом.

«Будто крест несёт!» – подумала тогда Катерине и разом поняла, кто молился у реки. Но тут ей в руку уткнулась тёплыми губами корова, требуя привычной ласки.

– Ну-ну... – похлопала её хозяйка по шее. – Потерпи, потерпи...

Её слова как бы услышала Васёна. Она подняла голову, увидела Катерину, остановилась, как наткнулась на высокую стену, секунду помедлила, сникла и молча прошагала мимо...

Уверенным в незыблемости счастья своего может быть только идиот. Катерина глупостью не страдала. Однако от набежавшей тревожной мысли она тут же отказалась. Задала себе совсем другой вопрос: люди, что же творится с нами? Почему так просто мы забываем один другого? И я сама – заплесневела в добре... видишь ли – пауки не шевелятся в колоколах...

И тогда же, следующим утром, Катерина застала Васёну за колхозным телятником. Она отворачивала вилами лежалый пласт навоза.

– Бог в помощь, – сказала Катерина.

– Назьма, што ли, твой Бог не нюхал? – усмехнулась Васёна, поразив подошедшую грубостью голоса.

«Надорвала, знать, причитая! – догадалась Катерина и допустила до себя заурядное бабье ехидство. – По чужому-то мужику...»

Но спросила ровно, безо всякой обноски:

– Почему в одиночку-то пластаешься?

– Так же... семьи у всех. Когда-то бы надо и доглядеть, и накормить...

– А ты-то не завтракаешь, что ли?

– Не завтракается, – опёрлась Васёна о держак вил и грубо спросила: – Чего надо? Чё пришла?

«Напрашивается на скандал», – мелькнуло в Катерине подозрение, но она упустила прямой ответ, а сморозила неожиданную для себя пуповинную бабью глупость:

– Для кого стать бережёшь?

Васёна с маху воткнула вилы в навоз, тихо сказала:

– А я думала, ты умнее...

Так сказала, что Катерина ощутила никчёмность начатого ею суда.

Покуда она растерянно искала в себе ответ, Васёна выложила перед нею такую истину, после которой Катерина долго ещё ходила мимо её двора с замиранием сердца.

– Ты на что надеялась? Думала, что я начну отнекиваться? Не начну! Мне кажется, что я родилась с любовью к нему...

Медленный, спокойный голос её исходил из самого нутра. Губы почти не шевелились. Но с каждым словом Катерина всё больше осознавала, что на такую любовь суда нет.

– Живи-ка ты, как жила, – продолжала говорить Васёна, – а с меня и того хватает, что он есть на белом свете...

После разговора с Васёной Катерина обнаружила в себе разбуженное заново чувство к собственному мужу, да такое, что Павел в очередную ночь предложил:

– Давай сотворим ещё одного сына.

И задохнуться бы ей от счастья великого, не разрыдайся она той ночью. Ни Павел ничего тогда не понял, ни она не смогла ему ничего объяснить. И только теперь, на вершине заснеженного увала, она сообразила, что изливала на крепкую грудь мужа своего Васёнину боль.

А теперь?! Теперь куда девать своё горе? Куда девать Васёнину любовь?

Уже приближаясь к березняку, Катерина остановилась на минуту, покачалась в сугробе, внезапно, как Васёна у реки, воздела к небу руки и закричала с подвывом:

– Па-шенька-а!

Эхо сорвало с ветвей опоку; в её блёстках размылся, потерялся образ Васёны. Оттого Катерина взвыла того тошней:

– Васёна-а-а!

Березняк отозвался сорочьим стрёкотом. Катерина метнулась на птичье беспокойство. Она знала, что сорока не зря сорочит. И не

ошиблась.

Простоволосая Васёна сидела у комля старой берёзы, прихлётнутая здоровенной развилиной. С её шеи сползала на снег такая змейка пеньковой верёвки. Лицо было запорошено снежной пылью.

Смахнуть эту искру для Катерины показалось страшней, чем поднять из гроба покойника. Но, приглядевшись, Катерина поняла, что сук обломился прежде, чем пеньковая змея сумела сотворить непоправимое.

«Вот и Павел мой, – подумалось ей. – Живой Павел. Живой...»

Глава 12

От берега реки Осип свернул в переулок. В заплоте будущего детдома сдвинул на сторону сорванную с нижнего гвоздя доску, протиснулся в проём. Неутоптанной тропой добрёл до строения. С фасада оно красовалось выбитыми стёклами двух окон. Огромный замок на двери был нелеп, как смех на поминках.

– Убить мало! – сказал Осип и заторопился обратно серединой улицы.

Хотя суета его была не больно проворна, самому ему казалось, что и задыхается он от поспешности, и ругается от досады, и машет на морозе голыми руками – всё по-настоящему.

– Сейчас я вытряхну из тебя мамашино воспитание! – вскрикивал он на рысях. – От той, спасибо, война избавила, а от этого, паразита, никакой фашист не спасёт...

Осипу хотелось рвануть перед деревней рубаху на груди, только знал он, что грудь у него узенькая, голенькая, словно бутылка с молоком. Позорная грудь. Зато в его мозгах шевелились почерневшие от злобы мысли:

«Так мне и надо! Ушёл бы из-под немца один, так нет же! Сманил чёрт дурака хрусталя мыть... Щас! Стал бы немец его справки читать. Крутился бы как миленький. А нет – туда и дорога!»

Крутился бы Фёдор под немцем, как миленький, в качестве кого, Осип продумывать не спешил; перевернул тёмные мысли другой стороной:

«А теперь? Угождай, задабривай, проси... А ежели немец и впрямь до Сибири дойдёт? Ну, возьмёт его полицаем или кем там у них... Он же вольничать примется... А русская баба паскудных рук ох как не терпит... И меня с ним заодно... где-нибудь в пригоне... вилами к стенке...»

Осип остановился, оглядел ближние дворы, ровно опасность быть пришитым к стене вилами уже сторожила его за углом. Ничего не обнаружив, постоял, передохнул, дальше потащился уже нехотя.

«Что я теперь скажу Борису Михайловичу? – не мог он не страдать. – А если Мицаиха ещё привяжется – порядок наводить?»

Такой от себя оторвёшь да отдашь... Так ведь эта курва старая ещё и не возьмёт...»

Осипу показалось, что последние слова произнёс он вслух. На этот раз он оглядел не только округу, но и высоту. Противная его мыслям чистота сибирского морозного дня поразила Осипа. Он обнаружил, что всё вокруг сияет белизной, даже печные трубы. За пеленою кружевных от инея деревьев они дышат на мороз жемчужными дымами...

Да только не чистая благодать ошеломила Осипа, а то, что на фоне этой непорочности он увидел себя среди деревни чёрной капелькой блохи. И не от вида своего стало ему тошно, а от сознания, что питается он не живой кровью, а сыновней навозной жижею. И этому насилию не будет ни конца ни края...

Осип поморщился, повёл туда-сюда глазами, зубами скрипнул.

– На что уходит жизнь! – вздохнул. – Кому это надо?

Действительно, кому было надо, чтобы в мире сотворилась Земля, на ней микроб, который со временем переродится в червяка, потом станет головастиком, саламандрою, завтра каким-нибудь, а дальше обезьяной. Та, нечистая её сила, схватит палку, уколошит противника, чтобы сохранить в себе родовое зерно. Семечко это, через тысячи поколений, в воображении Осипа Панасюка, увидит себя посреди сибирской деревни чёрной блохою, несчастной оттого, что не имеет возможности питаться живой кровью...

И совсем уже больным насекомым Осип побрёл дальше так, словно потерял смысл двигаться. Может, убрёл бы он за Казаниху, за Барабу, за морозную дымку горизонта и... там бы стал человеком... Только шум голосов прервал его неосознанное намерение.

Голоса неслись от школы. Там, во дворе, гурьба учеников быстро превращалась в шеренгу. Директор школы, поскрипывая костылями, направился вдоль готового строя. Он что-то говорил, останавливался, взмахивал рукой. Взмахи были энергичны, но в них действительно ощущалась пластика мелодии...

– Музыкант несчастный! – прошептал Осип. – Развелось всяких... Правильных... Терпи, задабривай, ублажай каждого...

Нагнетая в душу злобу, Осип ею вытеснял из себя чувство собственной никчёмности.

– Хватит! – сказал он довольно громко, чем испугал самого себя, и далее прошептал: – Забираю свою долю, и поминай как звали...

Решением этим он вытеснил из своего внимания школу вместе с ребятами и директором и почти бегом направился домой...

Укрытый бараньим тулупом Фёдор спал на полу. Под его головой сатиновыми розами цвела Васёнина подушка.

Вчерашним полднем, уезжая из дома, Осип строго наказал сыну:

– Гляди тут у меня! Чтоб комар носа не подточил!

– Без сопливых... – ответил Фёдор.

Да только не успел Осип в санях заготовителя скрыться за деревней, как Фёдора тут же подняла на ноги его разнузданность – и понеслось...

Сперва он окунулся в подполье, откуда выбрался только не на карачках. Затем увидел в окно Семешку, заявился в конюшню и решил погарцевать на гнедом двухлетке. Но тот оскалился на сивушную вонь. Когда же Фёдор дунул ему в ноздри, жеребчик вскинулся на дыбы... И если бы не Семешка, быть бы на деревне покойнику.

После того обидчивый «кавалерист» двинулся на деревню – искать на задницу приключения. И заявился он командовать тремя бабами, которые собрались красить полы в будущих спальнях детдома. Но растакого командира бабы тут же наладили взашей. Они даже подумать не могли, что Фёдор отыщет во дворе дырн! Только тогда успели бабы повалить его на снег, когда стёкла в паре окон были напрочь выхлестаны. Слава богу не вместе с рамами!

Повалить повалили, удержать не смогли – вывернулся! Отправился домой и там засел пировать, пока не свалился с табуретки...

Утром, придя с фермы, Васёна таким и нашла Фёдора. На этот раз она только и сказала: «Сволота!» Но Фёдор всё-таки проснулся. Однако смелости не хватило вовсе открыть глаза.

Через тусклый прищур он видел усталую хозяйку, присевшую у стола, и думал: уж не мужланка ли она, коли он так ненавистен ей? Одновременно в воображении своём он настолько явственно представлял изгибы её тела, что невольно зашевелил пальцами, которым захотелось нарушить её неподатливость. Мозгами Фёдор хорошо понимал, что сотворить над Васёной насилие можно только через её смерть. Но не думать об этом он уже не мог. Потому взялся глумиться над Васёной умозрительно. Тело его при этом налилось крайней мужскою жаждой. Да только Васёна резко поднялась, достала

из-за печи пеньковый моток верёвки, обмоталась им по талии и вышла на мороз.

– Женюсь! – решил Фёдор. – Вот уж когда поизгаляюсь...

Он поднялся, поверх оставленной на полу своей дохи, метнул с хозяйкиной кровати цветастую подушку, принял с вешалки тулуп, чтобы укрыться им и опять завалиться дрыхнуть...

Под тулупом его разморило. Он выпустил на волю жёлто-розовые ступни ног, под носом просочился пот...

Таким и обнаружил его отец, когда вошёл в избу.

Осип остановился над сыном, покачал головой, вздохнул:

– Недоносок! Только соплей не хватало...

При этом он вспомнил, что, будучи съестным двухлетком, Фёдор как-то живьём запихал в рот целого цыплёнка.

– Не подавился, паразит! – продолжил Осип своё недовольство. – Выпестовала дура идиота... – упрекнул он далёкую теперь жену, однако увидел не её лицо, а настенные ходики. Они показывали без десяти два и походили на гусара-усача. Померещилась такая нелепость потому, что Осипова супруга частенько говорила ему как мужчине: «Нет! Не гусар ты, Ёсик. Ой, не гусар!»

– А что я мог?! – как бы отвечая жене, прошептал несчастный Ёсик.

Прикрыв лицо ладонями, он сел у стола и застонал так, чтобы Фёдор пробудился и наконец заметил бы его страдания.

Но Фёдору снилась Васёна. Он видел себя рядом с нею тем самым человеком, которым, наверное, и задумывала его природа. Там он Васёне нравился и потому улыбался. Его улыбка озлила Осипа. Он схватил со стола чёрствый кусок недоеденного хлеба, но не рискнул кинуть им в сына, а только потряс им в кулаке да пожаловался кому-то:

– Лыбится! Двадцать бугаю! А дурак дураком...

Он закончил трясти куском, словно отзвонил сыновий юбилей, да, жаль, не помыслил кряду о том, что от тополька родится тополёк, от кобелька – кобелёк...

– Проморгал сына, – всё же признался он себе, и его недовольство осмелилось пнуть Фёдора в бок. Но слабый пинок через тулуп только колыхнул спящего. Почуввав безопасность, Осип дал волю ногам, приговаривая при этом почти настоящим бушующим отцом: – Нахлестался! Вылёживаешься...

Из-под тулупа вдруг выметнулась пятерня. Не отскочи Осип вовремя, лежать бы ему рядом с сыном, подсечённым под самый корешок, словно та несчастная ёлочка в лесу. Но это Осипа не угомонило, он начал обзывать:

– Жеребец мочёный! Идиот паршивый!

Фёдор втянул руку под тулуп, спросил зевая:

– Ты чего, батяня, сечёшься? Белены объелся?

– Я тебе покажу – белены!

– Покажи, – разрешил Фёдор.

Но Осип всего лишь пожелал сыну привычное: «Чтоб ты сдох!» – и слёзно спросил:

– И в кого ты такой уродился?

– Не плачь, батяня, не в тебя. От таких, как ты, одни бы только слизи наплодились.

– Ты и есть слизень! – заверил Осип. – Я тебе сто раз твердил: нажрался – ложись спи!

– А я чё делаю?

– Чё делаю, чё делаю, – передразнил Осип. – В понедельник Борис Михайлович приедет – мы что ему, твои битые окна предъявлять станем?

– Хочешь – задницу свою предъяви. Хочешь – справку припадочного...

– Сотню раз я о справке пожалел. Да пойми ты, наконец: я же тебя, дурака, от войны спасал. А ты мне тут войну день да через день устраиваешь. Ты хоть понимаешь, что ты натворил? Прогонит нас аптекарь – куда опять? А при детдоме – хоть три войны... Государство без хлеба сирот не оставит. И мы при них с тобой не пропадём. У Бориса Михайловича, если что, какими угодно справками можно разжиться. Ведь ты же, по сути, дезертир.

– Ладно. Не скули, щас пойду застеклю.

– Чем? Со Степаном Немковым ещё надо уметь договорится. А договор этот денег стоит. Клавдия-председательша сегодня на улице успела меня постращать, что сама возьмётся за наше лечение. Тоже... Пойди купи эти справки... Ты хоть бы разок при людях упал, слюней бы, что ли, напустил, подёргался бы, как я тебя учил. Бабы русские – народ жалостливый... Васёна тоже... Она, по-моему, всё пристальней в тебя вглядывается...

– Как бы я сам в неё не взгляделся...

Фёдор потянулся под тулупом, а Осип присел у стола и там закатил под лоб глаза:

– Господи! Свинье про рай, а свинья – дерьма дай!

– Сам ты... Индюк сопливый! – Фёдор поднялся, повесил тулуп у порога на вколоченный гвоздь, подушку бросил на кровать, спросил отца: – Помнишь дома, на Шепелихе? Запрошлой осенью... Петьку Оверкина... Помнишь?

– Это которого за камнем убитым нашли? Ну? И что?

– Вот тебе и ну – загну... – ощерился Фёдор. – Так что смотри у меня, поосторожней со свиньёй!

У Осипа зачесалась спина.

Не зря ж говорят, что чесоточные отстают по разуму от нормальных людей. В этот момент то же самое случилось и с Осипом, хотя почесаться он не посмел, а только поглядел на сына, не имея силы сообразить, что ему делать дальше? Во рту пересохло, однако отвалившаяся губа наполнилась слюной.

– Подхлебни, – с отвращением сказал Фёдор, – валенки промочишь.

Осип подхлебнул, но слюна попала ему не в то горло. Он закашлялся и просипел:

– Врёшь! Сознайся, что соврал.

Фёдор хохотнул и ответил:

– Соврал... что полвоза украл. Нет! Целый воз увёз...

– Всегда ты так, – решил Осип не поверить сыну, – как о деле, так шуточки тебя одолевают, а как за стол садиться...

– Жратвой меня ещё попрекни! – озлился Фёдор и подошёл к отцу вплотную. – Хватит, батя! Не то я и впрямь подумаю, что ты меня кормишь. Сам-то чьё добро прожираешь? Ты же и мать, и аптеку её подчистую подвёл... Сидеть бы ей сейчас в каталажке за торговлю наркотиками, если бы не война...

Он стянул с головы отца шафрановый берет и нахлобучил ему на глаза. Осип стряхнул берет на колени, пятернёй отёр лицо и насмелился спросить Фёдора:

– Не понял?..

– Сейчас поймёшь, – заверил Фёдор. – Ты надеешься, что мать от меня утаила, откуда у нас был и остаётся такой живой достаток? Врал

ты мне всё время... со своим наследством. Твой задрипанный дед ничего про тебя и не думал припасать. А вот ты... Ты же из-за своей жадности мою мать чуть смерти не довёл...

– Сама она себя довела.

– Тогда выходит, что она сама себя и под немцами бросила? – спросил Фёдор.

Подойдя, он вдавил своей лапой отцову головёнку ему в плечи и с силой отсунул прочь от себя. Осип повалился с табурета, хлопнулся задом об пол, затылком ударился о ребро подоконной лавки и затих. Берет его оказался у хозяина на коленях и сразу одарил Осипа видом нищего.

Через минуту Осип произнёс:

– Спасибочки, сынок!

– Кушайте на здоровьица...

– Конечешно, – протянул сидящий. – Я – злодей! А ты? Чего ж ты-то не захотел оставаться с матерью?

– Какой ушлый! – подивился Фёдор. – Ты бы тут жирел на наших деньгах, а мне бы из-под неё горшки таскать?

На что Осип заверещал:

– Да забирай ты всё! Только оставь меня в покое. Я себе заработаю...

– Ну да, – усмехнулся Фёдор. – Я же в пару месяцев всё просажу. А ты – моя сберкасса! Разве не сам ты меня потребителем сотворил?

– Мать!

– А ты где был? Уж не челюскинцем ли на льдине геройствовал? Не-ет? И то... Куда тебе! Ты в это время изображал отцову любовь. Подыгрывал матери, чтобы удобнее было её обирать. А ведь я, ещё на горшке сидя, уже понимал себя человеком. Че-ло-ве-ком! – с расстановкой и даже болью произнёс Фёдор. – А ты, заодно с добычей, жрал моё детство, а с ним и достоинство моё. Тебе не приходило в голову, что когда-нибудь я тебя самого за это сожру? Помнишь, в пятнадцать лет я чуть не изнасиловал Ольгу Васянину? А по твоим справкам оказалось, что это она меня соблазнила. За Борьку Жидина меня судить надо было, а я у тебя припадочным оказался... Ты же, батяня, поганей любой проститутки. Та хоть собою торгует, а ты меня всю жизнь, выкупая, продавал. А теперь я тебе и купец, и продавец. Вот и вылупайся перед своим аптекарем как знаешь...

Глава 13

Утром Нюшка, в долгой ночной рубаше, надетой на неё перед сном хозяйкою Катериной, приотворила на кухню дверь. У печи топталась чужая старуха. Девочка оробела.

– Чего дверь раззявила? – послышался за её спиной тёткин окрик.

Оказавшись в кухне, Нюшка уставилась на бабуку, прикидывала, куда ей кинуться, если и этой захочется на неё заорать. Но старая спросила, будто не поверила своим глазам:

– Проснулась, муха? Вот и ладно! Давай-ка умывайся. Сщась баушка Дарья тебя покормит да побежит. А то чевой-та наш с тобою дед Мицай всю ноченьку крутился. Не захворал бы навовсе.

Уходя, старая наказала Нюшке:

– Твоя барыня поднимется – просись к нам с дедом гостевать. Как выйдешь за ворота, ступай в туё сторону, – показала она рукой направление, – в самый край деревни. По эту же сторону улицы, второй дом с конца, и есть наша с дедом Мицаем избёнка. Заходи не бойсь: собаку я до будки привязала – от прежней Найды стоит конура пустою. Всё поняла?

Девочка кивнула и скоро осталась одна. Кухонный скарб с утварью оказались скромными; интерес к ним заглох в Нюшке в две минуты, после чего она влезла коленями на лавку и стала смотреть в окно.

По улице туда-сюда прошла всего одна тётка, за нею как привязанная семеняла косматая шавка. Потом на той стороне дороги от незастеклённого окна старой кирпичной постройки отошёл остроносый дядёк и только не вприскокку двинулся в тот край деревни, куда показывала бабушка Дарья.

На этом уличные перемены закончились. Всё остальное было снежным, таким же, как зимним временем и в Татарске...

Безлюдье быстро надоело. Нюшка села на лавке и только теперь увидела висящее над рукомойником расколотое зеркало. Верхней своей половинкой оно показывало Нюшке изрисованное морозным узором окно, а нижней отражало глубину кухни. Этот провал насторожил девочку. Ей показалось, что по ту сторону осколка находится другая кухня – где её родная бабушка Лиза с незнакомою тёткой всё ещё продолжают мыть мёртвую Тамарку Будину.

Со страхом девочка стала ждать, что вот-вот из того провала потянет ледяным паром, заполонит им здешнюю кухню; из пара непременно проявится колдун, который зачем-то обратит её в Гитлера... Бабушка Дарья придёт спросить, почему она не пришла в гости, увидит Адольфа, станет его ухватом по избе гонять. Гитлер захлопает ушами своих галифе, обернётся вороною и полетит за деревню. Там он волком упадёт на дорогу и взорвётся!

Нюшка от радости захлопала в ладоши, но спохватилась, покосилась на комнатную дверь и прошептала: «Барыня». И опять взялась выдумывать...

Много чего нагородила бы её фантазия, как вдруг да не колыхнулся бы отбитый уголок зеркала. Внутри девочки сразу сделалось пусто. Нет, душа никуда не улетела, она сжалась в бисеринку, и этой капелькой пронзило сердце. Нюшка вскрикнула и, оказавшись на полу, метнулась в комнату. На пороге она уткнулась в подол тёткиного халата и закричала:

– Мамочка!

– Какая я тебе, к чёрту, мамочка?! – оторвала Мария племянницу от себя. – Орёшь тут! Режут тебя, што ли? Услышит деревня, што подумает?

Она прошла к умывальнику, заглянула в зеркало, сказала своему отражению:

– Нашла мамочку... Не вздумай на людях меня так называть!

Девочка слушала, осознавая себя дурёхою. Оказывается, ничего нельзя придумывать, потому что мир – это готовый блин, который уже никому не перестряпать... Так говорила когда-то бабушка Лиза. Живешь налаженной Богом жизнью – и живи...

Пришибленная грубостью девочка вернулась на лавку. Подтянутые к подбородку колени прикрыла подолом рубахи и просидела такой, пока тётка умывалась, завтракала, наряжалась. Даже отпроситься у тётки к старикам Мицям ей не захотелось.

Но Мария, выходя из дому, сама ей повелела:

– Ступай к своей бабке. Да не вздумай там жаловаться! Тогда вообще никогда никуда больше не пойдёшь... Поняла?!

– Поняла, – отозвалась Нюшка и тихо добавила: – Барыня...

Если бы Мария слышала, как племянница прошептала это слово! Тогда, возможно, она сама бы поняла, что девочка никогда не станет

жить приказной жизнью. Ни-ког-да!

Ещё вчера, на волчьей дороге, со свойственной лишь детям прозорливостью, разглядела племянница в тётке ту жажду жизни, которая к лицу только стервятникам... Откуда на девочку слетело это страшное слово – неясно, однако уже в саях оно прозвучало для Нюшки как «мертвечина».

Со своим трёхлошадным хозяйством Семешка-глупырь управлялся лучше иного умника. Его забота о животных внушала селянам большое уважение. Но нередко этот взрослый человек и смеялся без причины, и плакал без нужды. А ещё умел Семешка петь. Откуда-то из далёкого далёка накатывало на него просветление: он начинал озираться, как бы искать приметы былого. Не находил. Устраивался там, где его прихватывала забытая память, брался за голову и, покачиваясь, заводил:

Меж высоких хлебов затеялося
Небогатое насе село...

Люди останавливались: мужики почему-то снимали шапки, бабы утирали глаза, ребятня взрослела...

Никто в деревне не знал, откуда взялся этот глупырь. Но Казаниха привыкла гордиться перед другими деревнями, что её дурак самый умный, самый обихоженный и самый сытый.

С приходом в деревню Сергея Никитича Семешка не только прижился в школе, но и заделался добровольным сторожем...

На этот раз, в полдень, Семешка ехал на ропусках^[6] за водой. Колодец на конюшенном дворе был, только проточную воду Омки лошадки любили больше стоялой...

Перед спуском на реку разглядел Семешка с яра на пойменной стороне реки, на чистом снеговом покрове, далёкую тёмную точку. Она могла бы показаться глупышу обдутой ветром коряжиной, когда бы медленно не скользила с косогора в сторону деревни. На реке у проруби Семешка построжился на лошадь, влез на бочку – присмотреться к заречью. Ничего не понял, соскользнул на лёд и отправился на другой берег. Лошадка захотела того же, но санною

боковиной зацепилась за шихан, поднятый осенним ледоставом, раза два дёрнула сани и смирилась.

А хозяин её уже цеплялся по ту сторону реки за тонкие хлысты лозняка, чтобы выбраться на берег, который упрятался под снеговым наносом.

Весь осыпанный опоклой, выбрался Семешка из ряма на земной предел, оставил за спиной лозняк и единым разом разинул что глаза, что рот.

– Ба-а! – воскликнул. – Цья-то баба... Дуроцка такая! Бревно за верёвку тянет.

По рыхлому снегу он сделал несколько шагов навстречу идущей, остановился, поделился сам с собою новым открытием:

– Целовека волокёт!

Ещё продвинулся вперёд, угадал, позвал:

– Катели-ина! Нилына!

Занятая страшно простым делом, Катерина по-бурлацки – в наклон – тянула верёвку, пропущенную поперёк груди да по плечам. Второй конец был захлестнут за подмышки Васёны.

Семешка не сразу понял, над кем это кожилится Катерина, только сообразил, что она его не услышала, и поднял голос:

– Ты цо, Нилына, Павла Ваньца с войны волокёс?

Застрекочи в это время над головой суетливая сорока, крутани по насту задиристая позёмка, ничего бы не приняла в себя Афанасьиха. Но этот вопрос влетел в неё пулей, окатил сердце кровью, заставил заслониться от страха рукою и только после того понять, что спрошено Семешкою. Катерина рывком обернулась, но увидела на снегу Васёну; глянула на глупыря: где же, дескать, Павел? Да опомнилась. Опустилась в снег, словно оборвалась, и сразу увидела себя девчушкою, затаившейся среди пшеничного поля, которое пело голосами кузнечиков. В стрёкотном пении, однако, не потонул и уже никогда не потонет мальчишечий зов Павлушки Афанасьева:

– Катька-а, хватит прятаться. Пошли домой...

Погляди сейчас Катерина в сторону деревни, ни за что бы ей не понять, почему это с крутояра на реку валом валит народ. Зачем он лезет одолеть такой гребнистый настил нынешнего ледостава?..

Когда же сельчане подняли и понесли Васёну, Катерина зашагала позади всех. На яру же она обогнала ход и повела людей к своему

дому.

Калитку отворили разом: с улицы Катерина, со двора Мария, под хвойной густотой ресниц которой сгустилась чуланная тьма. Но и в Катерининых глазах не засветилась ясная горница. Однако другой было плевать, у кого и в каком свете она отражается. Она и здесь увидела только свою красоту.

Какой хитростью давалась Марии эта зримость, можно объяснить только талантом. Хотя сам талант необъясним.

На этот раз не поглянулась Марии бледность своего лица.

«Паразиты колхозные! – подумалось ей. – Выспаться путём не дали».

Хотя она не знала точно, кто же ей не дал выспаться: старухин ли с Нюшкой в кухне разговор, волки ли, которые всю ночь гнались за санями, где кривая кобылка Соня бежала в оглоблях задом наперёд, бабы ли, что, «с утра не сравши», криками подняли всю деревню...

Весь страх, всё недовольство повторились на её лице, что и отразилось в глазах Катерины.

Мария отступила от калитки, пропустила мимо себя несущих на руках непонятную для неё ношу, под чёрным платком которой таилось белое лицо. Прошли мимо и остальные селянки. И только потом она оказалась за распахнутой калиткой. Там она придержалась – послушать разговор баб, что столпились во дворе.

Вынужденные молчать всею печальной дорогой, теперь они вольны были подыскать причину небывалому в деревне случаю.

– Ой, бабыньки! – ударились только что не в причет сухая, как летошняя полынь, сороковка. – Я ж с самого ранья кумекала: какого рожна Васёна за рекой потеряла?

– А меня холера на ферму сносила посмотреть, – вступила в разговор глазастая молодайка. – Думала, что в березняк Васёна подалась: может, каку сутёлку унесло в колок телиться?

Курносая ж безбровка вздохнула, заругалась на себя:

– Чёртова золотуха! Я ж задницу развесила – нашла время куфайку чинить! А ведь мелькнула думка, опосля Васёнина прощанья-то...

Чему глазастая подвела итог:

– Всем нам далеко до Катерины Ниловны...

Сказала и пошла со двора. Однако на выходе остановилась, уставилась Марии прямо в лицо, но обратилась ко всем остальным:

– Ну и утро нынче выдалось! Видно, лихая душа в Казанихе нашей объявилась...

Одна за другой женщины стали покидать двор. Мария же, словно правя над ними караул, стояла не двигаясь. Она боялась – не задержится ли перед нею какая очередная женщина, не прикажет ли её напрямиком: «Докладывай-ка, милая! Что же всё-таки вечер случилось на дороге?!»

Но больше никто перед нею не остановился...

Злополучным волчьим вечером, уже в доме Афанасьевых, за ужином Мария сидела-досадовала, что на неё почти не обращают внимания. Она коротко впивалась интересом то в лицо мужа, то в лицо хозяйки, пока не наткнулась на глаза племянницы. И тут она поняла, что ни селян, ни Мицая не стоит ей так-то уж сильно опасаться, если будет молчать Нюшка. Потому она не замедлила подняться из-за стола и увести племянницу в комнату – время, дескать, ребёнку укладываться спать.

И сама она в кухню больше не вернулась.

Что ж её так обескуражило? А то, что, встретившись глазами с девочкой, Мария вспомнила давно виденную ею репродукцию картины «Сикстинская Мадонна». Тогда она порадовалась, найдя себя красивее изображённой. Относительно же Младенца подумала: надо же как вылутился!

За ужином в глазах Нюшки Мария открыла внимание, подобное взгляду того Младенца, и поняла, что эта «козявка» подохнет, а душой не покривит. Не без причины, видимо, бабушка Лиза иной раз повторяла, удивляясь внучке:

– О, глянула – рублём подарила!

Оставшись в кухне вдвоём, Сергей с хозяйкою продолжали рассуждать о глубине нынешних снегов, о заботах скорого отёла, о фронтовых делах...

Мария уложила Нюшку на сундуке, сама же нераздетая улеглась на постель поверх одеяла.

Через приоткрытую дверь слушала она кухонную беседу, ожидая: пойдёт ли, не пойдёт разговор о делах детского дома...

Лежала она раскинутой по кровати, чтобы не оставалось свободного места для мужа. Надеялась – придёт, разденет, подвинет... Да так и уснула.

Проснулась в темноте, часа через два. Обнаружила, что никто её не потеснил, не раздел... Видно, ушло то время, когда Сергей возился с нею, как с малым ребёнком. Это ослабило её дух, равно тому, если бы вдруг в зеркале чужих глаз не разглядела бы она своего отражения.

– Интересно! – прошептала Мария, найдя в Катерине даже вполне подходящую для блюда женщину. – Оч-чень интересно! – постаралась она утвердить себя в своих мыслях и потому прислушаться. Но не получилось ничего понять.

Как назло, прямо под окном разбрежалась чья-то собачонка. Оттого избынная тишина сделалась для Марии ещё подозрительней. Она подождала, когда собака уgomонится, но тварь упорствовала. Тогда Мария решила, что под шумок куда проще подобраться к хозяйкиной кровати, которая таилась в кухне за ситцевым пологом.

Блудливой кошкой перешагнула она порог, нашёптывая:

– Сщас, бабка, будет тебе наука – не ложись подо внука!

Шевеля губами, Мария, под собачий визгливый брѣх, отвернула край ситцевого полога и услышала несонный вопрос хозяйки:

– Заблудилась? В запечье, под лежанкою, поганое ведѣрко поставлено...

Когда Мария вернулась в комнату, сообразила, что Сергей спит тут же, на диване. Да и спит ли? Уж больно тягостная тишина стоит в комнате... Потому она разделась шумно, кинулась в постель и выпалила со злостью:

– Ну и чѣрт с тобой!

Отвернулась к стене и разом уснула. И сразу же упала на неё с неба широкоротая тень волка. Мария дрогнула, услышала всё тот же собачий лай, опять уснула. И вновь кинулась на неё звериная злоба...

И так несколько раз кряду. Лишь за полночь удалось ей выскользнуть из этой дикой бессонницы.

Такое было вчера. А сегодня Мария стояла у ворот никому не нужная. Не понимая толком, что кругом происходит. Бабы расходиться

не спешили. Чуток отдаляясь от афанасьевского двора, кучковались на дороге, продолжая толковать...

Мария тоже вышла на дорогу. Направилась было в школу или ещё куда... Но оглянулась, увидела в кухонном окне оставленную дома Ньюшку.

«Следит! – подумала. – Ждёт, когда уйду. Бабы, конечно, приголубят. Это они умеют... Всё выведают...»

Тревожась, она повернула обратно.

«Мне что её теперь? – на ходу подсадовала она. – За собой на поводке водить?!»

Когда Мария вернулась в дом, Ньюшки в кухне уже не оказалось. Она заглянула под кровать, посмотрела на печи... В комнату заглянула не сразу. Сперва подслушала, что там говорят о каком-то письме с фронта, о заречье, о Васёниной попытке сотворить над собою беду...

Слишком мало пробыла Мария в деревне, чтобы хоть что-то из того разговора понять. Тем недовольная, она вспомнила, зачем вернулась, приоткрыла одну створку двери и опять забыла это самое «зачем».

На диване лежала уже ясная для Марии Васёна, тело которой растирала сама хозяйка. Прелесть здоровой наготы поразила Марию. Белая кожа под крепкими руками Катерины уже розовела. Без этого могло бы показаться, что на диван уложено мраморное изваяние великого мастера. А ещё в беспамятной красавице проявлялась жизнь рыжим огнём волос...

Марии с детства досталась радость играть своими чёрными, редкого блеска, да ещё и волнистыми волосами. А тут опалил её душу ливень живого пламени. Мария сравнила себя с лежащей, и её обдало жаром: кто краше?!

– Господи! Пусть помрёт! – невольно прошептала она и струсила: не слишком ли громко?

Но услышала её опять же только Ньюшка, которая, всё ещё облачённая в ночную рубашку, выглянула на её шёпот из-за другой половинки двухстворчатой двери.

– Иди сюда! – зашипела на неё Мария.

Девочка послушалась.

Вся Ньюшкина вчерашняя одежонка осталась в комнате. Мария не захотела туда пройти, потому из-под приоконной кухонной лавки вытянула привезённый из Татарска и не разобранный с вечера вещевого

узел. Отыскала в нём Ньюшкину сменную одежду, велела: надевай! А поскольку терпение было не Марииным уделом, она сама сдёрнула с племянницы рубашку и стала рывками втискивать её в платье. Тут за спиной у неё послышалось:

– Оставь девку!

У избяной двери стояла старуха. Мария отворила рот для ругани, но бабка с тихой угрозой повторила:

– Оставь! Вона толкушка-то, – кивнула она в сторону печного шестка. – Не выворачивайся перед ребёнком! Ты думаешь – судьба кинула девку тебе под ноги?! Неча малую приучать ко страху. Мне и без её боязни ведомо, что ты с моим стариком надеялась сотворить...

– А докажете сперва! – вскинула Мария брови.

– И доказывать не стану. У деда у маво твоим старанием синячище с ладонь! Нога, поди глянь, как покраснелась. Ежели худу быть, я тебя рядом с ним покладу. А пока живи человеком!..

Глава 14

После пересловья с Мицаевой бабкой Мария, полуслепая от злости, выскочила из дома, ровно кошка из только что растопленной печи. Соображая, в какую сторону бежать, она остановилась посреди дороги. Дальний край улицы с трудом переходила чёрная бабка. Она показалась Марии тою самой каргою, которая встретилась ей в Татарске у аптекарских ворот. Неясной тревогой повеяло от этой схожести.

Мария мысленно выхватила клюку из дряблой руки, взмахнула ею и крест-накрест зачеркнула каргу. Однако на её месте тут же образовался Сергей. Он, видимо, куда-то ходил и теперь на своих костылях возвращался в школу. Мария на минуту отупела от такого морока... И совсем уж некстати в её памяти завертелся калейдоскоп жизненных случайностей.

На фоне Сергеевой любви былые «подвиги её молодой жизни» взялись складываться, рассыпаться, меняться красками и узорами. И уж вовсе ни с того ни с сего Марию встревожила мысль: исчезни, потеряйся этот грунт, это поле её художеств, все узоры рассыплются битыми стекляшками... Вот, оказывается, для чего ей необходимо наличие надёжной Сергеевой любви...

Пока она пришла к такой ясности, Сергея на дороге уже не оказалось. И она решительно зашагала к нему, в школу...

Мария всегда была убеждена, что войны начинают мужчины-самцы, которые жаждут владеть исключительно прекрасными самками. Однако осознавала она и обратную сторону этих кобеляжьих затей – женскую жертвенность и риск оказаться неугодной. Потому её побудок – тешить настоящих мужчин – порой конфузился и уползал в глубину души. Но там он скоро уставал корчиться в тесноте и при очередном интересе вновь обретал самоуверенность.

Вот и сейчас, надеясь, что её может увидеть не только зряшная для неё деревня, она, прикрытая кружевным белым платком, царственно несла мимо окон свою очаровательную головку. Такую манеру выступать она усвоила ещё девчушкой, услышав однажды мужское мнение, что цариц узнают по походке. Столь высокую походку тело её

давно освоило и справлялось с нею непроизвольно. Мозги же её были заняты предстоящим разговором с мужем.

– Што это значит?! – нагнетала Мария шёпотом серьёзность интонации. – Я, кажется, зря приехала? Уж не нашёл ли тут... какую рыжую? Не успела я в деревне появиться, а она уже и в петлю полезла...

Внезапно возникшей мыслью обдало Марию, будто кипящим паром. Чтобы в нём не задохнуться, она расстегнула ворот полудошки. Оттянула край платка. Пальцами ощутила у горла нервную жилку, словно там, отсчитывая торопливые минуты жизни, трепетало время...

Входя в школьный двор, она увидела разгорячённых шалостью ребят, которые давились на выходе. Кучей-малою они вдруг вывалились на крыльцо, гомоня стали подхватываться на ноги, пускаться в разбег. Догоня друг дружку, давали подзатыльники, лупили по спинам сумками, выкрикивали:

– Бей фашистов!

Пропорхнула мимо Марии стайка школьниц – поздоровались и оставили ей свой разговор:

– Наши-то... дают фашистам по соплям!

Мария поняла: девочки судят о битвах сибиряков под Москвой... Она усмехнулась и подумала:

«Ишь, слыхали, о чём зайцы брехали, а надо бы поглядеть, что скажет медведь!»

С тем она и взошла на высокое крыльцо школы.

В кабинет мужа Мария вошла без церемоний. Её не смутило, что Сергей был не один. Сидящая против него завуч попросила Марию:

– Вы не могли бы немного подождать?

– За дверью, што ли?

– Желательно, – был ответ.

– А мяукать можно?

Вопрос оказался непонятным:

– Как?

– По-кошачьи, как ещё?! Я же для вас никто – вроде кошки?

Завуч в недоумении поглядела на Сергея Никитича.

– Извините, – произнёс тот и повторил просьбу. Но Мария и его не услышала. Она устроилась на стуле от сидящей наискосок и

установилась на неё, спрашивая глазами: «Ну, чего ждёшь? Не видишь – я пришла?»

Завуч поднялась, извинилась, и её шаги скоро затихли в коридоре.

– Вконец распустилась, – глядя в стол, покачал Сергей головою.

– А ты вконец позабыл, что я твоя жена!

– Прости, позабыл. И немудрено...

– О! О! О! – не поверила Мария. – Это когда ж ты врать-то научился? А ну, посмотри мне в глаза!

Сергей не поднял головы. Тогда она сама попыталась заглянуть ему в лицо. Сергей встал, опёрся на костыли и прошёл до окна.

Мария закинула ногу на ногу.

– Понятно, – сказала. – И кого же ты себе тут присмотрел?

Она намеревалась удостовериться в чём-то, но Сергей осёк её чужим голосом:

– Всё, голубушка! Всё! Окончен бал!

Мария наморщила нос, задышала, но опять услышала решительное:

– Не старайся, не получится. Ты не умеешь плакать.

– Ты умеешь! – крикнула Мария, и ей остро захотелось переломить мужу хребет. Она даже привстала.

– Сядь! – повелел чужой Сергеев голос. – Ты сюда пришла для того, чтобы поговорить? – уточнил он вопросом. – Тогда постарайся быть человеком.

– А я тебе... кто? Собака?

Сергей помолчал, вернулся от окна к столу, сделал вывод:

– Не получится у нас разговора. С собаками я, прости, говорить не умею...

– Ты не очень-то изображай из себя необходимого, – усмехнулась Мария. – Я ведь не к тебе приехала.

– Вот как! Любопытно...

– Чё встрепенулся-то? – опять усмехнулась она. – Поди-ка, думал, что у меня тут хахаль завёлся? Стану я собирать по деревням... – не нашлась она, каким ещё словом назвать ей возможного поклонника, и потому перескочила на основную тему: – Мне в детдоме место завхоза предложено.

– И ты согласилась?

– А почему бы и нет?

– Это кому же задумалось въехать на твоём хребте в рай? Неужели не понимаешь, что из тебя запросто можно сделать подставное лицо?!

– Ты у меня много понимаешь! Может, наоборот: я за их спиной...

– За чьей? – не дал ей Сергей договорить. – За спиной Осипа Семёновича? За Фёдоровой? Или за спинами сирот? Уж не Борис ли Михайлович надоумил тебя на такую должность согласиться?!

– Чего ты орёшь? – потрясла Мария выставленными перед собой растопыренными пальцами. – Вы, Быстриковы... все... Сам не гам и людям не дам... Вот уж действительно собаки на сене...

Откинувшись на спинку стула, она перевела дыхание и почти спокойно спросила:

– Я должна квартиру подыскивать или немного потерпишь, пока в детдоме комнату мне оборудуют?

– На твоём месте я лучше бы вообще уехал...

– Значит – скатертью дорога?

– Значит, скатертью...

– Ну что ж... – поднялась Мария из-за стола. – Плохой из тебя советчик. Придётся всё решать самой...

– Хозяин – барин... – сказал Сергей. – Жалко, что тебе никто, ничего решать не позволит... Я не ведаю, как у вас там с детдомом получится, но уверен в одном: с тобой ли, без тебя, а не будет в Казанихе ни твоим Осипам, ни Борисам, ни тебе самой никакого приятного аппетита...

Из кабинета мужа Мария не вынесла в себе уверенности. Зато лишний раз убедилась, что не ошиблась: Фёдор со своим отцом Осипом Семёновичем направлены аптекарем именно в эту деревню, именно работать в детдоме. В Татарке она такую возможность подозревала, но Борис Михайлович юлил, не называя имён. Говорил – на месте познакомишься. И теперь Мария как бы немного прозябла, вникнув в его хитрость: Борис боялся её несогласия. Решение её, оставаться или не оставаться в деревне, и до этого размытое, после разговора с мужем и вовсе потускнело. Мысли остыли и медленно толкались в голове надеясь, видать, хоть немного согреться...

Такой озадаченной она машинально пошла вдоль деревни. Солнце когда-то успело съехать с зимней своей пологой дорожки и теперь низко висело прямо над улицей. Оголодавшая скотина уже принялась требовать по стайкам-загонам вечернего корма. Но хозяйки пока ещё

не спешили отрываться от избяных дел; суетясь у пылающих печей, наверняка повторяли: «Не ори, успеешь...»

Светило, что в упор разглядывало Марию, внезапно обрело поперечный зрачок и стало похожим на кошачий глаз. Зрачок взялся нарастать, принимать форму человека. Вот уж захрустели по снегу крепкие сапожища, вот они остановились против Марии и голосом Фёдора воскликнули:

– Ё-моё! Явилась, с горы скатилась! Ну и краля же ты – мать твою за ногу!

В его развязном приветствии была хамская, зато натуральная искренность. Оттого Мария шагнула ему навстречу и уткнулась обиженным лицом в собачьего меха грудь. Сильными руками Фёдор охватил её, стиснул, приподнял, закружил. Она задохнулась в объятьях, застонала от восторга и нежно повелела:

– Задавишь! Отпусти!

– Щ-щас, – пообещал Фёдор, повлѣк её и вместе с нею ловко перешагнул через низкий вдоль дороги плетень. Оказавшись в чужом огороде, утопая по голень в снегу, оба снежной глубиной добрались до обдѣрганного стожка, и вместе повалились в пахучее сено...

И вдруг в голове Марии мелькнуло решение: хотя бы назло Сергею согласиться с местом завхоза...

В наступившем сумраке, отряхиваясь от сена, Фёдор спросил:

– Ко мне, что ли, тебя принесло?

Марии не понравился его тон, и она заявила:

– У меня тут муж!

Фёдор хохотнул и пожелал узнать:

– Семешка-дурак, что ли?

– Сам ты дурак, – обиделась Мария и со значением вскинула голову, заявила: – Сергей Никитич!

– Кто-о?! – не поверил Фёдор. – Музыкант?!

– Какой ещё музыкант? – не поняла она и уточнила: – Директор школы!

– Вот те раз! – Лицо Фёдора вытянулось. – Ты и он! Ни хрена себе! Вот это сюрприз...

Мария поняла его недоумение по-своему.

– Ну и што? – сказала она даже с некоторой обидой. – Подумаешь, хромой...

Но Фёдор вдруг ошетинился и произнёс сквозь зубы:

– Заткнись, с-сука! И вообще... Отвали от меня! Да за него деревня любого в клочки разорвёт.

Но Марию это особо не взволновало. Спокойным голосом она удивила даже Фёдора:

– При чём тут деревня? Сергей теперь сам по себе, а я сама по себе... И вообще... Не к нему приехала. Работать здесь буду.

– Это кем же? – снова удивился Фёдор. – Уж не председательшей ли?

– Чего ты осклабился-то? – обиделась Мария. – Завхозом! Вместе с вами... В детдоме работать будем.

На Фёдора словно ушат ледяной воды опрокинули.

– Ё-о-моё! – только не заорал он. – Вот это подарочек отцу! Пойдём, пойдём со мною. Щ-щас я папашу обрадую...

Осип подбрасывал в огонь печи берёзовые поленья. Сидя на корточках, он посмотрел на входящих снизу вверх, прижмурился: кого это на ночь глядя Фёдор приволок в чужую, по сути, избу? При свете играющего в топке огня его немного поношенным глазам не сразу удалось разглядеть Марию. Когда же проникся, вскочил, заволновался.

– Господи! Боже мой! – вознёс он молитву Всевышнему словами Бориса Михайловича.

Только его голосок взвился не мягким баритоном аптекаря-барина, а фальцетом угодника-лакея. И получился не восторг, а какой-то холопский вопрос, на который Фёдор отозвался с издёвкой:

– Твой, батя, твой. Вот и богиня твоя прибыла. Сам Бориска прислал тебе завхоза – люби и жалуй, на здоровье!

Он подтолкнул гостью к отцу, который подскочил – перехватить её за плечи – и улыбнулся так, что его узкое лицо сделалось поперёк шире.

Оказавшись росточком своим выше Марии, он почувствовал себя мужчиной и захлебнулся бы полнотой чувства, когда бы не выдохнул из груди восторженное:

– Ой, как же я рад! Как же я рад!

Он наклонился, припал губами к холодным Марииным пальчикам, да так и замер, ровно ему вступило в поясницу.

Фёдор, глядя на отца, тут же родил именно ту фразу, которая впоследствии стала классической:

– Ну, кино!

Приглашая Марию пройти в передний угол, Осип развёл рукой и опять приклонился к руке. Своим тылом, прикрытым чёрным шевиотом брюк, напомнил сыну старательного фотографа, отчего Фёдор прыснул и предупредил:

– Щ-щас! Птичка вылетит.

Осип не понял, о чём речь, обернулся, сказал:

– Две!

Фёдор весело хохотнул и спросил:

– У тебя чё там, инкубатор?

– Где?

Вёдра на скамье у входной двери задрезжали от хохота. Мария поняла шутку, однако хватило ума сдержаться. Однако она ослабла от внутреннего содрогания и опустилась на подоконную скамью. Там она перевела дыхание, превозмогла приступ смеха. Осип её дыхание понял по-своему, взялся утешать гостью:

– Не обращайтесь внимания. Что с него возьмёшь...

– Взять с меня нечего, – согласился Фёдор, – а дать могу... Так примочу, не скоро высохнет! – показал он отцу круглую репу здорового кулака.

Кулак этот почему-то напомнил Марии отходящее от озноба тело женщины, наверное, всё ещё лежащее на диване в доме Катерины. Заодно вспыхнул в сознании и рыжий огонь её раскинутых волос...

Осип между тем корил сына:

– Ни стыда ни совести... Хоть бы при чужом человеке...

– Это она-то чужая? – пугая Марию возможным откровением, опять расхохотался Фёдор, но открыл он удивительную для неё правду: – А не ты ли с её матерью две недели в татарском летнике чухался?

Мария поджала губы, показывая Фёдору, что ей не нужны такие открытия. Фёдор замолчал, но усмешка на его губах дала понять, что разговор этот дрожжевой, подогреть не надо – в любое время и в любом изложении может поплыть через край...

Тем временем Осип, не вдаваясь в их переглядки, поднял за колечко подпольное творило, унырнул от озвученной правды в тёмную глубину подполья и снизу спросил:

– Ты, оказывается, дочка Фетисы Григорьевны? Чудесная женщина – приняла нас, обогрела...

– И вы её обогрели, – отозвалась Мария. – Совести у вас не хватило хотя бы предупредить, что уезжаете.

– Грешен, – повинился из глубины Осип. – Буду в Татарске – забегу, повинюсь.

– Вы там не больно-то рассказывайте обо мне. Она уверена, что я к Сергею вернулась. А то она любит... додумывать...

Выкладывая на половицу кусок свиного сала, Осип вздохнул:

– Ах, дети, дети!

Фёдор подмигнул Марии:

– Нашёл детей – хоть за ночь семь раз потей... Достань там чего покрепче! – приказал он отцу.

– А если Васёна придёт? – вынырнул Осип головой наружу.

– Васёна, Васёна... – вспыхнул Фёдор. – Без твоей Васёны скоро и в сортир не сбегашь...

Из подполья на свет пылающей печной топки выставилась руками Осипа наполовину полная четверть самогона. Фёдор подхватил её, колыхнул содержимым и вознёс на середину стола.

Выбравшись наружу, Осип захлопнул творило, нарезал сала, хлеба, принёс из сеней штуку малосольной нельмы, капусты квашеной, поставил стопки...

– О какой Васёне вы говорите? – спросила Мария, вспомнив, что бабы во дворе Катерины произносили это имя.

На вопрос ответил Осип:

– В деревне одна Васёна – хозяйка наша.

– В чёрном платке? Рыжая которая?

– Кто её знает, рыжая, не рыжая? – пожал плечами Осип. – Я её без платка ни разу не видел. Может, и рыжая.

– Ну, конечно, рыжая! Она это! – поняла Мария. – Бабы полднем из лесу обмороженной её притащили... Туда, в дом, где мы с Сергеем остановились. Катериной хозяйку звать. Я уходила – она только что не мёртвой на диване лежала. Хозяйка её и оттирала...

– О! Тогда пьём! – радостно потёр ладонями Фёдор, приступая к разливу.

А Осип задумался:

– Чего это её в лес потянуло? Серьёзная вроде женщина...

– Чего потянуло, чего потянуло... – хохотнул Фёдор. – Кошке и той неймётся – об углы трётся... Да ещё мужик такой, как я, рядом... Ну! Примем, что ли... за её здоровье!

Фёдор поднял стопку и разом опорожнил. Мария последовала за ним. Не отстал и Осип, чтобы тут же не без удовольствия сказать:

– За то, что тесна земля-матушка! Ещё утром – ни сном ни духом... А вот поди ж ты – уже и завхоз мой рядышком со мною сидит...

– Не торопись её присваивать, – оборвал Фёдор отца. – Или ещё не докумекал, что она Музыкантова жена?

Однако Осипа это сообщение не смутило:

– Ну и Музыкантова... И что теперь? Не надо меня пугать. Да! Сергей Никитич – большой авторитет. Только и Борис Михайлович не лыком шит... Знал, кого сюда направить...

– Ты посмотри на него, как хорохорится, – глядя на Марию, качнул Фёдор головой в сторону отца. – Заметь: он у меня – как японец: угождая, побеждает... За своим страхом, как в засаде прячется. А сам оттуда подножки людям подставляет. Думает, что умнее всех. Теперь он твоего мужа так начнёт уважать, аж костыли кинется переставлять. Удобней будет присмотреться, как их выбить. Поэтому наверняка и сговорились с аптекарем тебя в завхозихи заманить. Надеются тебя облапошить, а заодно и Музыканта твоего опорочить... Вот уж тогда хозяйничай в детдоме как в собственном кармане.

– Что ты буровишь, остолоп? – затряс Осип перед сыном ладонями. – Чего ты несёшь, идиот убогий?

Чтобы придать себе значение, Марии захотелось солгать:

– Заткнитесь вы оба! Мне Борис Михайлович в Татарке открыл всю вашу Америку...

Она имела в виду торговлю наркотиками, но Осип не придал значения «американскому открытию», а зачастил своё.

– Да аптекарь ни в какой Татарке, ни за Татаркой не настаивал, чтобы я принял тебя завхозом, – взялся уверять Марию. – Только рекомендовал. Заодно говорил, что можно и племянницу Сергееву в

детдом пристроить... Я-то советовал лучше предложить тебе место воспитательницы, а не завхоза.

– О-хо-хо! – развеселился Фёдор. – Нашлась воспитательница... Да ей банщицей к мужикам – само то...

– Цыц! – взвизгнул Осип. – Мелешь чёрт-те что?!

– А ты сидишь, рассыпаешься мелким бесом... Боишься, что жирный кусок не тебе одному достанется... Наливай давай! – приказал Фёдор. – Лебезишь тут сидишь на сухую...

Осип повторно поднял перед Марией стопку, чтобы сказать:

– Будем!

Он произнёс это слово так, что в нём зазвучали и надежда, и гарантия, и даже интим... Оно как бы звало Марию вступить в лукавую игру. Но не во взаимную, а скорее в направленную. Против кого? Хотя поиграть своею женской властью Мария всегда была не прочь. Она умела досуха выкручивать мужские души. Не всегда, правда, с успехом, но от возмездия пока удавалось увилить. И теперь она прищурилась умом, чтобы проникнуть в Осипово нутро. Но тот поспешил отгородиться от её прониза поднятою стопкой и повторить сказанное уже явным вопросом:

– Будем?

Не дожидаясь ответа, Осип острым кадыком вкачал в себя питьё, вместе со стопкой опустил глаза и поспешил закусить. Мария перевела взгляд на Фёдора, обнаружила, что тот уже успел сотворить в себе самогонный хаос и всю блаженствовал в нём. Глядя на него, Мария подумала: «И такому идиоту природа выделила столько мужской силы и таланта...»

Ей пожелалось представить себе кавалера с телесными достоинствами Фёдора и изворотливостью Осипа. Но получилось нечто противное: скроенное из наглости первого и неприглядности второго.

С отвращением она вернула глаза к столу, увидела перед собой невыпитую стопку, молча опорожнила. Налила ещё. Вспомнила мягкую умелую обходительность аптекаря и его тайный призыв:

– За победу!

И сразу же Осип представился ей Кощеём, напуганным её восклицанием настолько, словно увидел в её руке не стопку, а

оголённую иглу своей смерти. Отчасти он был прав: Мария не собиралась скрывать своей уверенности.

«Уж не метит ли эта красавица на моё место?!» – пока что напрасно такое подумалось ему, потому как ей стоило больших усилий не спросить его (при Фёдоре) о торговле наркотиками. А ей уж так хотелось оказаться в столь доходной доле, но иметь отношения только с Осипом...

Когда ею была опорожнена очередная стопка, Осипа насторожил возможный Мариин перепой. Такое мнение сложилось у него в Татарске – после прочтения письма, присланного ею из Омска для матери. Явная Осипова опаска привела Марию в кураж. Она поняла его, потому сама налила себе ещё из четверти и лукаво уточнила:

– За женскую победу! Над всеми стоящими мужиками!

Сказанным она с маху гладанула по собутыльникам откровенной недооценкой. Даже Фёдор понял её надменность.

– Рано радуешься, – сказал, – шлында ты заморская! А не хочешь хренка с бугорка? Твоих «стоящих мужиков» под Москвой шпарят нынче твои же сибиряки, как паршивых кобелей...

– Нажрался, так заткнись! – разозлился Осип. – Сам-то... Если придут, не думал разве, кем перед ними служить?

– Был сам, да кинут псам!.. – рывкнул на отца Фёдор. – Не ты ли за меня решал? Я же тогда твоей башкою думал. И теперь твоей стану отвечать...

В налитую стопку он взялся нервно опускать палец и слизывать с него градусы. Осип тоскливо обратился к Марии:

– Не слушай ты его, недоумка.

На что Мария ответила:

– Давайте-ка выпьем за то, чтобы хотя не обзываться. А то «недоумок», «шлында»...

– Шлында и есть! – утвердил Фёдор. – Это ещё мягко сказано...

Мария на его упорство как бы удивилась:

– Надо же, какие мы правильные! И сколько ваша правильность стоит?

– Да уж по чужим столам не пасёмся...

– Так уж и не пасётесь? А кто на детдом губу раскатал? Да если бы не Борис Михайлович, что бы вы делали со своими...

Мария вовремя осеклась. Но Осип успел уловить в её оговорке значимый подвох и завопил на сына, явно готового спьяну ещё что-то сморозить:

– Сиди пей!

Фёдор потерял оборванную мысль и тупо спросил:

– А хто нальёт?

– У тебя ж налито...

Фёдор увидел перед собой налитое, наклонился, охватил стопку губами, запрокинул голову и разом проглотил содержимое. Через минуту он запел неплохим голосом:

Нас на свете два громилы,
Гоп тирь-бирь-пумбия,
Один я, другой Гаврила,
Гоп тирь-бирь-пумбия...

После второй «тирь-бирь-пумбии» он посмотрел на Марию так, что она поняла: лучше оставить эту компанию... Но ей необходимо было засидеться допоздна, чтобы серьёзно взволновать Сергея. И она решила окончательно напоить и сына, и отца. Потому одобрила действие Фёдора:

– А не всякий так сумеет – выпить одним махом!

Наполнив стопку, она угодливо подвинула её Осипу, улыбнулась, предложила:

– Попробуй-ка!

Осип понял её намерение, ответил:

– Достаточно. И без того набрались...

– Куда ему! – услышал Фёдор отцов отказ. – Он ведь прикладывается к рюмке только для того, чтобы меня напоить. Я же у него в кишках сижу...

– Вот ведь наказание господне. Сидит буровит чёрт-те што... Больной. Ничего не поделаешь... Вот ведь красавец, богатырь, а кому такой нужен?

На отцово сетование Фёдор брякнул:

– Да хотя бы Васёне. Ты думаешь почему в березняк её потянуло?

Осип побелел, спросил шёпотом:

– Врёшь! Признайся, што ты натворил?

В ответ Фёдор ухмыльнулся: дескать, твоё дело, думай, что хочешь...

Осип подхватился на ноги, но, заметив в лице Марии исключительный интерес, понял: каждое его слово может быть передано Борису Михайловичу. Потому сел и, махнув рукой, объяснил свой порыв очень просто:

– Всё равно не унять пустомелю...

Осип давно убедил себя в том, что иждивенчество сына дано ему природой, как слепая кишка, которую никто и никогда ему не удалит. Но до этого дня ему и в голову не приходила такая мысль: что будет, если Фёдор женится? Если ещё и на такой, как Васёна... Возможность оказаться примаком в семье сына так его напугала, что он поторопился найти в допустимой родне изъян.

– Нашёл невесту! – сказал он, скривив губы. – Она по годам только мне впору...

– Ха-ха! – Фёдор указал на отца, как тунгус на верблюда. – Жених – мать твою! Кукиш на рогатке...

Ему бы хотелось и дальше поиздеваться над отцом, но его язык от выпитого совсем размок, почти все звуки стали гласными. Марии это показалось забавным, она откровенно рассмеялась. Фёдор тут же ухватил её за волосы и потянул к полу.

– Ты што творишь?! – дёрнулась она, но не освободилась, а только сильнее перегнулась и крикнула Осипу: – Уйми своего ублюдка!

Тот подскочил – выручить гостью, но Фёдор другой рукой угодил отцу в челюсть, протащил Марию за волосы до порога, и, задев головой наличник двери, она оказалась вышвырнутой на мороз.

И Осип опомнился от случившегося только тогда, когда сам оказался рядом с Марией...

Глава 15

Мицай сидел на лежанке, держал ноги в отваре трав, когда слышался собачий брѣх. Дарья вышла на крыльцо – посмотреть, кого это на ночь глядя холера по деревне носит. Увидела во дворе у соседей расхристанную Марию, следом за которой вывернулся из тепла такой же встрѣпаный Осип. Сказала громко:

– Выдался же денѣк! То – Катерина, то – Васѣна... Эти ещё взялись...

Сокрушаясь, она вернулась в избу, долила в дедову лохань горячего отвара. Глубину её дыхания старый понял по-своему, потому спросил:

– Чего уж так... запалиться-то за меня? Я тебе чѣ, нароком, чѣ ли, захворал?

– Ты ещё вздумай! – одѣрнула его Дарья. – Кто тебя упрекает? Эвон я... Чѣ за плетнѣм-то за нашим творится. Мария-то, гляди, уже успела... снюхалась с этими, с приبلудами. А ты чѣ, разгорелся у меня? – приложила она ладонь ко лбу Мицай. – Ба-а! Да у тебя испарина дождом... Воробей! – окликнула она Ньюшку, которая уже придрѣмывала за столом. – Поди-ка сюда. Подливай деду отвару в ушат; рукой-то смотри, чтоб не ошпарить. А я вечерю налажу... Тебе тоже спать пора, да и деда надо чаем напоить да уложить потеплей...

Занятая столом, она вздыхала, повторяя:

– Тут Павел... Тут Васѣна... Соседи ишло... Теперь ты... И всё разом! Не много ли? В Казанихе у нас только лихой души не хватало. Натѣ вам – пожаловала...

– Ты мне брось! – застрожился Мицай. – Я – куда ни шло... А при чём здесь Павел да Васѣна? К ним-то каким боком Марию прилаживашь? Я тут полежал подумал: не было у неё умысла; на колдобине качнуло её в мою сторону... Уж какая она ни шлѣнда, а всё человек...

Дарья удивилась:

– Быстро прозрел...

– И тебе велю оглядеться!

– Да ты подумай мороженой своей башкой: она и доброта твоя должна быть настояшней...

– Ну вот! Пошла кошка по дрова... – хохотнул Мицай. – Кто ж того не знает, что утром светает? А всё велю – угомонись! Дело тут не в доброте. В Никитиче дело-то...

– Боком выйдет Никитичу твоя угода, – не могла угомониться старая. – Таких бы Манек да мать бы вовремя осекала, да отец бы одёргивал, да соседи бы устыжали – откуда бы тогда им взяться-то было? Эвон сколько на земле сволочи накопилось – цельная война! Ты бы сейчас на Катерину глянул: её горем, как берёзку бурей, оборвало. Облиститесь ли когда?..

– Такой дуб вывернуло... Немудрено и засохнуть рядом... – вздохнул Мицай, но тут же подбодрил свою хозяйку: – Надо надеяться... Мы же русские: поплачем, поплачем и дале поскочим...

– Што да, то да, – согласилась Дарья, – русского человека никакому горю без ухвата не переставить... больно он жизнью накопел! Хотя бы Катерину нашу возьми... В такой беде да не упустить Васёну...

– Кстати... Васёна, – пожелал уяснить Мицай. – Она-то пошто за реку подалась?

– Кистянику за Омкой собирать, – осерчала старая на дедов вопрос. – Грей давай лапы-то свои – может, тепло до мозгов дойдёт... Всё вам, мужикам, разжуй да в рот поклади...

Она потрогала рукою воду в лохани, приняла у Нюшки черпак, велела:

– А ну-ка, посвети сюда!

Девочка принесла со стола коптилку. Заодно с Дарьей увидела на мыску дедовой ступни вспухшую красноту.

– Чё заохала-то, чё ты заохала? – не дожидаясь причитаний, поспешил Мицай пресечь бабкины междометия. – Пройдёт...

– Ага... Пройдёт, если не отпадёт... Тут больницей пахнет...

– Какой ещё больницей?! – возмутился Мицай. – Нынче докторам и без меня дела хоть отбавляй...

– Ну, Михаил! – взмолилась Дарья, однако старый оборвал её:

– Восьмой десяток Михаил, и всё Господь милует. Проварим раз-другой в твоих травах, и успокоится...

Нюшка следила за канителью стариков и вспоминала своих родных деда с бабушкой. Она безотчётно сравнивала надёжность того и этого уюта. Ей хотелось вернуться туда, но и здесь она была готова остаться

насовсем: слушать воркотню бабушки Дарьи, ухаживать за дедом Мицаем, осознавать свою нужность. Но, к сожалению, она понимала временность чужого тепла, потому, вернув коптилку на стол, забралась на скамейку и затихла.

Мицай спросил:

– Ты чего там нахохлилась, воробей? Не спать ли надумала?

– Какой – спать? – ответила за неё старая. – А ужином кто тебя кормить будет? Меня ж ты не слушаешься: днём-то лизнул, что котёнок...

Нюшка представила деда котёнком, хихикнула, но испугалась своей вольности и опять затихла. Хозяйка тем временем, сливая из чугунок вар, приговаривала, словно молилась на вареную картошку:

– И чё б мы без тебя, без рассыпчатой, делали? Волку дай, и тот морду от тебя не отворотит...

– Ты, волчья кормилица, Неманьке-то чего давала, нет?

– Нет, – ответила старая, – твоё приказу никак не дождусь...

Мицай хохотнул:

– Ну! Опять помело в рожон повело... Долго ли тебе закружиться...

– С тобой закружишься... Ты мне со своею Неманькой полные уши заботы нажужжал.

– Не сумки твои уши, лямки не оборвутся. Ещё чего поставь! Да постели чего потеплей... в конуре-то пушай обвыкат животина.

– Учи, – сказала Дарья. – А то у меня голова-то порчена...

– Язык у тебя порченный. Гляди – шипами порос...

– Зато у тебя бритый, на черенок набитый. Как есть лопата...

Весь разговор старая вела озоруя, подмигивая Нюшке. Она явно зазывала её в дружбу. Потому и велела деду:

– Ты бы собачью кормёжку не мне, а Нюшке поручил бы. Пушай роднятся на новом месте.

– Это ладно! – одобрил Мицай, а старая похвалила его:

– Хотя язык у тебя лопата, зато душа богата...

После ужина Дарья собралась ещё разок «слетать» до Афанасьевых.

– А ты, воробей, – наказала Нюшке, – как только хлёбово степлеет, выстави Неманьке.

Ожидая собачьего времени, Нюшка поглядывала на дремотного деда и вспоминала сказанные за ужином слова бабки Дарьи:

– Вон как мятая картошка с лучком-то жареным деду поглянулась – уплетает, ажно за ушами трещит. Этак станешь его кормить, скоро оба козлятами у меня запрыгаете...

Однако сказанное Дарьей девочка поняла ещё и по-своему: если она так Мицаю необходима, он и вправду сильно болеет. Таким же слабым прошлой зимою казался ей в доме бабушки Лизы новорождённый бычок, который силился подняться на тонкие ножки, да никак не мог собрать их в кучу. Нюшка тогда подлезла под телёнка, подставила ему свою спину – помогла устоять. Бабушка, войдя в избу, только не запричитала:

– Душа ты моя добрая! С такою-то душой всю жизнь надсажаться тебе чужой немочью...

Но в тот раз Нюшка не ощутила к себе жалости, наоборот: она показалась себе сильной. Да и теперь она бодрилась. Углы чужой избы не казались ей уж такими тёмными; на лежанке похрапывал дедушка Мицай, в ограде ждала «хлёбова» собака Неманька.

Вспомнив про собаку, Нюшка накинула на плечи фуфайку, взяла собачью плошку. На дворе валил снег. Спустившись с крыльца, девочка поставила плошку возле конуры; псина ткнулась мокрым носом ей в ладонь.

– Хорошая, – прошептала Нюшка и погладила животину. – У-умная моя!

И тут она услышала в сараюшке соседнего двора разговор.

– Ты што? Не знал, какой он у тебя дурак? – сразу признала девочка тёткино раздражение. – Зачем поил идиота?!

– Попробуй не напои, – заканючил ответный голос. – Он бы и тебя не постеснялся, всё бы вдребезги разнёс...

Голос внезапно взорвался с таким треском, что даже собака вздрогнула:

– Будь она проклята, такая жизнь!

В наступившей тишине ответные слова Марии прозвучали с маленьким, хрупким, но всё же смехом:

– Ну вот! Только припадка не хватало...

– Знаю, знаю, что не вышел я ни рылом, ни тылом, – выползла из сараюшки внезапная страстная обида. – Не по купцу товар...

Ошибаетесь, Мария Филипповна. Уж поверьте мне: клад в горшке мудрей ума в башке...

Приглушённый скорбью голос взялся подкрадываться к тёткиному самолюбию:

– Такие, как вы, Мария Филипповна, богом отмеченные, несут свою красоту победителями... Но и победитель должен подавать поверженным от благ своих... Разве от вас убудет?

В этих словах для девочки прозвучало нечто такое, чего нельзя слушать. И чтобы голос умолк, она громко, как бабушка Дарья, спросила собаку:

– Чё не лопаешь?

Однако её не услышали. Голос тётки прозвучал куда как ясно:

– Ну хватит тискаться! Наверное, уснул твой дурак. Буду в Татарске, Борис Михайлович всё о нём узнает!

– Не надо спешить, Мария Филипповна. Сами уладим... – полилось убеждение. – Завтра заготовителю позвоню – потороплю со стеклом... А что Федька? Конечно, уснул. Иначе бы он и сюда припёрся. Подожди – я проверю.

Нюшка увидела, как из сараюшки выскочил уже знакомый Осип и юркнул в дом...

Насколько бы Мария ни была пьяной, а переночевать у Панасюков она не решилась. Понадеялась, что деревня уже спит, что никакая встреча ей не грозит, потому спокойно отправилась к «муженьку». Когда же увидела на дороге старуху, идущую ей навстречу, сразу отрезвела. Во всяком случае, так ей показалось. При луне, на фоне белого снега старуха опять представилась ей бабкой – из татарского аптечного переулка...

– Ведьма! – прошептала Мария и остановилась переждать – вдруг исчезнет.

Но видение приближалось, и скоро вживе предстала перед нею старая Дарья. Мария поняла, что где-то уже видела эту бабку, да спьяну не могла сообразить – где? Потому решила пройти мимо неё без внимания. Однако бабуля ужаснулась:

– Мать честная! Где же ты, красавица, так устряпалась?

– Пошла на... – выругалась Мария и, продолжая ругаться: – Привязалась указка – к заднице завязка, – направилась дальше.

– Погань ты несчастная! – качая головой, определила старая.

Сергей встретил жену у порога, тихо велел:

– Люди в комнате – не тревожь. Ложись тут, в кухне, на хозяйкину кровать.

Недовольная Мария произнесла:

– Люди, люди... Обо мне бы позаботился...

Дарья вошла с улицы к себе домой так, что от дверного хлопка Нюшка закрутилась на печке. Мицай на лежанке вскинулся тихо, узнать:

– Не то черти за тобою гнались?

– Сквозняк задувает, – ответила старая.

– Выкладывай давай, какой такой сквозняк у тебя в мозгах задувает, ажно двери трещат?

Дарье явно хотелось высказаться, но, скидывая полушубок, она обратилась к Нюшке:

– Чего не спишь-то? Всё деда караулишь? Да пушай волокут, а то он больной-то больной, а сколько картошки за ужином слопал...

Нюшка не ответила.

– Спит, – решила старая, а Мицай усмехнулся:

– Балаболка. Когда ты у меня только поумнешь?

– А куда мне торопиться? Мне и нонешнего ума хоть отбавляй...

Она присела рядом с Мицаем, сторожась, зашептала:

– Ой, Михаил, Михаил! Кого ты только в деревню нашу привёз?

– Ну дык я, ну... – не знал старик, что ответить старой, потому спросил: – Чё она опять натворила?

– Иду сщас от Катерины – её холера встречу несёт... Пьяней всякого Шугая. Каждому бы стало ясно, где эта кошка блудила...

– Да говори толком! – потребовал Мицай.

Дарья и себе обострила голос:

– Ты ещё мне тут поори! Таку выскулить срамоту и псу неможоту, а ему разом выкладай...

– А ты взялась сказывать, так неча язык завязывать...

– Я и сказываю для бестолковых: только что видела... идёт Марья улицей... Дыхни на меня посильнее, и я бы под забор свалилась, столь распьянёхонька! Ажно черти вокруг неё пляшут...

– Ясно-понятно. Рыбак рыбака... Да уж навязала нам Васёна соседней... Ишь ведь шлёнда... Уже успела к ним прилабуниться... – вздохнул Мицай. – Встать бы мне да прилабунить бы им всем...

Дарья на дедовы слова только вздохнула:

– Твоё, дед, нынче «встать» – разве что ворон пугать... Сам же ею и снабдил нашу Казаниху.

– Так ить поневоле... Марью-то мне аптекарь заодно с дитём навязал. Не мог же я эту поганку дорогой выбросить. Кабы зналось, за каким чёртом несёт её в деревню! Ишь ведь чё теперь прояснятся...

– Ну и чё там у тебя прояснилось?

– А то, что аптекарь, похоже, Марью подсовывает Осипу помощницей по детдому. Она же бестолковая, как помело: куда хошь, туды и метёшь... Воровать этим проходимцам за её спиною сподручней будет. Придись, все упущения на неё пописывают... И Сергея Никитича вровень с нею, чего доброго, поставят...

– Она! – сообразила наконец и Дарья. – Ещё петух не пропел, а рассвет уже поспел? Собирается, значит, шабала у сиротского у стола – Тюха да Матюха да Колупай с братом... Придётся ить какие-то меры, однако, принимать!

– Надо будет, деревню поднимем... Ежели мы тут позволим сирот обижать, тогда зачем на фронте добывать победу?..

Зимняя ночь позволила Марии задолго до рассвета немного отоспать вечерошний хмель. Но осадок всё же был тяжёл, как печной угар.

Потому, проснувшись, она собралась опять уснуть, да заинтересовал её разговор, который доносился из комнаты. Спросонья Мария не сразу, но узнала голос мужа.

– Как тут разберешь, – произнёс Сергей, – может, наоборот...

На его слова отозвалась женщина:

– Да разве это объяснишь? Пишу и пишу... как смотрю, как слышу, как дышу... – Голос был какой-то мягкий, жалобный. – Я об этом никогда не задумывалась...

– А напрасно, – не согласился Сергей. – У вас явный талант!

– Да таких талантов на Руси – хоть косой коси... Побольше бы времени да покоя...

– Насчёт покоя, – засомневался Сергей, – Лермонтов писал: «Под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой, а он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой». Это он о поэтах. В непокое своевластие гармонии...

«Во завернул! – подумала Мария. – Сел на любимого конька... Кому это он там мозги крутит?»

– Главное в стихах – искренность, в ней вечность, – продолжал рассуждать Сергей. – А надуманные строки больны тленом...

– Твою мать! – прошептала Мария. – Сам-то... В собственной жене разобраться не может...

– Потому людьми принимается только родниковое искусство! – не умолкал за комнатной дверью Сергеев голос. – Не надо скрывать талант, он принадлежит всем. Бояться надо гордыни...

– Какая гордыня?! Я и не думала о себе о такой... Сочиняю, когда голова от заботы устаёт...

– А вы разве не испытываете при этом счастья?

«О дурак! – невольно подумала Мария. – Ещё вчера её приволокли из леса еле живую, а он про счастье талдычит».

И тут до Марии дошло, с кем это Сергей беседует в комнате:

«С Васёною, конечно. Сама-то Катерина на ферму на свою уже, поди-ка, ушпарила. А эти сидят милуются. Вот бы сейчас Фёдора сюда...»

Однако Марию следом же осенило:

«Васёна-то... Она ж давиться-то кинулась в березняк, когда я в деревню приехала. Вот оно что! Вот почему Сергей на меня даже смотреть не желает... Оба-на! Фёдора-то и в самом деле надо “накеросинить”. Он им тут наведёт... мятежной бури...»

Мария поднялась и в приоткрытую комнатную дверь попыталась разглядеть спину мужа. Он сидел у дивана. Его силуэт обрисовывался на фоне простыни, под которой лежала Васёна. Однако Марии показалось, что она видит нагое тело.

Уже слепая от злости, она шагнула через порог, возникла перед Васёной и, хотя увидела простыню, заблажила во весь голос:

– Чё заткнулась, халда? Знаю, за каким хреном ты в петлю полезла: я приехала... тебе помешала... Федька тебя отшил, так ты на моего Сергея нацелилась! Устроила театр! Кто хотел, тот уже давно задавился... А ты тут чего сидишь – арапа заправляешь? –

развернулась она к растерянному Сергею. – Правильно мать хотела в районо на тебя писать. Не написала, дура! Успел в деревню на своих костылях ускакать...

Вдруг чья-то рука ухватила Марию со спины за волосы (не вырваться, не обернуться), силой довела до двери, толкнула через порог так, что она, задев плечом печную боковину, ухнула плашмя на лежанку.

– Тут твоё отныне место! – услышала она твёрдый голос Катерины. – В комнату – ни шагу!

Хмельная истома больше не терзала Марию. Почти угомонился в ней и скандал. Теперь на печной лежанке её держала осторожность, какой раньше она никогда не испытывала. И, только подумать, кто сумел защемить оглядкой её вольное нутро... Какая-то деревенская баба!

Мария села. Она попыталась взбодриться, вернуть самоволие, но середку обжигала какая-то ядовитая слизь непривычной осторожности.

– Вот сводня, – шептала она безголосо. – Нашла Сергею невесту... Я тебе найду! Сщас... Напугала... Да меня на всю деревню хватит... А с Васёной с твоею Федька сам разберётся...

Она ухмыльнулась больной ухмылкой так, что заломило висок.

– Чёрт! – выругалась неслышно. – Это дурак пьяный вечером об дверь шибанул. Синяка ещё не хватало. Утром и на улицу не высунешься. Васёна тогда успеет сто раз перед Федькой оправдаться. Чего доброго, ещё и на меня наведёт поклёп... Надо успеть до рассвета...

Она поднялась, осторожно прошла к вешалке, сняла свою шубейку, взяла боты, оделась уже в сенях и оказалась на улице.

Луны не было, но всё небо пузырилось звёздами. Мария спокойно добежала до знакомого двора. Пара окон, смотрящих на улицу, в этот час были прикрыты ставнями. Ставни светились узкими щелями. Понятно было, что в доме не спали.

Мария нашла щель пошире, пригляделась сквозь неё к заоконью, увидела Осипа. Он сидел у стола, держал на коленях заношенную свою стёганку. Ту самую хламину, которую видела Мария в Татарске, когда искала в летнике ключи от своего дома. Теперь Осип тонкими

пальцами ощупывал её. В руке его вдруг появились ножницы. Концом острия он поддел стежок на стёганке, растянул прореху, просунул в неё палец... На столе в свете лампы заиграла золотом добротная цепочка.

Мария бросилась в сени, саданула по избяной двери кулаком, на пороге оттолкнула Осипа в сторону, в избе указала ему на окно и произнесла:

– Скажи спасибо, что там оказалась я! Задёргивать надо, когда золото добываешь...

Осип омертвело опустился на табурет. Фёдор на кровати тем временем присвистывал сонным носом, будто наигрывал на сопелке отходную.

Минуту Мария наслаждалась ступором хозяина, потом спросила:

– Тебе удобно так сидеть?

Ответа она не услышала, но согласилась:

– Ну сиди, сиди... Только скажи, куда цепочку спрятал. Не скажешь – Федьку разбужу.

Осип не пошевелился.

Мария подошла к нему со спины, погладила по голове, потрепала уши, склонилась, и мигом обе её руки оказались в карманах Осипова пиджака.

– Вот она, милая!

Но разогнуться Марии не удалось. Ухваченная Осипом за шею, она оказалась притиснутая ухом к его губам, которые зашептали:

– Не говори Фёдору. Умоляю! Не говори...

Марии было слышно, как в нём трепещет не только сердце, но и кишки...

Не минуло и десяти минут, как они уже сидели за столом, где Мария, украшенная золотом, спрашивала Осипа:

– Чего уж так страдать-то? Прикован ты, што ли, к нему? Брось и уезжай...

– Пробовал... Да у него нюх на меня.

– А ты ему Васёну присватай. По-моему, он будет не прочь...

– Он-то не прочь... Возу-то хоть на гору круту, да вот кобыле не вмоготу...

– А ведь, похоже, и впрямь из-за него побежала Васёна давиться.

– Чёрт его знает... По этой части он и на самом деле не ведает края...

– Хотя навряд ли... Её скорее понесло из-за того, что я в деревню приехала. На Сергея моего, видать, рассчитывала... А может, и то и другое...

При этом Мария цокнула языком – дескать, так-то! Дескать, вот тебе и овечка с рогами...

Мария заметила, что косматая голова спящего ворохнулась на подушке. Оттого она продолжила напористой:

– Все тут наладились без меня любви с моим мужем крутить...

При её словах Осип покосился на сына, давая гостье понять, что тот уже не спит.

– Ну и пусть послушает! – решительно сказала Мария и ударилась в подробности: – Вечером от вас прихожу домой, Сергей меня сразу в кухню уторкал спать. Ночью просыпаюсь, а они шушукуются в комнате. Он её...

– Чего-о? – поднял Фёдор голову.

– Того! Успокаивает.

Фёдор опять опустился на подушку, но Мария воскликнула:

– А какое у неё белое тело!

Фёдор взвился на постели, у двери выкрикнул:

– Разорву!

Осип кинулся встать перед ним, но его цепляния только распалили сына. Он отшвырнул отца с дороги и пропал за порогом...

Мария, со словами: «Это хорошо, это очень хорошо...» – остановила Осипа у выхода и решительно пообещала:

– Отправляй меня поскорее в Татарку. Надо обо всём рассказать Борису Михайловичу. Поверь, он сейчас столько натворит, что не надо будет ждать... Приедут – сразу заберут... В дурдом только попади... А мне сейчас лучше вернуться. Пока в доме шум да канитель – я уже на лежанке, уже сплю... Пусть потом докажут: где я была да что делала... А ты гляди у меня! Я ведь и про чемодан твой давно-давно знаю...

Готовый крушить плотины, Фёдор ломанулся в афанасьевский дом, хотя все двери оказались открытыми. Они распахнулись так, словно сказали: чего бесишься, проходи толком.

Но Фёдора и в таком случае хватило бы на то, чтобы сорвать с Васёны простыню. Он успел склониться, да только его вдоль хребта вдруг прошила острая боль. Он развернулся, увидел над собой костыль, который был вознесён человеком, в гневе не похожим на Сергея Никитича. И всё же Фёдор его узнал.

– Музыкант?! – спросил Фёдор таким голосом, словно бы тот восстал из могилы. – Музыкант, – повторил он, как будто уверил себя, что перед ним не привидение.

Второй удар не успел достигнуть цели: Фёдор расстелился перед Сергеем по полу, высунул язык, задёргался, выгнулся, захрипел...

– Да шток тебя! – слышалось со стороны кухни.

На пороге стояла Мария. Она успела раздеться, успела принять заспанный вид, вроде только что оторвалась ото сна. Полным презренья вялым голосом стала подсказывать Фёдору:

– Слюни не забудь выпустить да в штаны намочи... Тоже мне... Припадочный называется... Пора научиться...

Но слюней Фёдор не выпустил и домой вернулся в сухих штанах.

Только под утро Мицай забылся в горячем сне. Сама Дарья устала всю ночь метаться туда-обратно, хотя печь была не больно высокой. Потому и прикорнула перед рассветом на подоконной лавке. Потому и не услышала она собачьего взлаиванья во дворе.

Услышала Нюшка. В бабкиных валенках, в фуфайке она вышла в сени, приотворила дверь во двор – посмотреть, что там потревожило псину.

Валил крупный, густой снег. Но девочка увидела, как соседский мужичок, которого Мария называла Осипом, перекинув какую-то хламину сюда, через низкий Мицаев плетешок, задрал ногу – перелезть на эту же сторону. Не подумал он, что собака может быть отвязанной...

Перепуганный лаем, он зацепился ногой за лозину и завалился к себе во двор. Там гребанул пятернёю снег, скомкал, бросил в собаку, чем подстрекнул её перескочить через плетень... В целых, слава богу, штанах, Осип успел укрыться за дверью своих сеней. Псина недолго покидалась на дверь и, подрагивая от возбуждения, перепрыгнула обратно.

В своём дворе она ухватила оставленную Осипом стёганку, подтащила её и положила перед Нюшкой.

– Ну, зачем приволокла?! – спросила девочка. – Кто-то выбрасывает, а ты подбираешь...

Она подхватила хламину, осмотрела, подумала и решила:

– Ещё крепкая. А давай-ка, – сказала собаке, – мы её в конуру к тебе постелим. Тепло будет и мягко...

И недолго думая Нюшка позаботилась о собачьем уюте...

Глава 16

Тем временем, когда перед самой зарёю Фёдор плёлся от дома Афанасьевых в свой край деревни, Марии на лежанке уже снился странный сон: опускается она в Васёнино подполье, но вдруг оказывается под сводами какого-то высокого зеркального зала. Зеркала настолько чисты, будто их вовсе и нет. Однако в каждом образовано её отражение.

И вот подходит она к первому зеркалу, видит себя нынешней, трогает стекло пальцем, и отражение начинает уменьшаться. С той стороны на неё уже пялится пигалица лет пяти, которая морщит нос и показывает язык.

– Ах ты, кикимора! – пытается Мария щёлкнуть отражение по носу. Зеркало волнуется, как вода, и покрывается мутью.

Мария останавливается у другого полотна, видит себя школьницей, вспоминает почему-то аптекаря, говорит: «Скотина!» – и отходит к третьему отражению.

Здесь она оказывается невестой, красоты несказанной. Даже самой себе не верит. Подходит вплотную, да зазеркалье отворачивается от неё и удаляется в небыль. А взамен грезится чья-то неприглядная зрелость.

В очередном зеркале, на месте ожидаемой мадонны, мотает головой одноглазая кобылка Соня.

– Чтоб ты сдохла! – говорит Мария, и в следующей раме перед нею предстаёт неряшливая особа с тупым взглядом и вилок капусты под мышкой. Вилки медленно преобразуются. Вместо него проявляется женское запитое лицо, которое предлагает:

– Выходи за меня...

Дальше видит Мария татарскую старуху. Высунувшись из зеркала по самые ключицы, она спрашивает:

– Чё? Не узнаёшься?

Мария бьёт старуху по темечку – зеркало трескается, осыпается. Следом осыпаются и все остальные зеркала. Из пустых проёмов лезут несметные рожи всяких аптекарей, Осипов, майоров, ещё каких-то придурков...

Осипу тем временем было не до сна.

Воротившийся Фёдор, ни слова не говоря отцу, нахлестался до рвоты и замертво, по обычаю своему, свалился в дохе прямо на пол.

Осип же взялся метаться по избе. Хлопая себя основанием ладоней по вискам, потирая лицо, лепетал со стоном:

– Как я, дурак, сразу не сообразил: это же Мария! Разве эта прекрасная стерва не могла не догадаться, что у меня не одна цепочка зашита? Она же поняла, что после неё не стану я прятать жилет в доме. Она и Фёдора распалила, чтобы ушёл... Сама за углом пряталась... Конечно! И собаку она же сумела отвязать... Мицай не мог – болеет, не встаёт; бабка, будь она дома, выскочила бы на собачий лай... Кому бы ещё-то ветошь мою среди ночи подбирать? Конечно, Мария, – решил он.

И тут, как нарочно, хлопнула сенная дверь.

«Она!» – обомлел Осип.

Он состряпал на лице приветливую улыбку, шагнул навстречу. Но в избу вошла Васёна. Резким жестом она отстранила Осипа с дороги, перешагнула, через Фёдора, открыла сундук, достала и завязала в узелок какие-то пожитки и, ни слова не говоря, исчезла за дверью...

Осип ничего не понял, но скулёж прекратил. Сел и долго сидел молчал, да вдруг зарыдал по-настоящему, повторяя шёпотом:

– Будь ты проклята! Будь ты проклята! Будь ты проклята!..

Проклятье, будь оно трижды искренним, – не раскаянье. Впрочем, Осип не осознавал путём, кого он прокликает: Марию ли, судьбу ли, уверенность ли свою жизненную, которая исчезла вместе со стёганым жилетом и открытием чемоданной тайны?

Когда непогода в нём немного затихла, Осип стал размышлять. При этом он почему-то уставился на крепкую задницу сына:

– Так... Этот бугай здесь, Васёну к чёрту куда-то унесло, Катерина Афанасьева наверняка ускакала на свою ферму, Сергей Никитич в это время всегда в школе, у соседей темно – значит, старики спят. Получается, что Мария дома одна.

Осип посмотрел на часы – скоро шесть. Доярки тоже усвистали на ферму. Остальные бабы вот-вот закончат домовничать... Надо поторопиться-сбегать – поговорить с Марией; сейчас на улице вряд ли кто его перевстретит...

Спросонья Мария не сразу сообразила, кто её теребит. А когда поняла, отмахнула от себя Осиповы руки, полушёпотом спросила:

– Ты сдурел, что ли? Чего припёрся?

Из Осипова тоже приглушённого бормотания Мария уловила одно только слово:

– Отдай!

– Чего отдай-то? – не могла она понять его требования.

– Жилет отдай, – плаксиво пояснил Осип.

– Ей-богу, рехнулся! Какой тебе ещё жилет? – шёпотом возмутилась она.

– Отдай! – Осип ухватил Марию за плечи, взялся трясти.

Она толкнула его в грудь. Он перехватил её руки в запястьях. Тогда Мария ступнёю ноги ударила его в живот. Осип отшатнулся, но тут же повис над нею со скрюченными пальцами. Но Мария успела ухватить на шестке полено.

– Только сунься! – пригрозила.

На полено Осип не полез. Он пошёл кружить по кухне, пока не наткнулся на выход. За время его метания Мария поняла Осипову утрату. Она сообразила: так легко досталась ей добротная цепочка потому, что хлами́на та заношенная наверняка была напичкана чистым золотом! Сообразила и крикнуть ему вдогонку:

– Слюнтяй! Это Фёдор для Васёны спёр...

Крикнула и напугалась, что криком своим разбудила Васёну. Она подбежала и настежь распахнула комнатную дверь. Но диван был пуст. В доме вообще никого не оказалось.

Избалованная лёгкими радостями Мария совсем не умела страдать, потому повалилась головой на диван, как Фетиса на прилавок

привокзального базарчика, и стала издавать звуки, явно перенятые от древних предков...

Однако доораться до звериного рыка ей опять помешала ночная собака. Она завыла под окном, словно почувала приближение чьей-то смерти.

Поднялась Мария на ноги так, словно её вызвали на допрос. И всё-таки... Она дотащила до комода – поглядеться в зеркало. В раннем свете зари глянула на себя и вспомнила давешний сон. Ей показалось, что теперешнее её лицо похоже на вилок капусты... Рядом с зеркалом лежала половинка тетрадного листа, на котором сажей было написано: «Прощайте! Ухожу на фронт. Васёна».

– А, та-та-та-та! – опустила Мария на диван. – Вот это да! Вот это Васёна! Плакала Федькина женитьба... Плакало Осипово добро... Ищи теперь ветра в поле...

За окном, на той стороне улицы, в рассветной дымке, увидела она двух бабёнок, которые судачили, поглядывая на афанасьевский дом.

«Обо мне говорят, – решила Мария и обнаружила, что продолжает держать в руке прочтённую записку. Постояла так, подумала и разорвала листок надвое, ещё надвое, ещё, ещё... Решая при этом: – Пусть побегают поищут! Ветра в поле...»

Васёну искали всей деревней. Облазили колки, пади, поречье... Отчаялись. И в конце концов решили ждать весны. Может, где из-под снега вытает...

Семешка-глупырь и тот загоревал. И повторил, видать, услышанную от кого-то приговорку:

– Кому чёлт велёвку подаёт, у того и Господь её не отбелёт...

Катерина Афанасьева после известия о гибели мужа, и без того, как говорили бабы, очерствела, а с пропажей Васёны вовсе закаменела.

Видать, не зря под окнами её дома повадилась взлаивать да подвывать ночами блукавая чья-то псина...

Глава 17

В кухне Афанасьевых стряпали ржаные пряники – готовили к Новому году посильные гостинцы для ребят, которыми должны были заселить детский дом.

После обеда за окнами разбушевалась метель.

– Муки осталось на одну стряпню. Осип по такой погоде с Татарки завтра бы хотя бы воротился... Тягун, гляди, разыгралси, снегу до крылец натянет, – беспокоилась старая Дарья, которая руководила стряпнёй.

По столу, когда-то сделанному самим хозяином дома для большой семьи, Катерина раскатывала сочни, смазывала их взбитым яйцом, протыкала вилкой, посыпала крупинками сахара и передавала на другой край стола, где Мария полосовала их ножом на квадратики, ромбики, тонкой рюмкой резала на кружки и полумесяцы, укладывала на листы.

Листы принимала Дарья, ставила на загнетку, ловко подхватывала деревянной лопатой с длинным держакom и определяла в жерло русской печи – на тлеющие берёзовые уголья.

Листы с готовыми пряниками ставились ею на широкую подоконную лавку – отдышаться. После чего к делу приступала Нюшка. Довольная своим участием в таком добром деле, она радела как могла.

Наполненные ею миски, укрытые чистыми тряпицами, выставлялись в кладовку – на мороз.

В доме одна только Дарья тревожила тишину. Погода вызывала в ней беспокойство, потому как на завтра было намечено отправляться деревенским бабам в березняки – готовить дрова впрок для детдома. Сокрушало старую ещё и то, что уехавший в Татарск Осип опять оставил своего балбеса «произвольничать» в деревне. Кроме того, и личными заботами не забывала она поделиться:

– Деду моему, слава богу, вроде как полегчало...

Разговор о старике дёргал Марию за нервы, но Дарья произвольно возвращалась к нему. Понятно: у кого что болит...

– Вчора мой дед сказал, что нисколько бы не задумался – взять с собой Нюшку партизанить. Уж больно девка пригодна для сурьёзных

дел...

Старая была уверена, что никто с нею не заспорит, не помешает говорить, потому, глядя в жаркое хайло печи, удивилась:

– Надо ж было такому воробью успеть догадаться – так спасти деда! Не выбрось она из кошевы ружья, сщас бы я была бы уже вдовою... Мне бы теперь не стряпать с вами коржики-пряники... Ходить бы по Барабе, собирать бы по всему степу дедовы косточки...

Она отколупнула от горячего листа пряничный лепесток, подала Нюшке:

– На-ка, пожуй. А то печём, печём, а сами ни при чём...

Нюшка с робостью покосилась на Марию.

– Давай, давай! – подбодрила её Дарья. – Кабы на свете не такие люди, как ты, жевали бы мы фигушки на соплях...

Старая произнесла эти слова с таким значением, что Мария раздула ноздри и обернулась на бабуку. Но под ответным взглядом Дарьи зрачки её забегали по кухне, остановились на лавке, где стояла полная посуда стряпни. Подхватив миску, она унеслась в кладовую... Катерина, в отрешённости своей, ничего этого не видела, не слышала. Казалось, не сочень, а душа её распластана по столу и всё она скрипит под скалкой, скрипит...

– Что-то в Катерине сломалось, – не хоронясь Нюшки, сообщала дома старая Дарья своему Мицаю. – Третью, считай, неделю нутром своим тает и тает... Того гляди, головня чёрная наружу просунется...

– Уймись, нечистая твоя сила! – не выдерживал Мицай её нудных причитаний. – Опять бабья жила заблажила...

От Дарьиных опасений теперь девочке казалось, что хозяйкины глаза перевёрнуты внутрь её, а по белкам обратной стороны чьей-то недоброй рукой нарисованы незрячие зрачки.

Нюшке от этого становилось страшнее, чем от скрипа столешницы. Она пыталась вспомнить те глаза, которыми в начальный вечер встретила её эта самая Катерина, – ласковые, надёжные. Никак не получалось вспомнить, потому она хмурилась и молчала даже перед Дарьей. Она боялась – услышит хозяйка её голос, захочет погладить по голове, станет искать её вокруг себя слепыми руками...

А ещё Нюшка понимала, что не только её, а и Марию пугают хозяйкины нарисованные глаза, что и она не желает быть нащупана

рукастой слепотой! Может, потому и злится, что принуждена бояться...

А стол всё скрипел, скрипел... Голос подавать устала даже Дарья. И она примолкла: надоела безответная говорильня. Да только не выдержала старуха и пяти минут, обратилась к Катерине:

– Пожалей себя – поплачь!

Из-под Марииной руки тут же стали вылетать круги и полумесяцы с удвоенной частотой. Но Дарья не обратила никакого внимания на этот галоп. Она продолжила начатое:

– Ради сыновей, Катя! Растопи слезой горячею свой камень сердечный. Очнись-погляди, да не одна ж ты на свете... Отпусти беду на люди...

Стол вдруг не заскрипел, а застонал под руками Катерины. Того напористой зазвучал цокот рюмки...

Однако Дарьино увещевание уже успело смениться русским причетом:

– Подыми глаза к солнцу ясному; заслезись хотя б его сиянием; закричи, закльчь орлицей стреляной; расщелкни нутро полёгшим колосом... Но не стой не молчи, как горелый лес. Не дари ты ворога омертвением... О-ох!

Старая Дарья охнула так, что выронила из рук долгую лопату, сплела над головой узловатые свои пальцы и тонко, немощно завывала...

У Нюшки по спине побежали мурашки...

Ударила копытом по столу дурная рюмка. Мария развязала на себе и вновь завязала передник.

А старая словно заново натягивала в душе своей спущенную охом жилу. Струна эта крепла, набирала силу... И вот разнеслось, зазвенело, заметалось от стены к стене:

– Ай, соколик наш, Распавлушенька! Ты зачем в степу развалился-спишь... Ты пошто глядишь сны несонные...

Старая не сдерживала больше в себе маеты. Слезы бежали по морщинам, сливались на подбородке. Пред тем как пролиться на кофтёнку, они загорались в оконном луче заходящего солнца, а Нюшке казалось, что старая плачет кровью. Девочка сунулась лицом в скамейку и тоже зарыдала. Но Дарья и от того не унялась, продолжила:

– Ты лежмя лежишь в поле во поле. Весь обласкан ты злыми ветрами...

– И-и! – взвыла заодно с нею и девочка.

– Цыц! – рывкнула Мария, однако Нюшка её не услышала, зато Катерина дрогнула, подняла голову, глотнула воздуха, положила руки за грудь и прошептала:

– Па-аша!

Нюшка вскинулась, увидела на её прежних глазах рябь, которая стала быстро набухать над краешками век...

Пальцы Катерины забегали по чёрному платку, распустили его концы, метнули накрыву в никчёмную теперь тишину, которая поняла свою ненужность и отступила перед зовом:

– Па-шень-ка! Пав-лу-шенька мой!

Дарья перекрестила Катерину со спины, прошептала:

– Слава богу! Прорвало...

Мария не выдержала, пропала за дверью комнаты и оттуда ругнулась:

– Чёрт знает што!

Опять подступила тишина, в которой Нюшка успела подумать:

«Если бы я умерла в госпитале, тётка Мария сюда бы не приехала...»

Катерина же огляделась, ровно желала извиниться за беспокойство, но не смогла ничего увидеть, кроме кинутого платка, подобрала, уткнулась в него лицом и ушла в морозные сени.

Пождав, когда за дверью раздадутся её рыдания, Дарья позвала:

– Мария, подь сюда!

Но та не удостоила старую даже отказом. И тогда от бабки, которая не пощадила даже Нюшку, Мария услышала:

– Сука ты блудящая! Плачет по тебе поганый ошейник...

От порога, где она захватила одёжку для себя и Катерины, старая шумнула:

– Не забудь принять из печи готовое, принцесса замызганная.

Марию словно вышибло из комнаты хлопком затворённой Дарьей двери. Она зашипела на Нюшку:

– Чего уши развесила? А ну! Живо! Спать!

Девочка кинулась в комнату. Не раздеваясь, нырнула под одеяло и там затихла...

Почти все прожитые в Казаних дни Нюшка и ложилась, и вставала, видя перед собой недовольное лицо тётки Марии, которое всякий раз говорило ей:

– Скорей бы уж проклятый твой детдом открылся...

По строгому тёткиному приказу – не связываться со всякой деревенской сволотнёй – девочка сторонилась на улице ребят, за что шалуны обзывали её мамзелью и даже придумали считалку к весёлой своей игре:

Нюха-тюха-выбразала
За поленом побежала.
Нет полена, есть чурбан —
Получай один щелбан!

Саму «выбразалу» никто не трогал, зато проигравшему лепился такой щелчок, что тот иной раз крутился винтом.

Забавой ребята тешились, а саму Нюшку почти перестали замечать. Только старая Дарья не давала ей оставаться в одиночестве. Мария не мешала старой привечать девочку. Дарья, что ни день, и сама торопилась явиться за Нюшкою, всякий раз повторяя:

– Пойдём скорейча. А то дед Мицай без тебя брыкается. Чего доброго, опять ногу зашибёт.

От стариков девчушка узнавала все деревенские новости и заботы. Примерно то, что:

– Ниловна-то, Катерина, с осени закрутилась на ферме – не обнясла дом завалинкой; морозко-то в горницу и пролез, обдышал весь угол; несёт таперича оттуда сыростью...

Однако сейчас, лёжа под тёплой накрывою, не чужала девочка никакого из угла дыхания. Но, когда задремала, сразу увидела в уголке маленького старика, который дышал на стену густым инеем. Нюшке захотелось прогнать этакого морозку, но она только мыкнула на озорника и сразу проснулась...

Въяве оказалось, что никакой не морозка дышал за сундуком – тётка Мария поскрипывала половицами...

Подойдя к постели, где лежала племянница, она что-то сунула ей под подушку и вернулась в кухню. А девочка поняла, что тётка это самое что-то спрятала крадучись потому, что побоялась разбудить её, Нюшку!

За прикрытой дверью, в кухне, скоро начал опять поскрипывать стол, опять зашаркали усталые ноги бабушки Дарьи. Девочке захотелось поглядеть: что же такое таится у неё под подушкой?

Тут в кухне Мария громко сказала:

– Пойду сбегаяю до Сергея, чаем хоть напою. А то вконец заработался...

Когда за Марией слышно захлопнулась дверь, девочка села на постели, вытащила из-под подушки узелок. Тот оказался величиною с добрый кулак. Близко за дверью послышался Дарьин голос. Девочка прижала узелок к себе, замерла. Старая проговорила:

– Надо же! Чегой-та она... без гармошки плясать пустилась?

На её воркотню еле слышно отозвалась Катерина:

– Душу её совесть окликнула...

– Какую душу? Какая совесть? – удивилась Дарья. – Был у кобеля стыд, да к заплоту пристыл... Шибко легко мать её родила – нету над нею ни боли, ни воли... Сама себе конь и дорога – куды захочу, туды и ворочу... С того самого дня, как сюда её нечистый приволок, у Никитича даже костыли и те погнулись...

И опять что-то сказала Катерина, отчего старая сполохнулась:

– Куда? Какому чёрту она нужна? Полсвета обблукала, удобней Сергеева загорбка не нашла. Борис-то аптекарь к нам её детдомовской хозяйкой не без умысла задумал поставить. Эту ж дурёху в два счёта можно объегорить. Осип-то, директором будучи, из этой козы быстро наладит варежки вязать... Однако ж по детдому придётся им кем-ником, а всё наших баб работать принять. Они и позаботятся об чём надо...

От Дарьиной убеждённости в Нюшке появилась смелость. Она принялась развязывать узелок. Но тот скользнул из её рук и шмякнулся об пол. Концы его выскользнули из уже ослабленной затяжки, и тряпица развернула своё содержимое. Нюшка спрыгнула на пол.

– Похоже, девка наша не спит, – сказала Дарья и заглянула в комнату.

– Чёй такое? – увидела она рассыпанное и подошла проверить. Склонилась, послонявила палец, макнула, лизнула, спросила Нюшку: – Сахар ли чё ли?

После чего позвала:

– Катерина, подь-ка сюды!

Подошедшей хозяйке бабка показала глазами на россыпь, предложила:

– Глянь-ка, чё тут наша девка сочинила...

– Это ж не девкино сочинение, – сказала Катерина.

– Чьё ж тогда? – не сразу поняла старая сказанного, но вдруг всплеснула руками. – Да ты чё-о?! – изумилась. – Неуж Мария?!

Катерина рёбрами ладоней смела сахар в кучку, завязала тряпицу прежним манером, сказала: «А мы проверим» – и положила узелок в комнате, посреди стола.

Когда бабка Дарья засобиралась домой, Катерина у порога велела ей:

– Никому, ни гу-гу! Чтобы до Никитича ни в коем случае не дошло... Ему и без того хватает...

– А с Марией как прикажешь?

Выскребая из дежи тесто для последнего сочня, Катерина решила:

– Увидим как...

Уже ухватившись за дверную ручку, недовольная Дарья проворчала:

– Чё ж, мы её покрывать ли чё ли должны?

– Да уймись, Лукьяновна! – только и успела сказать Катерина, как за окном хлопнула калитка. Послышался скрип костылей...

Протирая у порога запотевшие очки, Сергей сообщил:

– Похолодало.

Потом, близоруко оглядев и Дарью, и хозяйку, пожелал узнать:

– Что-то случилось?

– Чёй у нас может случиться-то? – с натужной весёлостью отозвалась Дарья. – Всё уже переслучалось. Окромя беды да хвори, како у нас горе... Сщась вот собралась домой идтить, деда своего кормить...

– А Мария где?

– Да и мы бы тебя, Никитич, об том же спросили бы, – поставила старая на последнем «бы» ударение.

Катерина же повелела ей:

– Собралась, ступай! Нечего дорогу заговаривать... Да завтра, не забудь, приходи – маковники будем стряпать...

– Что же всё-таки случилось? – поспешил переспросить Сергей, пока Дарья не ушла.

– Пущай тебе вон... Катька врёт! – заявила старая. – А меня с детства за враньё драли, как сидорову козу...

С тем она и пропала за порогом.

Дарья ушла. Нюшке в открытую дверь было видно, как хозяйка в деловом молчании подбирала стряпню. Сергей немного постоял среди кухни и сел у стола. Даже девочке стало понятно, насколько он устал. Она тихонько уползла под одеяло и оттуда одним глазом обнаружила, что дядя Серёжа сейчас сильно походит на её любимого, но умершего дедушку Никиту, а и равно на того одноногого солдата, который стоял в Татарске на мостике у бабушки-Лизиной избы...

Нюшка теперь только поняла, что именно тот прошлый день был последним днём её настоящего детства. Горше того ей показалось, что и дяде её Сергею досталось такое же, как у неё, только взрослое сиротство. От жалости Нюшка тихонько заплакала.

Услыхала это Катерина, услышал и Сергей. Он жестом остановил шагнувшую было в комнату хозяйку, сам направился к племяннице, присел на краешек её постели, спросил:

– Ты чего?

Не умея объяснить свою печаль, Нюшка заплакала того горше. Вспомнилась ей почему-то ворона на крыше, потерянная шаньга, и она, не понимая зачем, сказала ему:

– Я воровка.

Катерина замерла в кухне, а Сергей с недоумением спросил:

– Что ты украла? У кого?

– У Немковых... шаньгу украла... давно, – уточнила девочка. – А сегодня сахар украла... на кухне.

Она сказала это не для дяди, сказала для хозяйки дома, которая только что наказывала бабке Дарье, чтобы о Мариином грехе – никому ни гу-гу! Чтобы слух не дошёл до Сергея Никитича. Сказала и упала в подушку лицом. И весь дом пронзил тоненький крик ужаса... Так кричат зайчата, над которыми нависла звериная пасть.

Катерина обессилела на месте: поняла, что её наказ бабке Дарье не открывать истины послужил девчужке приказом взвалить на себя чужую скверну.

Страшно оказалось принять сиротство таким обнажённым, таким отчаянно лгущим во спасение ближнего от подобной же

безысходности... Девочка не вынесла своей новой ненужности, запорокинулась и, не лия слёз, на сухую, закричала в потолок:

– Воровка я, воровка, воровка!..

Она кричала кому-то далёкому, которого нет на земле, но который её услышит, поймёт, спасёт...

Сергей протянул руку – остановить отчаянье, – но племянница увернулась, опять оказалась лицом в подушке, и оттуда послышалось глухое:

– Дедушка, родименький! Возьми меня к себе. Пожалуйста...

За Нюшкиной истерикой никто не услышал, как скрипнула во дворе калитка. Переступив кухонный порог, Мария сразу разглядела в раме широко распахнутой комнатной двери знакомый узелок. Он пошлой фигою торчал посреди стола. Ею ещё на улице услышано было Нюшкино признание, и без особого труда стало понятным, что же происходит в доме.

Потому она глазасто уставилась на испуганную Нюшку. Та всеми своими цыплячьими косточками стянулась в комок, словно спрятала в себя и память, и веру во спасение, и только что сотворённую ложь.

– Спать! Живо! Орёшь – на улице слышно. – Голос Марии в крик не сорвался потому, что рядом с нею уже стояла Катерина. Однако приказ её всё же дополнился грозным обещанием: – Завтра разберёмся!

И без того убитый Нюшкиным признанием Сергей, ни слова не говоря, направился в кухню. Катерина последовала за ним. А следом из комнаты послышалось неровное:

– Ах ты! Воровка бесстыжая! Да я тебе за такие дела руки оборву!

«Она же пьяная!» – поняла Катерина и вернулась в комнату. Там она взяла Нюшку на руки, сказала:

– Пойдём, со мной поспишь.

У порога обернулась, посоветовала Марии:

– Убиралась бы ты лучше из деревни нашей, красавица. И оглоедов этих... увозила бы к чёртовой матери... А то ведь, случись... никакой аптекарь вам не поможет...

Глава 18

Утром стряпать маковники бабка Дарья не пришла. Потому Катерина попросила Нюшку:

– Ты бы, девонька, оделась, сбегала бы до стариков – чё у них там?

Мицаиха встретила девочку восклицанием:

– Слава богу, пришла! А то уж я собиралась кого-то бы просить дойти до вас. Ты поглянь, чё с дедом-то с нашим творится...

Девочка подошла к лежанке и сразу поняла: Мицай глядит, да не видит; смотрит на неё, как сквозь окно, стекло которого затянуто морозом. Однако стоило Нюшке позвать его: «Дедушка!» – старик оживился, сказал с передыхом:

– Воробей прилетел! Вот и ладно. Теперь... – не договорил он, задохнулся немочью.

Нюшка присела обок, а старый пожалел:

– Не скатал я тебе пимов-то, прости, воробей...

– Так ты и не обещал, – удивилась Нюшка.

– Как – не обещал? Приготовил! На-ко вот...

И совсем как некогда родной Нюшкин дедушка Никита, Мицай сунул руку под подушку, что-то там собрал в горсть и в подставленные девочкой ладони высыпал пустоту...

Нюшка посмотрела на Дарью, та пояснила:

– Бредит. Совсем плох.

Она отозвала девчущку в сторону, полушёпотом велела:

– Беги, передай Катерине – пускай кого другого зовёт... Не помощница я ей нонча.

До этого блукавшая где-то Неманька завертелась во дворе перед Нюшкой, но малая прикрикнула на собаку:

– Отстань, тороплюсь!

Псина виновато опустила голову. Нюшка расстроилась:

– Ну чего ты? Не сердись.

Собака вильнула хвостом, но ластиться больше не полезла, отошла к своей конуре. А девочка заторопилась обратным путём. На дороге увидела свои же следы. Плывущие навстречу «головастики» напомнили ей о Татарске. Сразу явились в память и Немчиха, и ворона, и с ними вместе подступило вчерашнее тёткино лицемерие.

Девочке захотелось вернуться к старикам, чтобы не видеть ни Марию, ни дядю Сергея, который, похоже, поверил во вчерашнюю её неправду... Но на вольность такую она не имела права. К тому же её звала уже распахнутая калитка афанасьевского двора – входи, что ли! Чего медлишь?

Однако в дом Ньюшке всё-таки не пошло. Она не могла представить себе, как сообщить Катерине о Мицаевых горестях. Сказать, что совсем худо старику, значит обозлить Марию; не сказать – хозяйка спросит: почему старая не пришла?

Чтобы как-то определиться в себе, девочка влезла на кучу откинутого от калитки снега и там, у самого забора, утонула в сугробе. Но не успела путём затаиться, как осознала, что дед Мицай, без её участия может умереть!

Давно так не плакала Ньюшка. Со словами «сиротинушка несчастная», сказанными в Татарске заплаканной старухой, запало ей в душу понятие, что право на слёзы, на капризы, на жалобы у неё отнято сиротством. С той самой поры она и начала сторониться чужой доброты. Хотя вряд ли столь малый человек мог осознавать, что тем самым Провидение хранит в нём чистоту собственного достоинства. Однако сдержанности этой в девочке накопилось столько, что сейчас, не заплавав, она могла бы ею задохнуться!

Но выплакаться досуха помешали ей скрип санных полозьев да конское фырканье. А ещё тот голос, что лился елеем на Марию в коридоре татарского госпиталя. Голос Бориса Михайловича, который спросил:

– Вот здесь она и живёт?

Ньюшка отыскала в заплоте широкую щель и увидела потеху: плюгавый Осип, сосед стариков Мицаев, подёргивая нервными локотками, будто подхватывая сползающие брюки, силился вытянуть из обшивней ^[7] толстого аптекаря. Раздутый сытой жизнью, тот колыхался пузырьём в распахнутой коже тулупа и никак не мог вывалиться на свободу.

Вдруг он отстранил Осипа и сотворил глазами такой солнечный восход, что Ньюшка сразу поняла, кого он тем сиянием пожелал ослепить.

Мария, одетая в свою полудошку, спешно подошла к саням, заговорила:

– Нет, нет! Што вы! Што вы! Только не сюда... Только не сюда!

– Господи Боже ж мой! – тихо воскликнул аптекарь. – Бедная моя! Запуганная моя девочка!

Нюшка подумала, что на том и притихнут его жалкости, да нет. Он даже кинулся в народную мудрость:

– Ч-что, милая? В чужом дому, как в дыму? И не жжётся, да плачется?

Продолжая кудахтать, он явно выжимал из Марии жалобу. Нюшке и той показалось, что тёткины дела и впрямь плачевны. Но Мария оборвала эту мазню. Забравшись в сани, она почти приказала Борису Михайловичу:

– Не надо... здесь!

Затем повелела:

– Давай, Осип, к тебе... Давай, давай!

Когда голоса вместе со скрипом санных полозьев удалились, Нюшка выбралась из сугроба. Она было направилась в дом, но на крыльце вспомнила, какую страшную весть несёт с собою. В голове её с быстротой несущегося под уклон колеса закружилась одна и та же мысль: сказать, что Мицай помирает, значит отпустить беду с языка...

Только вдруг «колесо» её страха налетело на стенку памяти. Нюшка вспомнила: когда в госпитале она очнулась от беспамятства, то сразу над собою услышала сказанное тётей Пашей-санитаркой:

– Помрёт девка!

Потом тётя Паша оправдывалась перед нею:

– И померла бы, когда бы не профессор Мыш, с Новосибирску... Приезжал на днях; тебя тоже доктора наши ему показали. Велел порошком каким-то новым поить... Без того порошка, девка, был бы тебе каюк!

Теперь, на крыльце, Нюшке показалось, что та самая санитарка и подсказала ей верный выход. Девочка даже огляделась. Но только воробьи под застрехой сарая трепыхались да чирикали, отгоняя от себя стужу.

Таким же озябшим воробьём Нюшка сорвалась с крыльца. Лётом пустилась она по-над стыллой землёю в знакомый край деревни, следом за аптекарскими санями. Она была уверена, что если исполнит задуманное, то дед Мицай выживет...

Сани уже стояли в соседнем дворе, у самого крыльца. Меренок ещё не был выпряжен. Девочка перелезла к сенной двери напрямик через обшивни. Она не стала отряхиваться, не догадалась поправить платок, а вкатила туда, где её никто не ждал, встрёпанным пугалом.

Четыре пары глаз воззрились на неё с недоумением, словно увидели живую нечисть.

– Чего тебе, деточка? – первым пожелал узнать аптекарь.

Но Мария тут же сбила Ньюшку с толкового ответа вопросом:

– За мной, что ли, прислали? Беги скажи: через час буду. Ну чего стоишь? Ступай, когда велят!

– Погодите, Мария Филипповна, – мягко остановил её аптекарь и догадливо произнёс: – Видите, ребёнок растерян. Думаю, ч-что ему меня не хватает для ответа?

И от Марии он опять обратился к Ньюшке:

– Ребёнок сейчас немного погуляет по улочке, подождёт, когда взрослые свободными станут. Они потом понятливее будут для ребёнка такого хорошего, чтобы он захотел рассказать им свою нужду. Согласна, милая девочка?

Заворожённая его голосом Ньюшка кивнула, но с места не сдвинулась.

– Ты же у-умница, – продолжил Борис Михайлович, – ты же меня поняла. На улочку, милая, на улочку... Надо уметь немного ждать...

С Марииной подачи Ньюшка оказалась в сенях. Но дальше не пошла; опустилась у двери на корточки, чтобы выходящие могли вспомнить про неё.

А в доме тот же голос так же ласково, но очень слышно спросил:

– Ну-у же, голубчик! Ты у нас ч-что-о? Намерен и дальше так шали-ить?

Протяжённость произносимых аптекарем слов уползла для Ньюшке аж за деревню, но оттуда никто не откликнулся. Однако Борис Михайлович не продолжил говорить короче, словно сам пополз туда же за ответом:

– Я бы, голубчик ты мо-ой, очень хоте-ел бы, ч-чтобы с тобо-ою сейчас разговаривал сам прокуро-ор. Он уме-ет это делать успешнее меня. То, ч-что у нас... работают теперь законы вое-енного времени... неужели не понимаешь?!

Ответом аптекарю было глупое молчание.

Зато у двери понимала Нюшка, что втолковывает Борис Михайлович «голубчику»; жалко, ответить не могла. А вот почему молчал «голубчик», это явно озадачивало и Нюшку, и аптекаря. Не то его тупость, не то трусость привели наконец аптекаря в тупик. Он оставил «голубчика» в покое, чтобы обратиться к Осипу:

– Меня, понимаете ли, Осип Семёнович, только моя доброта остановила, ч-чтобы сразу от вас не отвязаться. За неё бы следует и мне самому подставить голову для прокурора. А поделом... Так вы ещё сумели вынудить и Степана Матвеевича со стеклом для вас рисковать... Вы не скажете ли, Осип Семёнович, за ч-что меня Господь наградил такими любезными сотрудниками?

Аптекарь замолчал. И опять не дождавшись ответа, вдруг заговорил грубо:

– Разве вам, голуби, не следует уважать добродетель? Вы же на ней паразитируете. Без неё куда бы вы теперь были, ч-чтобы никто не мог вас найти? Или вы надумали, чтобы я вам перестал мешать?

Аптекарь говорил так резко, словно готов был разогнать «голубей», готовых вроде как самого его куда-нибудь отправить в полёт. Только вот Нюшке показалось, что и тётя Маруся, и Осип Семёнович, и здоровяк Фёдор уже сидят у аптекаря в кармане...

– И вообще... – подвёл Борис Михайлович жирную черту под своим говорением. – Ехал я сюда, слушал я вас, думал я здесь и решал, ч-что сегодня вы сами, Осип Семёнович, передо мною признаетесь, ч-что директор детского дома из вас никудышный. Я правду говорю или наоборот?

Ответом опять была тишина.

– И решилось мне, – продолжил аптекарь, – видеть с этой минуты на вашей должности нашу милейшую Марию Филипповну. Или кому-то здесь о чём-то возразить захотелось?

– Я хочу возразить, – сказала Мария. – В качестве кого этих проходимцев намерены вы оставить тут со мною? Такие помощники меня угробят...

– Нельзя нервничать! – успокоил её аптекарь. – Эти двое станут служить лучше, как пограничники... Если Фёдор допустит себя до новой проказы, так я для него лечебницу уже распахнул. Там ой как широко двери для него открыты! Пусть прямиком бежит, не вихляет...

Его там поймают такие тёплые руки, ч-что ни в какую другую жизнь больше вернуться ему даже и в голову не придёт...

– И запомните, – обратился он напрямую к «пограничникам», – Марию Филипповну слушать, как еврей слушает свою маму! Ты, Фёдор Осипович, будешь теплом сироток снабжать. Пару месяцев поработаешь даром. Надо же чем-то платить добрым людям за твои стеклянные шалости? Ты, Осип Семёнович, остаёшься в полной зависимости от директора. И всё, и на том решили! А теперь мы обедаем, – закончил Борис Михайлович разговор, – и Осип Семёнович сопровождает меня обратно в Татарск...

Нюшка в сенях поняла, что о ней забыли, что никто в дом её не позовёт. Потому сразу распахнула дверь, шагнула через порог, уставилась на аптекаря, который через пару секунд сказал:

– Господи Боже мой! Деточка! Ты ещё здесь?! Удивительное терпение!

Мария же ухватила её за воротник, тряхнула, спросила:

– Уйдёшь ты отсюда или нет, паршивка?!

Жалея Катерину и Сергея, дома девочка ещё терпела Мариины выходки. Другое дело здесь! Здесь её сердечко не замерло от уважения к присутствующим. Чтобы оторваться от тёткиного захвата, она резко присела. Вскочила уже свободная, сказала вольным голосом:

– Сама паршивка!

И пока Мария опоминалась от её вольности, заявила ей в лицо:

– Не к тебе пришла. К нему... – мотнула она головой в сторону аптекаря.

Мария опять намерилась ухватить племянницу за шиворот, но та отскочила в сторону, крикнула:

– Мицай помирает!

– Господи Боже ж мой! – на этот раз не поднимая глаза к небу, досадливо проговорил аптекарь. – Ну? Ч-что там у тебя с Мицаем?

У Нюшки перехватило горло, но она смогла шёпотом повторить:

– Помирает...

Аптекарь услышал её, пожал плечами.

– Та-ак... – протянул. – А я тут при чём... с твоим Мицаем?

Нюшка перед ним затрясла ладошками, произнося с нажимом:

– Ну, помирает же человек...

– Так разве ж я для него доктор?

– Доктор! Доктор! Я видела тебя в госпитале в белом халате...

– Ну, видела, видела... – согласился Борис Михайлович. – И что теперь? Халат доктором меня не сделал.

– Сделал! – упрямо сказала Нюшка и уже с надрывом в голосе позвала: – Пойдём к нему.

Не на шутку испугавшись, что старики расскажут аптекарю о случае на волчьей дороге, Мария заявила:

– Никуда он не пойдёт! Ничего с твоим дедом не случится.

Сдерживая слёзы, Нюшка насупилась, глянула на Марию из-под бровей и, неожиданно для себя самой, повторила за дверью слышанное от аптекаря:

– Или вы желаете, чтобы с вами разговаривал прокурор?!

Онемели все. Только в тишине под Осипом протяжно охнул табурет. Но всем показалось, что это он, а не Осип проскрипел:

– Вот это характер!

– Хорошо, хорошо! – согласился Борис Михайлович. – Показывай, где твой Мицай...

Оглядев ногу старика, Борис Михайлович посоветовал:

– Надо бы отправить в больницу. Да не мешало бы поторопиться...

При его словах Дарья прошептала:

– Чужало моё сердце...

И потаённо, словно арестант через замочную скважину, спросила аптекаря:

– Чё делать-то, милоч?

Тот поморщился от бестолкового вопроса, но повторил вежливо:

– Я напрасно никогда не говорю: непременно в больницу... И не мешало бы поскорей.

– В каку таку больницу, милоч? На чём? Все лошади в деревне по дрова посланы – для детдому березняк пилят.

– Тогда уж простите. Я не Господь Бог – не знаю... – развёл аптекарь руками.

Однако Нюшка обнадёжила старую:

– Знает, знает... Я слыхала... Они сейчас в Татарку поедут.

– Батюшка ты мой! Возьми деда! А я тебе салца солёногого с погребу достану. Хорошее сало. С чесноком...

– При чём здесь чеснок? У меня в санях можно только троим поместиться. А нас уже двое – я да Осип Семёнович. А Михаила Даниловича разве можно одного отправлять? Его надо кому-то сопровождать – это уже четверо... Никак не получается...

– Возьми, батюшка! Я следом побегу...

– Да ч-что вы, ей-богу! Разве я могу такое допустить? – направился аптекарь к двери.

Но Дарья успела его опередить и повалилась в ноги.

– Эт-того ещё не хватало! – затоптался на месте Борис Михайлович. – Стыдно, матушка! Стыдно! Да пустите же меня, на самом-то деле!

– Не пустим! – Нюшка оказалась рядом с Дарьей и так уставилась аптекарю в глаза, что тот понял: пустит, только ему это дорого обойдётся...

– Ладно! Так уж и быть, – уступил он. – Как-нибудь устроимся вчетвером... – И со словами: «Бедная лошадь», – вышел за порог.

Глава 19

Уже строгая, деловая, что крыса, Мария третий день командовала над ремонтными в детдоме бабами.

К обеду Осип вернулся в Казаниху из района. Он прибыл не в кошеве аптекаря, а в простых, рабочих розвальнях районного заготовителя Степана Немкова. Зато разом привез и стекло, и цемент, и гвозди, и даже мыло...

Не успевши путём спрыгнуть с саней, он взялся угождать Марии – определяя доставленному надлежащие места. Всякий раз он задавал новоиспечённой директрисе тоненькие вопросы:

– Этот мешочек цементика, Мария Филиппьевна, куда велите поставить? Этот ящичек, Мария Филиппьевна, где должен, по-вашему, находиться? А гвоздочки, Мария Филиппьевна, чтобы не заржавели, куда мы с вами определим? А эту коробочку картонную, чтобы не промокла? А эту баночку с белой красочкой, чтобы не высохла?..

А Фёдор? Фёдор отчаянно матюгался во дворе – никак не мог наловчиться колоть дрова.

Через час Мария была уже вне себя от ярости.

«Твою душу! – ругалась она пока ещё про себя. – Удружил мне Борис Михайлович работничками! В неделю со света сживут».

Наконец она не выдержала – унеслась через дорогу в афанасьевский дом, чтобы отдышаться от Осипова назоя и Фёдорова психа. Но, на её досаду, в это время и хозяйка была дома. Когда Мария шагнула через порог, Катерина показывала Нюшке, как из козьего пуха выбирать ость. Она, похоже, собралась куда-то уходить, поскольку сидела в платке и телогрейке.

Разуваясь у двери, Мария почуяла на себе её ожидающий взгляд и коротко доложила:

– Да, приняли, приняли вашего Мицая... И вашу Дарью санитаркой на время лечения взяли...

– И что сказали?

– Выходят старика; куда они денутся...

– Спасибо и на том.

– Бориса Михайловича благодарите. Если бы не он...

Катерина, однако, возразила:

– Не-ет! Спасибо Нюшке. Мицаево счастье, что она такая... настырная оказалась!

Мария не пожелала путём дослушать – прошла в комнату и закрыла дверь. Но Катерина громко договорила:

– А ты, красавица, если решила надолго в деревне задержаться, подыскала бы себе другую квартиру. Племянницу можешь оставить у меня.

– Я тебе што? – отозвалась Мария с той стороны. – Мешаю с моим мужем шашни крутить?

– Мешаешь! – спокойно отозвалась Катерина, а когда она ушла, Мария выскочила в кухню, прометнулась туда-сюда, остановилась перед Нюшкой.

Нет. Не ударила. Злобно заявила, мелко тряся пальцем:

– Ну, сучонка угодливая! Наплачешься ты у меня!

Очередную почту в Казаниху доставил Степан Немков. Осадив жеребчика перед сельсоветом, он резво выскочил из кошевы, ругнулся на плохо убранный с дороги снег, не отстукал его с валенок, ввалился в сельсовет и протопал по половицам так, будто явился карать.

Председательша Клавдия Парфёнова стояла у настенного телефона. Она встретила заготовителя без особого удовольствия:

– Тебе, Степан Матвеич, может, способней прямо на коне в контору править? Вламываешься, равно грабитель...

– А ты что, тихонь любишь?

Он швырнул на стол почтовый пакет и, здоровенный, тесный, упершись обеими руками в стену, навис над Клавдией красной с мороза физиономией. Но та с неожиданной силой двинула его в грудь. Степан попятился, наткнулся на стул, сел... да мимо.

– Ничего не отломил? – вешая телефонную трубку, спокойно спросила председательша.

– Ну, погоди, поймаю! – пригрозил заготовитель, поднимаясь.

– Поймай, поймай! И мне почесаться дай...

Степан ответить не успел – отворилась дверь; в контору, одна за другой, торопились заявиться бабы.

Распугав их шутливой ловлей, заготовитель вывалился из конторы, с привычной ловкостью кинулся в сани, понужнул жеребчика и покатил в край деревни – до Панасюков.

В часы ежедневных деловых поездок Степан Немков любил подсчитывать в уме результат предстоящего сбора продналога. Килограммы, литры, штуки он складывал и умножал. Но всякий раз не забывал отнимать «от мира» ту самую пресловутую «ниточку», которая ловко вплеталась Степаном в его заготовительскую «рубашку». И поди ж ты! Результат всегда умилял и позволял ему думать о себе как о человеке, умеющем жить.

Вот и теперь, когда деревенские бабы разбирали в конторе почту, он, полулёжа в санях, вспоминал, сколько им насчитано для сдачи государству молока, яиц, свинины и прочего остального, если только в одной Казанихе девяносто семь дворов...

Письмо, невесть кем присланное и опять адресованное Катерине Афанасьевой, заново встревожило всю деревню. По свежему штемпелю бабы определили, что оно брошено в Татарске на этих днях. А по жамканному клееному конверту было похоже, что до почтового ящика добиралось оно бог знает откуда и притом недели две-три, если не больше.

Пока бабы гадали, что это значит, в контору вошла сама Катерина. Приняла письмо. Подивилась, что оно послано не треугольником, решила: не с фронта – и оказалась права. Письмо, с тетрадного листа ломаными, полными ошибок строками вещало: «Сын твой Иван цяжка поранетый у госпитале вывезли куды-то у Тюмень или к пермякам. Сам писать неадалел писал я сосед по кровати адправляю санитаркаю с поездом. Так будет быстрее дойдет чем почта».

Катерина тут же, в конторе, прочитала письмо вслух. При полном молчании собравшихся постояла у стола, подумала, спросила Клавдию:

– Ну что, председательша, без меня справитесь?

В ответ все бабы наперебой заверяли:

– О чём ты, Катя?.. Ехай! Не оплошаем...

– Иди собирайся, – согласно кивнула Клавдия. – Сейчас, хотя бы ты, Полинка, – указала она на молодую деваху, – справку напишу, отнесёшь ей... Заготовитель тут, в деревне, – посоветовала она Катерине. – Сейчас только за Осипом наладился. С ними поезжай в Татарку...

Но не успели бабы, оставшиеся в сельсовете, дорешать путём насущных дел своих, как одна которая-то воскликнула:

– Катерина-то наша... Уже пёхом подалась. Не стала Степана ждать.

– Вот ведь человек! Идёт, не гнётся!

– Эта найдёт! Эта поднимет сына...

С малой котомкою Катерина Афанасьева скоро миновала деревню и скрылась за окольной рощицей.

Клавдия же Парфёнова, проводивши на работу женщин, как встала у окна, так и простояла не меньше часа. Одновременно с думой о Катерине она перекидывала в уме колхозные заботы: надо вывезти сено, оставленное под зиму в заречье, надо справиться без потери с предстоящим отёлом, надо перелопатить в амбаре семенное зерно... Как пешим ходом доберётся Катерина до Татарска? Без малого двадцать вёрст! А заготовка дров для детдома... Баба она крепкая, привычная, а всё равно – не на ферму побежала...

Наконец Клавдия собралась сесть за стол – заняться бумагами, но решила, что сейчас ей не сосредоточиться, потому отправилась посмотреть, как справляется со своим внезапным директорством Мария, стало быть, Филипповна.

Окна будущего детдома были уже застеклены, печи натоплены, заканчивалась настилка полов... И всё это силами женщин.

Самой Марии на месте не оказалось. Между бабами уже успел когда-то появиться Осип Семёнович. Он крутился живчиком: уносил, подносил, подсказывал, даже пошучивал... Дробный, жалкий, угодливый... О Господи!

Клавдии захотелось плюнуть на это существо, да пришлось задержать его на очередной перебежке, чтобы сказать:

– Вчера вечером твой Фёдор опять телятниц по ферме гонял. Ты бы его силу-то настроил – бабам помогать; полы красить пора...

– Борис Михайлович велел ему печками заниматься. Больше с него, дорогая Клавдия Сазоновна, ничего не возьмёшь. Не натворил бы чего опять, и на том спасибо...

– Я всё никак до ваших справок не доберусь. Они у вас, помню, ещё аж довоенные? – спросила она и, не желая слушать уже набивших оскомину жалоб «несчастливого отца», велела: – Зайди вечером в

контору; дам предписание в военкомат. Пусть там и Фёдора, и тебя заодно направят на подтверждение...

Почти довольная ходом ремонта в детдоме, Клавдия вернулась в сельсовет. Но не успела устроиться на своём месте, как обнаружила забытое Катериной письмо. Второпях сложенный вчетверо листок остался лежать на столе, а взяла она с собою только пустой конверт.

Клавдия кинулась из конторы посоветоваться с людьми – что делать? Первой на пути оказалась школа. Уроки, судя по времени, уже закончились. Потому она напрямик направилась к Сергею Никитичу.

Шагая гулким коридором, услышала пение Семешки-глупыря. При внимании можно было бы различить в долгих звуках отдельные слова, переиначенные косным языком глупыша в какое-то неземное эхо. Но Клавдии было не до песни.

Голос доносился из кабинета директора школы. Можно было подумать, что, кроме Семешки, никого за дверью нет. Однако Сергей Никитич находился на своём месте. Он сидел, облокотясь о стол, зажав голову ладонями. Семешка в уголке то ли почивал, то ли уже почил, оставив взамен себя одну только песню. Он даже губами, казалось, не шевелил. Но степь широкая, степь раздольная так и расстилалась... и не только, пожалуй, перед ним...

Сергей Никитич услышал стороннее присутствие, поднял глаза, ими же спросил Клавдию: чем, дескать, вызвано её появление?

– У Афанасьевых опять беда, – подходя к столу, прошептала Клавдия.

– Да, да! Мне уже сказали, – так же тихо ответил Сергей. Жестом приглашая Клавдию присесть, он убедил себя вопросом: – Вы же не были против её поездки?

– Нет, конечно. Только дело в том, что она забыла письмо на моём столе. Что теперь делать, не знаю. Пришла посоветоваться. – Она протянула Сергею листок. – Почитайте. Хотя толку-то... Катерину всё равно уже не догнать...

– Не догнать, – согласился Сергей.

Он развернул письмо, раз-другой пробежал глазами по строкам, затем присмотрелся пристальней, потом поглядел на Клавдию, опять вернулся к написанному и вдруг попросил:

– Позвольте, я оставлю письмо у себя?

– И то, – согласилась Клавдия. – Чего доброго, в конторе может затеряться среди бумаг. Пусть лучше в своём доме полежит. Да! Я вот ещё чего хочу сказать, – добавила она. – На днях Екатерина Ниловна предложила Марии Филипповне подыскать себе другое жильё. Как вы сами на это смотрите?

– Надо бы ей было со мной сначала посоветоваться... – смутился Сергей.

– Надо бы, – согласилась Клавдия. – Только теперь вроде бы и смысла в этом нет... Бог ведает, когда хозяйка вернётся? Получается, вроде как Мария вольно-невольно сама становится ею. Вообще-то она и ехала в деревню, скорее всего, только вашей супругою. Нюшку бы мог и один Мицай привезти. И не думала она, что Борис Михайлович так её окрутит, что не отвяжешься... Теперь разрывается угодить – поскорее детдом к открытию подготовить. И верьте мне: в первую очередь там ваша Нюшка окажется. Вы того за делами не замечаете, а деревня видит, как она свою неволю на девчужке вымещает...

Чем дальше уходил Сергей от школы, тем тише и жалобней скрипели его костыли. Они явно не хотели доставлять хозяина домой. Во дворе, у самого крыльца, они и вовсе остановились. И только силою воли Сергей заставил их покориться. Такими, затихшими от несогласия с хозяином, они ввели его в дом.

В кухне было темно, лишь полоска света теплилась под комнатной дверью. Оттуда же исходил и конкретный голос Марии.

– Тебе ясно?! – требовала она ответа на ранее заданный вопрос. – Тогда повторяю – никаких шашней с деревенскими ублюдками! Сиди дома! Нету больше в Казаних твоих заступников. Катерины и след простыл. Мицай в госпиталь завалился. Бабка твоя Дарья при нём в няньках пристроилась... Незачем тебе болтаться теперь по дворам! Бабы тут шибко сердобольные – не дадут твоей собаке подохнуть... Ясно?! А на дядьку твоего хреновая надежда: не нужна ты ему! Считай, за месяц даже не посмотрел путём в твою сторону. Тебе, надеюсь, всё ясно? Так что жди: скоро детдом откроется. Ты первой там окажешься. Чего нахохлилась? Поняла или нет?!

– Поняла...

– То-то же! А то свалил на меня всю кабалу и в ус не дует... Видите ли, школой он занят... И я теперь занята... Некогда с тобой

возиться...

Говоря это, Мария вроде и строжилась над Ньюшкой, и жаловалась ей:

– Мало того что я за вами за обоими хохоряшки убираю, ты ещё мне тут собралась суд устроить – тётка у тебя старика толкнула, тётка у тебя сахар украла! Дура ты, Ньюшка! Когда человек ворует, он для себя ворует. А я для тебя старалась. Я же не к себе, а к тебе сахар под подушку положила. В степи, с волками... куда ни шло... согласна... Только Мицаю твоему всё равно скоро помирать. А тебе? Тебя-то бы в первую очередь волки сожрали. Теперь понимаешь, зачем я толкнула твоего Мицаю? Тебя, дуру, спасала...

Когда Сергей шагнул в комнату, Мария сидела у стола, вполоборота к двери. Видно было, что она нашивает золотую мишуру на картонное основание будущей короны для новогодней царицы. Ньюшка стояла против неё. При свете керосиновой лампы на столе пенилось марлевое облако.

Новогодний вечер в школе затевали учителя. Была приглашена и Мария. Теперь она старалась создать себе лучший наряд.

Странно то, что при появлении мужа она не растерялась, хотя не могла не понять, что Сергей наверняка успел услышать всё ею сказанное.

Сергей подошёл к племяннице, положил ей на голову ладонь, сказал:

– А ведь права тётя Маруся. И в самом деле никудышный я дядька. Совсем выпустил тебя из виду. Прости ты меня, внук Анна!

Внуком Анной совсем, казалось, в другой жизни называл её дедушка Никита, который любил Ньюшку неистово. Она запрокинула голову и увидела за очками дяди Серёжи родные дедовы глаза. Увидела, сглотнула подступившие слёзы, улыбнулась. Тем же ответил ей и Сергей.

В недоумении Мария спросила:

– Чему это вы... радуетесь?

Сергей не нашёл нужным ответить ей. Он сел на диван и только потом обратился, но не к Марии, а к племяннице, которую разом и спросил, и укрепил в себе:

– Да просто так! Порода у нас одна – быстриковская. Правда, внук Анна?

Нюшка кивнула, а Сергей ещё раз утвердил:

– Вот и помни об этом всю жизнь!

Оттого, что дядя заговорил с нею как со взрослой, девочка ощутила себя нужной и почти равной ему. В единый миг она выросла до его дружбы. Она подошла и припала к рукаву его пиджака. А Марии захотелось убедиться в том, слышал ли Сергей её, перед Нюшкой, откровение.

– О! Нашла щеня сосок – змеиный хвосток... – произнесла она с издёвкой. – Давай, давай, – обращаясь к Нюшке, она глазами встретилась с мужем и уже, не зная кому, договорила: – Болтай, болтай про меня... В брехню легче верится.

– Не надо ничего «болтать»! – так же, глядя на Марию, признался Сергей сразу обеим. – Я сам только что всё как есть слышал.

Сказал и спросил Нюшку:

– Ты ужинала?

– Успеется! – ответила Мария за девочку и добавила от себя: – Не подохнет!

Последним словом Мария как бы вышвырнула племянку из разговора, чтобы та не мешала ей отвечать на Сергеев «допрос», который от его лица собралась она учинить сама над собой.

– Ну-у! – надменно произнесла она. – И чем таким стоящим намерен ты убедить наше советское правосудие? – В запале она повысила голос. – Да! Я толкнула Миця! Да! Я сахар украла... И письмо Катьке я на...

Хотя Мария не закончила последнего слова, однако Нюшка и та поняла, почему в доме наступила такая грязная тишина, словно его вместе с крышей завалило оползнем...

Пока Сергей собирался сквозь эту глухоту отправить к Марии законный вопрос: «Ты хоть соображаешь, что ты натворила?» – у неё был уже готов ответ:

– А што такого случилось?! Я што, отравила её, твоим костылём убила? Ага! Такую убьёшь! Она по мужу-то по своему только и взвыла, что один раз. И то бабка Дарья вынудила. Так что ни хрена... Не убудет от твоей Катерины – пробздится и вернётся. А я тут хоть немного хозяйкой поживу... – потрясла она перед собою ладонями и уже со спокойной наглостью пояснила: – Недолго тебе меня терпеть. Скоро в детдоме для меня комната будет готова.

– Нет! – заявил Сергей. – Хозяйкою ты тут не поживёшь.

– Это почему же? – с нажимом спросила Мария.

– Если даже, как ты думаешь, к правосудию нет смысла обращаться, то уж от деревни пощады не жди.

– А как твоя деревня узнает? Этот запёрдыш, – указала Мария на Ньюшку, – донесёт или ты сам меня заложишь? И што?! Пожалуйста. Закладывай. Дело тут же дойдёт до района... Тебя же самого из-за такой, как я, жены попрут из партии...

Она говорила уверенно, с ухмылкой:

– Так напинают по твоей хромой заднице, что на директорском стуле не усидишь... Придётся не только про школу, а и про Мицаеву ногу, и про Катьку забыть...

– И правильно сделают! – сказал Сергей, поднимаясь, чтобы уйти из комнаты.

Но Мария заторопилась договорить:

– А я ещё и следователю заявлю, что письмо мною писано под твою диктовку. Что нам обоим захотелось без хозяйки обойтись...

– Даже так! – обернулся от двери Сергей. – Ну что ж, дело твоё, заявляй...

– Моё дело, моё. И шутка моя...

– Ах ты, оказывается, пошутила. Это когда же? Сейчас или когда письмо писала? Или когда велела Осипу переслать письмо почтою из Татарска в Казаниху? А ведь, кроме вас, в деревне больше некому так шутить...

– Чего ты мне этим письмом тычешь? Письмо-то – тю-тю! Заодно с твоей Катериной исчезло...

– В том-то и дело, что оно у меня. Катерина его в конторе забыла. Прихватила только пустой конверт. Ты хоть старалась корявила почерк, но я-то его сразу узнал.

Мария словно примёрзла к стулу. Даже руки не уронила. Они так и повисли над её коленями.

– Пошли, внук Анна, – позвал Сергей племянницу. – Мы с тобой пока в кухне поживём, а дальше видно будет, что нам делать...

Мария сорвалась со стула, подскочила и выдернула из-под руки мужа костыль. Но, сообразив, что Сергей «упрыгает» и с одной опорой, сорвала с его лица очки и хлестанула ими об пол!

Хлестанула и сама оторопела от сотворённого.

А Нюшке довелось поднять с половицы только пустую оправу...

Не настолько Сергей был слеп, чтобы не видеть, как Мария несколько минут спустя натянула у порога ботики, набросила на себя хозяйкин полушубок и пропала в ранней темноте декабрьской ночи...

Сам он остался сидеть в кухне, опершись обеими локтями о край столешницы. Голова его была зажата ладонями. Против него, на фитильке, опущенном одним концом в солонку, наполненную топлёным жиром, мелко подрагивал слабый огонёк.

«Плачет!» – поняла Нюшка.

Нет, Сергей не плакал. В нём трепетало сердце. Оно, похоже, исходило в беспомощность своею логикой. Всю жизнь в Сергее никак не смыкались понятия: человек и подлость.

Нюшка подошла к нему, тронула за рукав, прошептала:

– Поехали домой.

Сергей близоруко посмотрел на племянницу, силясь её понять. Она повторила:

– Плохо тут... с тётёй Машей. Поехали домой.

– Да, да! – согласился он. – Плохо, внук Анна. Домой бы... конечно... Не получится домой...

– Почему?

– Как тебе объяснить? Поговорку такую знаешь: «Рад бы в рай, да грехи не пускают»?

– Знаю.

– Ну! И что же это, по-твоему?

– Это когда виноват кто-то.

– Ты права, Анна. Увы! А если права, то рассуди: разве не грех – оставлять людей в опасности?

– Опасность – это тётя Маруся? – спросила Нюшка. – А если мы тут жить останемся, тогда она уедет? Да?

На Нюшкино понимание происходящего Сергей ответить не сумел, потому сказал:

– Поживём – увидим...

Девочка прильнула к нему и, заглядывая в глаза, предложила:

– Она прокурора боится. Поехали к нему...

– Да, да! – согласился Сергей. – Ехать, так вместе. Расставаться нам теперь никак нельзя... Только не следует спешить. Хорошо, если бы

она сама надумала ему признаться...

Сергей вынул из внутреннего кармана костюмного кармана листок, сказал:

– А пока что письмо это надо куда-нибудь спрятать.

Нюшка не поняла причины сказанного, зато вспомнила, куда прятала письма бабушка Лиза.

– За зеркало, – не раздумывая сказала она.

– Верно! – удивился Сергей быстроте её совета. – Лучше не придумаешь.

Через минуту сложенный вчетверо листок спрятался над рукомыльником в зеркальной глубине потусторонней кухни. Так, во всяком случае, показалось Нюшке.

Отец и сын Панасюки наладились ужинать, когда в избу влетела Мария. Второпях она запнулась за порог, но, готовая распластаться по полу, сумела справиться с телом и выровняла его перед самым столом. Трескучий мороз конца тысяча девятьсот сорок первого года клубом ворвался в распахнутую дверь, словно следом за Марией белым огнём горела дорога.

Фёдор рыкнул:

– Дверь закрой! Разиня!

Осип подхватился. За Марию исполнил сыновье повеление, ругнулся:

– Остолоп! Не видишь – человек не в себе?

И немедля обратился к «человеку»:

– Что случилось?

Мария сперва огляделась, будто проверила: не подслушивает ли кто? – и вдруг поняла, что отныне эти двое – её компания, её семья, если не судьба. Потому наперёд спросила, кивком указав на бутылку, стоящую на столе:

– Всё жрёте?

– Дожираем, – хохотнул Фёдор. – Без твоего надзора теперь хрен выпьешь. Мать моя часто говорила: «Проще чёрта окрестить, чем святоше угодить...»

– Я тебе сейчас покажу святошу, сам в чёрта крещёного перекинешься!

– Что случилось? – повторно спросил Осип.

– Сухари сушите, вот что случилось!

Осип не понял:

– Какие сухари?

– Ржаные! – осклабилась Мария. – Они дольше не портятся.

– Какие ржаные? – никак не мог Осип взять в толк её слова.

– А такие!

Мария ребром правой руки показала на левой ладони, как режут хлеб на сухари, и пояснила:

– Напластаеть – и в духовку...

– Я тебя сщас саму – в духовку, – не выдержал Фёдор. – Говори толком! Чё сопли жуёшь?

– Ещё раз гавкнешь, – повернулась к нему Мария, – побежишь у меня искать пятый угол... Может, мне лучше помолчать? – повернулась она к Осипу.

– Ага! – ухмыльнулся Фёдор. – Хотела баба молчать, да не знала, с чего начать...

Мария буквально зарычала на него:

– Заткнёшься ты или нет?! Да будет тебе, дураку, известно, – сочинила она враньё своё на живульку, – что Катерина Афанасьева собиралась днями на вас на двоих, да заодно и на аптекаря прокурору бумагу накатать, будто вы наркотиками подпольно торгуете.

– Откуда она узнала?! – воскликнул Фёдор, не осознавая, что этим вопросом он окончательно выдаёт Марии что себя, что отца, что Бориса Михайловича.

Осип от страха зашёлся очередью восклицаний:

– Мать честная! О Господи! Как же это? Быть того не может...

– А мне бы тогда откуда знать, если не может? Подумайте хорошенько...

Осип не стал «хорошенько» думать. Он сразу понял, что, потерявши голову, на хрена ль оплакивать бороду... Опустив долу глаза, стал рассуждать:

– Вот ведь как в жизни-то бывает... Кличешь беду ко свату, а она к тебе в хату... У самой-то у неё ишь как получилось... Да! Теперь ей не до прокурора. Когда она теперь сына-то своего отыщет? Вот он, Бог-то, как решает...

– Какой тебе, к чёрту, Бог? – вскипела Мария. – Я – этот Бог! Понятно? Письмо-то, которое хозяйка моя получила, мною написано... Понятно? Я велела Степану Агеичу в Татарке его сбросить. Это я

распорядилась Катериной, чтобы вас по судам не затаскали... Ясно? Все вы теперь у меня в руках! И чтобы Борису Михайловичу пока ни звука!

– Ну вот! – скривил Осип губы, пытаясь улыбнуться. – Всё по-твоему и получилось.

– Ага! Щас! Получилось... Сама-то Катерина ухлестала, а письмо-то в конторе на столе забыла. Клавдия и обнаружила.

– Ну?

– Загну! К Сергею моему с письмом советоваться побежала. Он сразу и догадался, что оно мною написано! Почерк узнал. Хотя я и старалась писать каракулями...

– Ну и узнал. И что? – спросил Фёдор. – Он же не поскачет к прокурору на тебя заявлять?

– Поскачет не поскачет, а надёжнее будет, если письмо у меня окажется. Действовать надо, пока Сергей ни с кем ещё открытием своим не поделится!

– Ну и как эту писанину у твоего Сергея добудешь? – спросил Фёдор. – Скорей всего, он при себе её будет таскать. Грабежом, что ли, заняться?

– Надо будет – и займёшься.

– Пошла ты... Я тебя не заставлял писать!

– И действительно, – подхватил Осип слова сына. – Зачем ты это сделала? Мало ли откуда Катерина твоя Ниловна могла про наркотики узнать... Это надо было ещё доказать... У нас лично – всё шито-крыто... Дома – ни грамма... А что Бориса Михайловича... У-у! Хе-хе... Того голыми руками не возьмёшь...

– Едрит твою мать! – воскликнула Мария. – Значит, отрещиваетесь? Значит, так? А не боитесь, если меня закрутят? Я же всех вас, вместе с аптекарем, в свою воронку затаю...

– Да уж... Письмо необходимо добыть! – тихо, но решительно сказал Осип, когда они с Фёдором остались одни. – И немедленно! Немедленно! – повторил он. – Пока Музыкант действительно не успел никому ничего рассказать. Но писанину надо оставить при себе, тогда Мария даже не пикнет против нас!

– И в завхозихи, – подхватил сын отцовы слова, – обратно попросится...

– Верно! Так что... придётся грабить. Иного выхода нет!

– Ладно. Завтра... Домой вечером пойдёт... В школе-то Семешка-дурак может помешать, а на улице в такую погоду никого не бывает... Придётся оглушить...

– Значит, придётся! А то Мария долго терпеть не будет... Она и сама способна... Мы же потом у неё и окажемся виноватыми...

За неделю до Нового года всю ночь заметал Западную Сибирь лютой северный ветер. А на рассвете Сергея Никитича нашли сельчане застывшим; лежал он плашмя в сугробе у школьной ограды...

Мария не плакала, но смотреть на неё было страшно. После похорон, на третий день, с Нюшкой и невеликой кладью она уже сидела в кошеве заготовителя Степана Немкова. Ни Осип Семёнович, ни Фёдор провожать её не вышли...

В Татарске Мария велела Степану Матвеевичу оставить её с племянницей у вокзала. Больше в этом городке её никто никогда не видел.

Зато дежурная по залу глубокой ночью заметила девочку, которая без присмотра спала калачиком под одной из деревянных скамеек вокзала.

В отделении милиции беспризорной дали кусок хлеба и стакан чая сладкого. И очень старались понять: кто она, откуда, почему одна? Однако добились только того, что Нюшка назвала себя именем своей бабушки. Так и записали в протоколе дознания, что там-то, тогда-то, в такое-то время ночи найдена девочка – Елизавета Леонидовна Быстрикова...

Часть 2. Я – Дочь врага народа

*Одна десятая судьбы,
Одна десятая.
А сколько было в ней – увы! —
Лихого, всякого...
Теперь же судят со смешком:
А вспоминать не лень.
Но вы на месте на моём
Побудьте хоть бы день...*

Страшно

Крепкая, мужеподобная Лидия Кронидовна – директор детского дома, которую за глаза зовут Гром-баба, а то и Комиссарша, спрашивает кругленькую, розовощекую, недопустимо сдобную, по военному времени, медсестру:

– Ну что там у нас в изоляторе, Зинаида Ивановна?

Зинаида Ивановна отвечает:

– У Трапезниковой – тридцать семь и четыре; у Славянова – тридцать семь и шесть; у Тихонова – тридцать семь. А у Садыкова сыпь какая-то появилась. Похоже – корь.

– Этого нам ещё не хватало! – вскидывает косматые брови Лидия Кронидовна и спрашивает дальше: – А Быстрикова? Она как?

– У неё – тридцать девять и два.

– Как всегда! По самый край...

– Да уж, – соглашается медсестра, – странная особа. Драться так уж драться, болеть так болеть! Всё на пределе. И неудачливая! К Новому году всем хватило нарядов, а ей ни платья, ни туфель не досталось.

– Так нельзя, – судит директор. – Лиза, конечно, не подарок, но хотя бы из чего списанного перешить нужно.

– Я скажу кастелянше, – обещает Зинаида Ивановна. – Не то снова забьётся за печку, шары свои вылупит, как слепая... Смотреть страшно! Я из-за неё, честное слово, боюсь ночью в изолятор входить.

То ли она не в себе, то ли умная слишком? Глаза во сне открыты, чего-то шепчет... Лидия Кронидовна, – умоляюще говорит медсестра, – спровадить бы её в другой детдом.

– Грипп, погодите, минует – поговорю насчет перевода. Признаться, и самой мне она не по душе.

– К тому же – дочь врага народа! – подсеивает Зинаида Ивановна.

– Ну и что теперь? Не казнить же нам её за отца! – с необъяснимой досадою отвечает Лидия Кронидовна, затем велит: – Ступайте. Поглядите, что там в изоляторе. И закройте на ночь трубу и дверь.

Изолятор – маленькая бревенчатая пристройка к большой столовой. Отдельно от основного корпуса. На улице – сорок градусов зимы.

Зинаида Ивановна налегке перебегает двор.

В изоляторе тепло. В нём восемь коек. Свободна лишь одна. У двери, в уголке, тумбочка и ночное ведёрко. На тумбочке горит керосиновая лампа. Электростанция не работает.

Ребята спят. Не спит только Лиза. Она глядит в потолок и шепчет, будто не слышит дверного скрипа.

Зинаида Ивановна поспешно задвигает вьюшку печи, задувает в лампе огонь и, позвякивая снаружи засовом, громко говорит:

– Блаженная, чёрт тебя побери!

Лиза улыбается, опускает веки и со временем оказывается в бабушкиной избе, на полатах. Во сне полати начинают качаться, лететь ковром-самолётом по-над загородным Татарским болотом, грязным и вонючим. Лизе тошно...

Она просыпается, хочет подняться. Но валится с кровати на пол и осознаёт, что угорела. Осознаёт потому, что такое с нею случилось и прежде. В бабушкиной хате. Тогда она свалилась на пол прямо с полатей и этим, слава богу, спасла всех семейных.

Лиза ползёт к высокому изоляторному окошку. Дотягивается до стекла, ударяет по нему кулаком и проваливается в небыль...

Приходит в себя на диване, в кабинете директора, Лидия Кронидовна сидит за столом и говорит не ей:

– Если бы не она, нам бы – тюрьма! Вы мне семерых ребят уморили было! Я теперь на неё молиться должна, а вы – другой детдом! Ступайте прочь! Видеть вас не могу!

Скрипит дверь. Директор поднимается, ходит по комнате грузная, суровая. Замечает, что Лиза очнулась. Подсаживается к ней. Глаза теплеют. Губы тихо произносят:

– Умница ты моя! Да я тебе к Новому году сама платье сошью. Лучше всех у меня будешь! Кушать-то хочешь?

Кушать Лиза не хочет. Её даже передёргивает от услышанного. Директор понимает её состояние. Не настаивает. Склоняется. Видно, хочет поцеловать. Но девочка резко отворачивается и опять впадает в забытьё.

Просыпается она только под вечер. Голову, руки, ноги – всё крутит, ломит. Лидия Кронидовна рядом. Лекарство с холодным сладким чаем противно.

– А выпить надо, – говорит Лидия Кронидовна. – Простыла крепко! Не было бы воспаления!

Лиза пьёт и опять засыпает. До утра.

Утром повариха, тётя Паша, приносит завтрак, говорит:

– Ты у нас теперь барыня. Комиссарша даже плакала над тобою.

Лиза не знает, как такой завтрак есть: четвертина курицы, хлеб с маслом, каша с маслом, компот и огромное яблоко. Вкус яблока Лиза давно забыла. Хочется вспомнить. Но в нос лезет запах постоянной детдомовской горошницы, которым заполнен даже кабинет директора. А кажется, что это пахнет от яблока. И Лиза шепчет:

– Не хочу.

– Ну и дура! – говорит с печалью тётя Паша. – Другой на твоём месте оторвал бы с руками.

– Не хочу!

И вот он через день – Новый год! Силами ребят предстоит постановка «Кошкиного дома»! Лиза в ней не участвует потому, что всё делает по-своему. Да и пребывает она пока что на директорском диване. Лидия Кронидовна обещает завтра её отпустить. Весь текст постановки Лиза знает наизусть. От нечего делать повторяет:

...А теперь наш козырь – крести.

Пропади ты с ними вместе!

Надоела мне игра.

Да и спать давно пора...

Постепенно «Кошкин дом» уплывает из памяти. Иные стихи занимают его место:

Что-то будет, что-то ждётся!
Что? Не знаю, но ко мне
Звонким голосом несётся
Весть о будущей весне...

Лизе нравится слагать собственные строки. Среди них она осознаёт себя нужной, умной, даже красивой...

Но входит Зинаида Ивановна, и очарование пропадает.

Лиза не обидчива, но и не забывчива. Зла не держит, но разговаривать не желает. Медсестра понимает её неприязнь. Потому говорит униженно – ради отношения с директором детдома:

– Давай, деточка. Подставляй попу. Последний укольчик. Ты же у меня смелая девочка.

Больше она не приходит. Приходит Лидия Кронидовна. Но у неё много забот. Ей некогда, некогда, некогда...

А вот и Новый год! «Кошкин дом» просто великолепен! Ребята довольны, веселы, нарядны.

Огромный Дед Мороз, сотворённый из папье-маше, ваты и красного полотна, занимает весь угол залы – от пола до потолка. За ним сидит, спряталась, Лиза. На ней старое платье.

Бетховен

Уже лето.

Софья Борисовна – существо забавное. От юности своей она удалилась лет на пятьдесят. Но это её не смущает. При первом же знакомстве с ребятами она кладёт на пианино принесённую с собою скрипку, пальчиками приподнимает лёгкий подол платья и пляшет чечётку, чем тут же заражает весь детдом. С неделю после её номера по всем углам слышен стукоток подошв.

После чечетки Софья Борисовна ударяет по клавишам пианино, поёт чистым голоском:

Из края в край вперё-од иду —
Сурок всегда-а со мно-ою.
Под вечер кров себе-е найду —
И мой сурок со мно-ою...

Это, по её словам, она даёт ребятам Бетховена. Чайковского она «даёт» на скрипке.

Лизе давно знаком и Бетховен, и Чайковский: семья владела многими инструментами и умением петь. Когда при аресте отца в доме был обыск, скрипку стали трясти и уронили на пол. Она закричала всеми струнами. Лиза была маленькой, но этот крик пронзил ей душу и там затаился. Теперь музыкантша его потревожила. Делается больно, и слеза катится по щеке девочки. Но Софья Борисовна почему-то радуется ей. Она поглаживает Лизу по плечу, обещает:

– Я научу тебя играть.

И спрашивает:

– Хочешь? Говори, не стесняйся.

Лиза – натура крайне замкнутая, бессловесная. Но тут она поёт:

Из края в край вперё-от иду —
Сурок всегда-а со мно-ою.
Под вечер кров себе-е найду —
И мой сурок со мно-ою.
Подайте хлеба нам, друзья, —
Суро-ок всегда-а со мною.
Обедать, право, до-олжен я —
И мой сурок со мно-ою...

– Исключительный ребёнок! – восторгается Софья Борисовна в кабинете директора. – Ею следует заниматься отдельно.

– Не следует! – обрывает её вдохновение Лидия Кронидовна. – Лиза – дочь врага народа. Отец расстрелян, мать ушла из жизни, можно сказать, добровольно. Ясно?! И давайте к этому разговору больше не возвращаться...

Лиза чувствует, что Софья Борисовна к своему обещанию охладела. Однако же которую ночь девочка не спит – ждёт, мечтает: вот она в белом платье со скрипкою, вот она в белом... Но получается,

что ни в белом, ни в чёрном она никому не нужна. И никак Лиза не может определиться в новой пустоте.

Сон идти не торопится, а в дрёме Софья Борисовна всё спрашивает её:

– Хочешь?

Лиза отвечает, но её не слышно.

А Софья Борисовна пожимает плечами и беззвучно ударяет по клавишам. Ребятний хор поёт одними губами. Но песня понятна:

...Ходит рыба золота-ая
В затихающей реке-е...

Лиза видит на месте Софьи Борисовны вздрагивающую от рыданий спину бабушки. Боится, что та сейчас завоет. Опять, как бывало, возьмётся оплакивать загинувшую в арестах, гонениях, болезнях некогда большую семью. Станет просить Бога – забрать её к себе. Бог её заберёт, а Лизу отправят в детский дом...

Софья Борисовна – эвакуированная. От прошлого у неё, похоже, осталась только скрипка. Жить негде. Для этого Лидия Кронидовна определила ей кладовуху в уголке дальнего коридора. Но там Софья Борисовна ночевать боится. Спит на топчане, в спальне девочек. Ложится она поздно, уходит рано. Видит её приходы одна только Лиза. Она всё ждёт. Вдруг Софья Борисовна опять спросит: хочешь? Лиза ответит: да! И её мечта в белом платье сразу обретёт свою жизнь.

Но Софья Борисовна молчит, хотя понимает, что Лиза не спит. А у девочки день ото дня накапливается ожидание. И досада. Она уже не видит белого платья. Зато всё яснее видит скрипку, что лежит в кладовухе на полочке. И дверь там не запирается – сломан замок...

Ночь тёмная! Приходится продвигаться ощупью. Все двери отворяются беззвучно – петли смазаны солидолом. Лидия Кронидовна не терпит скрежета. Однако сама носит сапоги со скрипом – как у Сталина!..

Только лишь с одной струной Лиза не успевает справиться: чьи-то голоса раздаются во дворе. Наверное, разговаривает дежурная со сторожем.

Одноголосую скрипку Лиза оставляет на столе и возвращается в спальню. В её руке пучок струн. Нарочно смело она поднимается с ногами на кровать, которая стоит у окна. Резко отворяет форточку.

Ждёт, чтобы кто-нибудь проснулся да придержал её. Но все спят. При свете луны хорошо виден высокий детдомовский забор. Между ним и окошком заросли крапивы и шиповника. Туда Лиза бросает струны.

Утром, во время завтрака, Лидия Кронидовна говорит, войдя в столовую:

– Здравствуйте, дети!

Дети не отвечают. Им запрещено разговаривать во время еды.

– Сегодня музыкальное занятие отменяется, – продолжает говорить директор и объясняет: – Софья Борисовна заболела. Положили в больницу. – Поскрипывая сапогами, она исчезает за дверью кухни.

Зинаида Ивановна дополняет её объяснение:

– Плохо с сердцем.

У Лизы пропадает аппетит.

Зинаида Ивановна замечает это, склоняется к её уху. Злобно шепчет:

– Чего не жрёшь?! Никак без фокусов не можешь!

Лиза отодвигает тарелку.

– Ну и чёрт с тобой!

У Лизы короткое платье. Голые ноги. Но она лезет в заросли. Надо отыскать струны.

Отыскала, свернула их колечками.

Забор высокий, но перелезть несложно – перекладины с этой стороны. И Лиза не думает о том, как будет возвращаться.

В волдырях и царапинах, что есть духу, девочка летит к больнице. Та недалеко. Строение низкое, ворота открыты. Во дворе полно раненых. Все они добрые. И все знают, куда положили утром старушку.

Палата мужская. Софья Борисовна лежит за ширмой. Её волосы. Её лицо. Но глаза...

Глаза подёрнуты пеленою, как у неживой курицы. Однако же белые губы улыбаются и шепчут:

– Лизонька! Как же ты? Убежала?

Девочка молча протягивает струны. Софья Борисовна принимает их. Заодно в свои ладошки берёт Лизины руки. Говорит погромче:

– Я знала... Я ничего не сказала директору... И запомни: у тебя чудесные были родители. И ты... тоже...

Сил у неё не хватает говорить дальше.

А ладошки у Софьи Борисовны тёплые и нежные, как у бабушки...

Сурок

О предстоящих в детдоме событиях ребята узнавали утром – на линейке. Линейка – это построение для исполнения гимна. Вечернее построение тоже было. Называлось поверкою.

На этот раз порядок оказался нарушенным. Лидия Кронидовна во время обеда объявила:

– После полдника у нас будут гости. Приедут добрые люди. Они хотят кого-нибудь удочерить. Всем девочкам получить на складе новые трусы.

На дворе июль. Головы лысые, панталоны голубые. Построение в три часа у столовой.

Лиза стоит, размышляет:

«Если можно удочерить – значит можно и уматерить. Две дочери бывают, а двух мам? Нет! Не бывает...»

Остальные девочки тихонько выясняют меж собой – кому охота в дочери, кому нет. Получается, что никто не желает менять память о собственной матери на чужую тётку. Но Лиза понимает, что они боятся быть отбракованными, потому загодя ершатся.

Мальчишки, загнанные в игровую комнату, выставились в окна – завидуют.

Зинаида Ивановна идёт вдоль строя, считает:

– Пятнадцать, шестнадцать – все на месте. Смотри у меня, Быстрикова! – грозит она Лизе пальцем и идёт к воротам.

У распахнутых ворот стоит сама Лидия Кронидовна. Она распоряжается громко и нервно.

Машина до ворот не доходит. Урча, останавливается за оградой. Девочкам её не видно: им приказано стоять – не шевелиться! Однако при появлении пеших гостей во дворе слышен общий вдох удивления:

– Ух ты!

Полковник с женою!

Полковник – жилистый, высокий! Рука на перевязи! Герой! Полковничиха низенькая, моложавая, сдобная, как Зинаида Ивановна, и вся в креп-сатирах!

Полковник задерживается у ворот – разговаривает с Лидией Кронидовной. Полковничиха с медсестрой приближаются к девочкам безо всяких приветствий!

Туфельки на ней лаковые, ручки пухлые, кудельки белые, голосок мягкий. Она спрашивает Зинаиду Ивановну:

– Какую вы мне посоветуете?

При этом они медленно идут вдоль голубых трусов. Полковничиха близорука. Она всматривается в девочек, а им кажется, что внюхивается. Она внимательна ко всякому на теле пятнышку, царапине, коросте. Велит поворачиваться туда-сюда. А ещё повторять:

– Прекрасная погода!

Вот она останавливается против Лизы, велит сказать про погоду. Лиза глядит полковничихе прямо в глаза. Они чуть навывкате, жидко-голубые. А у мамы были тёмно-коричневые. Совсем не то. И Лиза отворачивается.

– О-о? – вроде как одобряет полковничиха. – С характером! Это интересно!

– Очень своеобразная девочка! – говорит Зинаида Ивановна. – Пойдёмте дальше.

– Нет-нет! Погодите, – придерживает её гостья и спрашивает. – Кто у неё был отец?

Лиза, не повернувшись, опережает ответ Зинаиды Ивановны:

– Враг народа!

– Это интересно! – повторяет полковничиха и пытается рукою за подбородок повернуть Лизу лицом к себе. Острые её ноготки требуют повиновения. Больно! И Лиза, неожиданно для самой себя, впивается зубами в холёную руку.

Лиза никогда и ничего не делает абы как!..

Она и со своего места срывается вихрем. Уносится за угол детдома – в заросли шиповника. Сидит там, слышит шум уходящей машины, жалеет о том, что не воспользовалась распахнутыми воротами...

Только перед ужином её отыскивает в зарослях детдомовский сторож – Степан Матвеевич. Он предан Лидии Кронидовне до

безрассудства. Потому даёт Лизе крепкую оплеуху и силой тащит в изолятор. Туда, где полугодом назад Лиза спасла от смерти стольких ребят. Там её ждёт сама директриса! Она сидит на краю одной из кроватей. На коленях у неё верёвка.

Степана Матвеевича она просит посторожить за дверь. Встаёт. Скидывает с кровати постель. Указывает Лизе на голую сетку. Сетка ромбиками. Лиза ложится на «ромбики» спиной. Лидия Кронидовна привязывает её и молча уходит. И запирает дверь на ключ.

Хотя форточка закрыта, но в изоляторе полно комаров и мух. Комары скоро напиваются и затихают. Мухи – страшнее. Они вечны в своей суете...

Дверь отворяется только утром. Лидия Кронидовна одна. И слава богу! Лишь она одна видит, что Лиза описилась.

Лидия Кронидовна распутывает верёвку, сдёргивает с Лизы мокрые трусы. Велит ими вытереть пол.

Чтобы не выставлять перед директором голую попу, девочка подползает под кровать со стороны спинки и выполняет приказ.

Лидия Кронидовна уходит и трусы уносит. Лиза кутается в простыню.

Директор возвращается с плотной одеждой – чтобы никому не были видны ромбики кровоподтёков. Одетой Лизе она велит:

– Ко мне в кабинет! Марш!

В кабинете и медсестра, и воспитатели, и кастелянша, и даже Софья Борисовна. Все ахают – сокрушаются. И Софья Борисовна тоже.

Лиза не может понять, кто же больше всего тут пострадал, и ей хочется всех, без разбору отравить. Она стоит у дверного косяка и не слышит, о чём её спрашивают. Всю ночь она не спала. Чтобы умалить боль, сочиняла. А теперь надумала повторить вымысел. Потому начинает шептать:

День какой! Весёлый да хороший!
Словно чьей-то сильною рукой
Был кусочек солнца с неба сброшен
И разбит на влажной мостовой...

– Да она нас не слушает! – взвизгивает Зинаида Ивановна. Она почти кричит, обращаясь к девочке. – Дура! Хлебнёшь ты в жизни горя!

– Я знавала их семью, – говорит Лидия Кронидовна. – У них вся порода такая упрямая. Немудрено, что Лиза осталась сиротой...

Никому в кабинете нету дела до того, что шепчет девочка...

Только Софья Борисовна пытается щебетать:

– Опомнись, деточка! Тебя же в другой детдом собираются перевести!

Но Лизе и Софья Борисовна кажется лживой. Уж больно она старается, чтобы её услышали. Но здесь, похоже, никто никого не намерен выслушивать. И Лиза, чтобы заглушить ненужный разговор, начинает петь:

Из края в край – вперё-от иду —

Сурук всегда-а со мно-ою...

Все замолкают. Софья Борисовна сморкается в клетчатый мужской платок. Кроме скрипки она, похоже, ещё и этот платок от войны уберегла...

Спасибо великому Сталину

Деревня маленькая. Новый детдом меленький. Весь он, с кухней и столовой, умещается в кирпичных полуметровой толщины стенах бывшего маслозаводика. Когда-то заводиком владел купец Афанасьев. Революция хозяина турнула... Окна, полы, потолки и прочее разволокла. Стены без хозяина от сырости позеленели и стали вращать в землю...

Сделался бы заводик могильником, да страна случилась в таком положении, от которого наплодилась тьма беспризорников.

Приспела необходимость тьму эту приручить. Следовало каждому сироте определить, на худой конец, по койке и месту за столом. Но прежде всего была потребна крыша над головою.

Так доходит очередь и до заводика.

Ранней весной сорок четвёртого силами колхозниц чахлое строение белится, моется, обогревается. А в мае месяце с каждым восходом солнца из его нутра уже несётся по деревне:

Союз нерушимый
Республик свободных...

Вечерами же со стороны детдома колхоз слышит иную молитву:

Спасибо великому Сталину
За наше счастливое детство!

В августе к этому славословию захотелось привередливой судьбе приобщить и голосок Быстриковой Лизы. Но оказалось, что девочка наперёд этих слов накрепко запомнила слова своей бабушки, которая перед смертью сказала ей:

– Если Сталин губит таких людей, какими были твой отец и мать, он сам и есть – враг народа!

У Лизы нет причины не верить бабушке, и величать вождя она не намерена. Для обитателей маленького детдома это крайне дико. Непонятно. Неприемлемо. Даже противно...

На третий день, за завтраком, соседка Лизы – Фролова Любка говорит через длинный стол воспитательнице Нине Ивановне:

– Не буду я сидеть рядом с новенькой. От неё говном воняет.

– Николаша, – обращается воспитательница к другому Лизиному соседу по столу. – По-моему, Люба преувеличивает.

Колька, по кличке Хлюзок, откидывается назад, тянет носом, а потом строит такую рожу, что все тридцать ребят покатываются от смеха.

У новенькой горят уши. Ей не до завтрака. Хлюзок мигом поглощает её порцию. Довольный, хлопает себя по животу. Его хамство одобряется угодливыми смешками ребят и равнодушием Нины Ивановны.

Ребята Кольку боятся. Он слишком наглый. А ещё у него имеется кнут!

Утренняя травля повторяется и за обедом. Нина Ивановна велит новенькой пересесть за дальний край стола. Только Лиза отлично понимает происходящее и остаётся на своём месте. А Колька продолжает издёвку. Он тянет из кармана дождевого червяка, бросает соседке в тарелку. Лиза бледнеет, но не уходит.

И за ужином она оказывается рядом с Колькой. На этот раз она демонстративно подвигает ему свою порцию.

Хлюзок не давится.

Следующим утром новенькая в столовой не появляется.

Хлюзок раздражён. Не смеет он завладеть завтраком, который пока что никому не принадлежит.

И воспитательнице не по себе.

На третий день голодовки Нина Ивановна говорит Лизе:

– Завтра твоё дежурство по кухне.

Сообщается это на вечерней линейке.

Перед отбоем, в умывальне, Колька притискивает Лизу к стене и приказывает:

– Завтра вынесешь кусок мяса! В обед. Поняла? А не то... Гад буду – удавлю!

Он делает вид, что ногтем большого пальца на руке вырывает свой зуб, а потом, ногтем же, проводит себя по шее. Это блатная клятва.

Лиза не торопясь говорит:

– Ладно. Вынесу. Жди!

В кухне Лиза нарезает порциями хлеб. Повариха Федосья Леонтьевна который раз предлагает ей – поешь!

Девочка вроде бы и не слышит её.

– Что ты за ребёнок за такой, – сокрушается добрая повариха. – Я ей не скажу, что покормила тебя.

Ей – это Нине Ивановне.

А в заднюю дверь кухни заглядывает Любка Фролова, она откровенно заискивает перед Колькою и служит ему. Потому манит Лизу:

– Иди сюда!

Лиза прихватывает скалку и выходит на крыльцо. Крыльцо низкое, в торце корпуса. Задняя дверь кухни находится под лестницей, которая ведёт на чердак. Место глухое. Метрах в пяти заросли лопуха.

Тут же, на крылечке, Лизу обжигает удар кнута.

Хлюзок скалится. Кнут взлетает снова...

Лиза не увёртывается. Со скалкой в руке она медленно сходит с крыльца.

Колька хлещет.

Лиза наступает.

Кнут сечёт её по лицу.

Лиза не отворачивается. Она думает, что не так уж это больно, чтобы струсить. Можно даже улыбнуться. И она улыбается.

Хлюзок пятится, наступает на свою плеть, кнутовище вырывается из его руки. От страха Колька не понимает, кто это сделал, и удирает за угол корпуса.

Лиза подбирает кнут. Грозит им Фроловой Любке, которая выглядывает из-за того же угла. Затем уходит.

В кухне она бросает трофей в печку, а у ошарашенной её видом Федосьи Леонтьевны просит поесть.

СВИНЬЯ

Детдом маленький. Двор большой. Забора как такового нет. Когда-то был вкруг бывшего заводика кирпичной же кладки предел, но и его разволокли. Остались только намёки на прежнюю ограду. Да и те заросли бурьяном.

Лишь одна сторона детдомовской усадьбы ограничена дощатым забором. За ним – двор председателя колхоза.

Забор и высок, и крепок – под стать хозяину. Как только умудрился он уберечься от военного лихолетья?

Скотина во дворе председателя – не дело. Пусть она пасётся и пакостит за оградой.

А свиней у председателя – стадо! И прочей живности хватает.

Умеет человек жить!

По правде говоря, детдомовская усадьба – председателев скотный двор.

Директор детского дома – Спиридон Васильевич, или Спирик, председателев угодник. Он знает, что одна свинья кусается. Но ему обещано, что её осенью заколют. И он ждёт. А строжится только над ребятами:

– Не дразните животное!

На тридцать детей – четверо воспитателей. Один из них Сергей Власович. На утренней линейке он говорит:

– Сегодня едем заготавливать грибы.

И все уезжают.

Остаётся Лиза – опять дежурит по кухне. Остаётся Витька Матвеев – дошколёнок лет пяти. За вечно мокрый нос его зовут Соплёю. У

Сопли сломана рука. Она в гипсе.

И ещё не едет Колька Хлюзок. Всем известно, что он лодырь, что толку от него не будет. И потому всеми делается вид, что отсутствие его не замечено.

После его побега от кухни Лизу в детдоме зауважали. Но она всё равно держится особняком. Такой уж у неё характер.

У Кольки – тоже характер. Он затаил злобу. И теперь он укрылся в зарослях лопуха, что против заднего крыльца кухни. Сидит. Не знает пока, что сотворит. Но ждёт. На всякий случай им припасена крепкая палка. Рядом пасётся та самая председателева свинья.

На перилах лестницы, ведущей на чердак, сохнут-проветриваются матрасы мочунов. У лестницы Витька Сопля. Он сосредоточен: учится левой ногою поддавать зоску^[8].

Лиза с ведром помоев выходит из кухни во двор, Колька из засады не выскакивает, а с силою тычет палкою свинье под хвост.

Та верещит, крутится. Не видит обидчика и свирепеет. Летит через двор. Но не на Лизу, хотя та ближе к ней. Несётся напрямиком на Витьку.

Девочка успевает выплеснуть перед нею помои. Но свинье требуется обидчик.

Она сбивает парнишку на землю. Хватает за ухо. Лиза что есть мочи колотит её по крупу пустым ведром.

Животина разворачивается. Тупо смотрит на девочку. Жуёт.

Витька за это время успевает подхватиться на ноги. От страха он, видно, боли не чувствует. Торопится вверх по лестнице.

Кровь окрашивает на плече его рубашку. Запах её манит свинью. Она кидается следом за парнишкой. Хватает за ягодицу. Рвёт. Жуёт заодно с клочком штанишек. Но Витька продолжает подниматься. Случайно задетый им матрас валится на ступеньки.

Пока свинья терзает его, пацанёнок успевает закрыться на чердаке.

Там ребята иной раз покуривают, потому приспособили изнутри засов – от надзора воспитателей. А при нужде спускаются на землю через ветровое окно. По пожарной лестнице.

Свинья ломится на чердак, орёт. Лиза орёт того тошней.

Директор бежит. За ним завхоз. Где-то были неподалеку.

Девочка лишь показывает на лестницу – говорить не может.

А через детдомовский двор торопится председательша. Она тоже услышала шум. И свинью свою наверху увидела. В руках у неё

трепещет окровавленная курица: бабёнка на бегу оторвала ей голову.

Этой жертвою она сманивает животное на землю. Покуда свинья жрёт курицу, хозяйка успокаивает её: оглаживает, чешет за ушами, воркует и уводит.

Чердак открыть никак не могут. Витька не отзывается. Спирик злится на завхоза:

– Сколько вам говорить – закрывайте на замок?!

– Закроешь! Ага! – оправдывается завхоз. – Наши архаровцы чёрта сорвут...

Дверцу приходится ломать.

Витьку отыскивают в дальнем углу чердака. Полумёртвым. Относят в изолятор, где над ним хлопочет медсестра. А у двери изолятора директора поджидает Колька Хлюзок.

Он сообщает Спирику:

– Я видел: новенькая дразнила свинью.

– Ладно! Разберёмся! – отвечает директор.

И разбирается...

Лизе оправдаться нечем. Кольку в лопухах она не видела. Может, Витька видел. Но если и видел, то рассказать бы не смог. Он стал заикаться длинно, мучительно.

Укусы ему залечили. А вот заикание... Да кому это было нужно! Господи!

После, потом Лиза истину узнала... Сам Колька, похоже, перед кем-то прихвастнул.

А пока...

Лиза отсидела чужую вину в карцере. Она любит одиночество. Чуток бы побольше хлеба...

День рождения

Мало заикой, Витька Сопля сотворился ещё и мочуном. Да каким! Туалет за корпусом, но Витька до него почти никогда не добегает. Про ночь и говорить не приходится...

Ребята – народ жестокий, если ещё и не удерживать.

Вот уж с Витькою рядом никто не желает ни спать, ни за столом сидеть.

Медсестра сокрушается:

– Ну что с ним делать!

Кастелянша тоже сетует:

– Всё как есть поприссал!

Директор строжится:

– Будешь сверкать перед ребятами мокрыми штанами, отправлю в спецдетдом!

– Там с вами, с выродками врагов народа, разговаривают иначе! – подсеивает Нина Ивановна.

Она пугает Витьку, но имеет в виду и Лизу. Разговор идёт при ней.

А директор спрашивает её напрямую:

– Ты хоть соображаешь, что натворила?! Напустить на ребёнка такую зверину!

Витька пытается что-то пояснить, но лишь тянет своё бесконечное «и». Этим он мешает взрослым. И директор усиливает голос:

– Теперь тебе и следить за ним! Ясно?! Ночью будешь подниматься – будить его на ведро! Понятно?

– Понятно.

Лизе понятен не только приказ. Она уясняет ещё и то, что Витька ей – брат по несчастью.

И они становятся неразлучными.

Скоро Лиза примечает: только увидит малыш свинью, под носом его сразу становится сухо, а вся мокрень выливается из него на ботинки.

А свинья пасётся, как паслась! О Господи! Куда деться от зверей?

И девочка припоминает: в Татарске, в доме бабушки, завелись однажды крысы.

– Последнюю картошку сожрут, – завздохала бабушка. – Придётся травить животин.

В ступе натолкла она стекла, перемешала с отрубяной кашею. Накатала колобков. Опустила стряпню в подполье. Через неделю сообщила:

– Ушли крысы. Или передохли...

Лиза находит пару плоских камней, кусок стекла. Прячется в репейнике. Колотит, трёт, ссеивает, ещё колотит... Да так, чтобы никто

не видел её затеи. Потом она порошок заворачивает в крепкий лист лопуха, прячет под камень, прикидывает дёрном.

Очередь за кашей.

Но вынести что-нибудь из столовой нельзя – шмонают. И девочка умудряется: весь обед заглатывает разом, делает вид, что ей дурно. Знает: Нина Ивановна брезглива – выгонит. И не ошибается.

В зарослях репья Лиза, опять же на лист лопуха, добывает из себя съеденное. Всыпает туда стекло. Перемешивает щепкой. Подсовывает месиво под свиное рыло – оно жадно чавкает.

А тут чёрт несёт председательшу!

– Чего ты ей дала?!

Лиза ответно только улыбается. Председательша строжится:

– Подохнет – кишки из тебя выпущу!

– Не-а! – отвечает девочка. – Не выпустишь...

Недели через две свинья на улице не появляется. Вся деревня уже знает, что хавронья отказалась есть. Бабы толкуют:

– Худат прям на глазах!

– Придётся прирезать...

А вот и сам председатель идёт детдомовским двором. Он высок. Он плотен! Как собственный заплот! А бабы говорят:

– У-у-у! Романыч-то наш! Частокол!

В кабинете директора Спирик с «частоколом» призывают Лизу к ответу. Желают выяснить: можно ли есть мясо?

Но девочка по существу не отвечает, а говорит сквозь зубы:

– И других отравлю!

Спирик разводит руками и только не плачет:

– Ну что я могу поделывать?! Карцер ей – курорт. Она там стихи, видите ли, сочиняет. Была бы моя воля, я бы ей насочинял – на заднице... А попробуй тронь! Чего доброго убежит – в районо жаловаться. С неё будет...

– Куда она побежит? Спиридон Васильевич! Тридцать километров до Татарска...

– А то не бегивала. Этот детдом у неё третий!

– Как знаешь! Но убытка я не потерплю!

– Какой убыток, Романыч?! – увещевает директор председателя. – Я твою свинью на кухню возьму...

Тут он спохватывается, что разговаривают при Лизе. Гонит её из кабинета. Но она, пока затворяет за собою дверь, успевает дослушать председателя:

– Ты мясом-то сперва эту сучонку накорми. Мало ли что она подсунула...

Перед обедом Лиза вдоволь наедается мяса. Сытая, она внезапно вспоминает, что сегодня у неё день рождения. Ей девять лет!

Не умничать!

Учительница во втором классе – Ирина Еремеевна. Грузная, бровастая, усатая. Платье синее. Вырез на груди клинышком. В клинышке тело дряблкое, как старая картошка. По «картошке» елозит медальон.

И всё это приказано уважать.

Ирина Еремеевна не выпускает из короткой руки длинную линейку. Ею она и указывает, и наказывает, и одобрительно похлопывает ребят по загривкам.

Букву «р» она произносит картаво: то ли мурлычет, то ли рычит.

И это положено уважать.

А в Татарске, в первом классе, у Лизы была учительница – Белоконь Ольга Николаевна! Ту хотелось называть мамой.

Если бы Ирина Еремеевна сделалась худой – наверняка летала бы в школу на метле. А такую, как бы сказала бабушка, тумбу даже ступа не поднимет.

Наказывать ребят Ирине Еремеевне нравится. Чуть что:

– Крючков! За печку!

– Ильин! За печку!

– Быстрикова! За печку!

В классе довольно прохладно. За печкой тепло. К тому же окошко напротив. Можно даже читать.

Лиза не любит учительницу, но любит читать.

Если ей удаётся раздобыть хотя бы клочок газеты, она сама добивается того, чтобы Ирина Еремеевна её наказала.

В детдоме не больно спрячешься. На улице поздняя осень. Благодать только за печкой.

Но кто-то разгадывает Лизину хитрость и ябедничает Ирине Еремеевне. В следующий раз она отбирает у Лизы чтиво. Девочка припадает к тёплой печи, неслышно плачет. А в печи оказывается щель, забитая копотью.

Ладонь случайно ложится на сажу, затем вытирает мокрое лицо. Потом Лиза настороженно выглядывает из-за печки. Хохот ошалелый.

Пока Ирина Еремеевна разворачивает от доски свою толщину в поисках причины веселья, Лиза видит на руках сажу, понимает, в чем дело, и прячется.

В наступившей было тишине опять выглядывает...

Урок сорван!

На перемене Лиза во дворе моет лицо дождевой водою, утирает подолом.

Только успеваешь вернуться в коридор, как тут же слышит:

– Быстрикова! К директору!

Директор школы – Игорь Васильевич Телегин. Он сильно горбат. Оттого мал ростом и сидит на стуле, подвернув под себя ногу. Но ученики готовы каждого, кто посмеет хоть чем-то обидеть его, уничтожить на месте!

Лиза тоже за месяц школьных занятий успела его полюбить. Если Игорь Васильевич идёт по другой стороне улицы, она перебегает туда, чтобы поздороваться. Хотя в деревне и без того всех всегда видно.

Не успел начаться разговор – зазвенел в коридоре звонок. Игорь Васильевич предлагает Ирине Еремеевне пройти на урок. А Лизу он спрашивает:

– Тебе нравится читать?

Девочка кивает.

– А вот я слышал, что ты ещё и стихи пишешь?

Лиза кивает.

– Почитай, пожалуйста!

Лиза читает медленно и очень выразительно:

Что-то будет! Что-то ждётся!

Что? Не знаю. Но ко мне

Звонким голосом несётся

Весть о будущей весне...

– Дальше! – просит директор.

Тихой песней колыбельной,
Звонким кличем юных лет,
Ликованьем беспредельным,
Лучшим словом – ты поэт!

– Дальше! Дальше!

Ты – поэт! Какое чудо!
Жизнь какая! Мир какой!..

– Лизонька! Дальше!

Но Лиза плачет.

И у Игоря Васильевича на глазах слёзы.

– Всё понятно! Всё понятно... – повторяет он и предлагает: –
Надеюсь, ты сегодня вечером придёшь к нам в гости? Домой. Я
договорюсь со Спиридоном Васильевичем.

Усадьба школьного директора от детского дома наискосок – через
дорогу. Погода слякотная. Приходится идти по грязи.

Игорь Васильевич поджидает Лизу у ворот – во дворе собака.
Крыльцо чистейшее! Ботинки у Лизы грязные и большие. Большие
настолько, что она шнурков не распускает. Разувается так. Носки
худые.

Жена директора – стройная, улыбчивая красавица агроном –
вздыхает и говорит:

– Как раз к столу – пироги горячие...

– Мы ужинали, – отвечает Лиза.

– Но пирогов не ели.

По тени на стене Лиза видит, как Игорь Васильевич маячит жене –
не настаивай, дескать. Он проводит Лизу в комнату.

– Сколько кни-иг! – ликует девочка.

– В любое время приходи, читай, – радуется хозяин гостевому
восторгу. – И об этом я договорился с вашим директором. А теперь...
Поешь всё-таки пирожка.

Они возвращаются в кухню.

Пироги с капустой.

– Ты не торопись... уходить, – просит Игорь Васильевич. – Если
можно, почитай ещё что-нибудь. Катя! – зовёт он от плиты жену. – И

ты сядь, послушай.

Лиза тихо, неторопливо читает:

День какой! Весёлый да хороший!
Словно чьей-то сильною рукой
Был кусочек солнца с неба сброшен
И разбит на влажной мостовой.
Среди солнца, от восторга взвизгнув,
Шустрый, голопятый малышок —
Шлёп ногой! И солнечные брызги
Окатали с головы до ног.
И хохочет громко, без смущенья,
Словно сам придумал день такой...
Управляя солнечным движеньем,
Человек стоит на мостовой!

Хозяева долго молчат. Хозяйка спрашивает:

– Кто у тебя родители?

– Папа был военным. Начальник шифровальной службы в Толмачёво. Его расстреляли как врага народа. Мне было два года. Бабушка рассказывала. Мама после этого жить не захотела. Она три года ждала и плакала. Я её помню только со спины.

– А бабушка?

– У бабушки ещё сын, дядя Вася, был. Он инженер и музыкант. Дядя Серёжа – художник. Был. Дядя Валя – стихи тоже писал. Дядя Гера – он помощник машиниста на паровозе. А дедушка мельницы строил... Только дядя Гера остался. И сестрёнка есть. Она где-то в другом детдоме. Не знаю...

В деревне электричества нет. Игорь Васильевич провожает Лизу до ворот детдома. Она идёт темным двором, затем отворяет дверь в широкий коридор, освещённый керосиновой лампой. Но не успевает путём переступить порог – из комнаты пацанов вылетает полено...

Левая рука у Лизы тут же виснет. До утра локоть распухает.

Потом медсестра вместе с воспитателем Сергеем Власовичем направляют Лизе выбитый сустав.

На дворе солнце. А в преддверии медпункта почти темно – нету окон. Кто-то из мальчишек, прикинутый с головою пиджаком, гундосо

говорит из угла, когда Лиза входит во мрак:

– Путишь убничать – упьём!

Сволочи

Неделю спустя, в школьном коридоре Игорь Васильевич спрашивает Лизу:

– Ты почему не приходишь?

Потупясь, девочка отвечает:

– У вас сильно чисто.

– Ну и что?

– А у нас в детдоме чесотка. И вши... бывают, – добавляет она.

– Ясно! – говорит директор. – Тогда сделаем так: на чердаке у нас тёплая комната – буржуйка стоит... Договорились?

Лиза соглашается, хотя понимает, что пацанья угроза – не пустой звук. От девочек она знает: до Спирика директором детдома успел побывать некий Протасов Егор Лукич. Открылся детдом в мае, а в июне, по судебному протоколу – воспитанники, а по сути – беспризорники, сбросили с яра на камни Сеню Родионова. Сбросили за то, что он видел, как пацаны пытались забраться в сельпо.

Сеню поспешили похоронить на другой же день. Гроб ему наскоро соорудили из досок той уборной, которая, похоже, принимала отходы ещё самого купца Афанасьева. Саваном же голому Сене послужила матрасовка – её было проще списать.

Молебном убитому зазвучали слова, кем-то, видать, из девочек положенные на мотив старинной песни «По чужим я дорогам скитался»:

Вот умру на детдомы-ской постеле-е,

Похоронят меня кое-как.

Гроб сколотят из старой уборы-ной

И наденут в полоску мешо-ок...

На том бы дело и затихло: детдомовскую братву уже боятся. Она может и дом поджечь, и скотину отравить...

И всё же находится кто-то смелый. Хотя и анонимно, но доводит до властей такую беду. Егора Лукича судят и сажают. Взамен присылают Спирика. А пацаны остаются прежней блатвой.

Однако Лиза, несмотря на угрозу, тем же предвечерьем вновь появляется в доме Игоря Васильевича. С его позволения она долго топчется у книжных полок и выбирает для чтения Ги де Мопассана.

У бабушки, в Татарске, тоже было много книг. Был и Ги де Мопассан. Но для Лизы он был запретным. Здесь же хозяева лишь переглянулись с улыбкою.

Но Мопассан Лизе не понравился. В следующий раз она принимает с полки Библию.

Книга огромная, со множеством красочных изображений. Они призывают девочку войти в суть ими проявленного, да только изложение для Лизы малопонятно.

На помощь приходит Игорь Васильевич. Он вовремя поднимается на чердак и поясняет:

– Это старославянский язык. Давай так: ты читаешь, а я поясняю. Только не торопись. Эту книгу нужно читать всю жизнь! По страничке!

С подачи Игоря Васильевича девочка скоро уясняет себе, что на земле есть люди, сотворённые Богом, а есть те, которые произошли от обезьян. В них, как в любом животном, нету совести. Они не способны оценивать качество своих поступков. Их поведение зависит от чужой воли. На какие бы высоты существа эти ни поднимались, с настоящим человеком честью они никогда не уравниются.

И ещё Лиза усваивает то, что Бог – это некая энергия, способная из ничего сотворить всё! А любое земное созидание пригодно лишь для того, чтобы открывать миру уже готовое. Но следует знать, что всякое такое открытие опасно одержимостью!

Без Игоря Васильевича Лизе, пожалуй, ничего подобного и в голову бы не пришло.

А он словно торопится передать ей собственное миропонимание.

В тот день, когда он сказывается больным и не поднимается на чердак, Лиза находит на заложенной странице Библии письма Ленина, адресованные Дзержинскому и Крыленко.

Лиза потрясена тем, что в каждом из писем – расстрелять! расстрелять! расстрелять! Из этого следует, что не только Сталин – враг народа?!

На другой день письма исчезают.

Должно быть, из уважения к директору школы пацаны обижают Лизу больше не решаются. Зато они бьют каждого, кто с нею заговаривает.

Однако Лиза увлечена не только Библией: с нею Беляев, Жюль Верн, мифы Греции...

И девочки после отбоя с удовольствием слушают пересказы ею прочитанного.

Лиза не стесняет себя в изложении: чужой вымысел ею переиначивается, дополняется... Она сама не замечает своей фантазии. Просто живёт ею. И этой жизни хватает ей вполне!

Игорь Васильевич по-прежнему приветлив. Насчёт писем, однако, ни слова! Лиза тоже помалкивает. Но из этого взаимного недоговаривания перед её воображением вырастает кирпичная стена. У стены – отец! На его груди уже сияет кровавая звезда. Но отец не падает!..

Лиза оттого знает, что и она никогда в жизни не упадёт!

И тогда в голове её вдруг поселяются строки:

Убили медведицу! Просто убили!

И люди как будто бы добрыми были.

И, силясь понять отношение взрослых,

Скулил медвежонок, прижавшись к берёзке...

Строки приходят сверху и на том заканчиваются. Но Лиза уверена, что рано или поздно они примутся нисходить постоянно, что она всегда будет готова их воспринимать...

В классе Лиза сидит за партой у окна. День ясный! Скоро весна! У Ирины Еремеевны простуда. Урок ведёт Игорь Васильевич. Однако Лиза его не слышит. В её сознании звучит иной голос.

На днях Игоря Васильевича не было дома – уезжал в район. Екатерина Трофимовна, его жена, суетилась во дворе. Потом она с кем-то заговорила, а потом как отрезала:

– Оставьте меня в покое!

– Ну что ж! Ладно! Оставлю! – отозвался мужчина, и Лиза узнала по голосу воспитателя детдома – Сергея Власовича.

Калитка тогда захлопнулась, Екатерина Трофимовна воскликнула: «Сволочь!» И заплакала.

И теперь услышанное ею мешает Лизе усваивать уроки. Тревожит. Ей трудно понять, что такое смятение называется предчувствием.

А день ясный-ясный! Скоро весна! Во двор школы въезжает крытый грузовик. Из его кузова выпрыгивают вооружённые люди.

Игорь Васильевич направляется к двери – узнать: в чём дело? Но люди уже врываются в класс. На глазах у ребят они закручивают директору за спину руки. Волокут его к порогу...

Лизе понятно всё! Она кидается следом, но кто-то сильный хватает её за плечи. Удерживает. Она пытается вывернуться, кричит:

– Это Сергей Власович!

Игорь Васильевич успеваает ответить:

– Я знаю, девочка.

А девочка продолжает биться, кричать:

– Сволочи! Сволочи!

Сволочь, что удерживает Лизу, бьёт её по голове. Удар настоящий! Она падает. Кто-то грузно убегает. Ребята помогают ей подняться. И она видит в окошко отъезжающий грузовик...

Как бы тогда людям ни задуряли головы тем, что Игорь Васильевич оказался немецким шпионом, Сергею Власовичу пришлось покинуть деревню.

Как не покинешь, если утром третьего дня он обнаруживает у своих ворот свежесколоченный гроб!

Поехали

Лиза стоит перед столом директора. Спирик сидит – развалился. Говорит:

– Арестовали Игоря Васильевича – значит, есть за что! Я запрещаю тебе ходить к нему домой!

При слове «запрещаю» кулак директора ударяет по столешнице. Но девочка не боится спросить:

– Почему?

– Потому! – с нажимом отвечает Спирик и словно сам себе тихо поясняет: – Снюхались!.. Вражья порода!..

– Сам ты... – так же тихо говорит Лиза.

Но у Спирика отменный слух.

– Ш-што-о?! – шипит он и приподнимается.

Девочка глядит в его злую физиономию и дерзит:

– Ш-што слышал!

Директор краснеет, нависает над столом, орёт:

– Да... да ты как разговариваешь со мной?!

– Как ты, так и я, – слышит Спирик.

За его спиной – солнечное окно. Уши у директора торчат красными крылышками. Горят, словно надранные. Очень смешно. Лиза хихикает. Спирик беленится:

– Да я тебя в подвале сгною!

– А я убегу! – заявляет Лиза. – В милиции навру, что ты плохо о Сталине говорил.

«Крылышки» разом меркнут. Переносица потеет, Спирик опускается на стул. Нижняя челюсть выползает из-под верхней, и рот выдавливает через губу:

– Пошла вон!..

Директор Лизу больше к себе не вызывает. Но с того дня она то грязную тряпицу в тарелке обнаружит, то в раздевалке располозованное пальто... Валенки в сушилке зачастую оказываются на полу... Всё это, конечно, не дело рук самого директора, но почему этого не происходило прежде?!

А на днях в её школьной сумке комиссия обнаружила табак...

Комиссия часто ходит по спальням – наводит шмон, пока ребята завтракают. Сам директор, кастелянша и кто-либо из воспитателей проверяют тумбочки, ощупывают подушки, ворошат матрасы...

А сегодня и ворошить ничего не пришлось. Достаточно было Спирику откинуть одеяло, как перед глазами комиссии предстала мокрой вся середка Лизиной постели...

Когда, уже сиротой, Лиза жила у бабушки в Татарске, она часто плакала, если видела на улице калек, которых всё множила, и множила война. Они сидели у магазинов, у киосков, на рынке... Пели жалобные песни. Особенно одну:

...А в ответ мне жена написала,
Что не нужен, калека, ты мне.
Мне всего только двадцать три года
И я в силах ещё танцевать,
Ты приедешь ко мне, как колода —
Только будешь в постели лежать...

Лиза слушала песни и мыслила такими картинами, которых сама страшилась.

Но и радоваться Лиза тогда умела. Особенно когда играла с рыжей дворнягою Каштанкой. У неё с собаками была взаимная любовь.

С подружками в «домики» она не играла. Но стоило им соорудить где-нибудь уют, Лиза брала котомку и шла «побираться»... Голос у неё был неплохой, и она при этом пела, как настоящая кусочница:

Мать, отец и дочь жили весело,
Но изменчива злая судьба,
Надсмеялась над малюткою —
Мать в сырую могилу ушла...

Но чаще всего Лиза сидела в избе за сундуком и шептала. Ей нравилось играть со вновь узнанными словами. Она собирала их на улицах, в очередях, по радио... Легко запоминала. Шептала и прислушивалась к их звучанию. Затем раскладывала по слогам, улавливала в частях иной смысл. Например, слово «коммунисты» в её толковании звучало «кому ни сты-дно» или слово «победа» толковалось как понятие «по бедам», или «революция» состояло из «рёва людского»...

Присказки, поговорки, песни увлекали её порядком сложения, созвучием окончаний. В этот животворный мир слов она пыталась внести и свою долю. Позже она напишет строки, которые определяют её судьбу:

...Здравствуй, лучший мир поэта!
Я явилась не гостить,
Не затем, чтоб кануть в Лету,
Жить в тебе! Тобою жить?

В детдомах Лиза разучилась и плакать, и смеяться.

И вот она стоит в спальне, куда приволокла её Нина Ивановна. Стоит у мокрой постели и шепчет. Ей хочется сказать, что до завтрака тут было сухо, но Нина Ивановна устроена так, что верит лишь плохому. И девочка спорит с нею в себе.

– Молишься, что ли, сочинялка хренова?! – орёт воспитательница. – У! Зассыха чертова! Неси матрас на улицу!

Но Лиза не торопится подчиниться приказу. Она думает, что ребята и хотели бы, может, сподличать, да не могли – все они были в столовой. И Нина Ивановна, похоже, ни при чём – вон как орёт! Но кто-то же налил столько воды, что и под кроватью сыро? Неужели сам...

А Спирик уже сидит в своём кабинете. У него уже собирается совещание. Он уже сильно уважает свою занятость.

По правую руку от него притихли истопник и завхоз, по левую – повариха и кастелянша, напротив – воспитатели. Нет среди них только Нины Ивановны. Её ждут. Но наперёд её врывается в кабинет Лиза. Она останавливается против Спирика и смотрит ему прямо в лицо. Она помнит из «Маугли», что всякий зверь не выносит человеческого взгляда.

И Спирик отводит глаза.

– Шакал! – громко говорит девочка и разворачивается уйти. Да на пороге сталкивается с Ниной Ивановной. Отскакивает от неё, как ошпаренная, и только потом исчезает за дверью...

Воскресенье. Но кастелянша на месте. А у Лизы опять разорвано пальто. Надо починить. Она никак не хочет ходить оборванкой.

– Ох, Лизавета! – говорит кастелянша. – Чё ж ты так... с директором-то обошлась? Не опасаясь нисколько... А он, у-ух! Злопамятный! А пальто чё у тебя... Сёдни-завтра... Драньё и драньё... Хорошо ещё, что сама чинишь... А мне и выходного нету. Поутру завхоз собирается в Татарку. Заодно и бельё на прожарку свезёт. Не то вши заедят... Надо всёшеньки сложить, сосчитать, записать... Успеть прожарить до бездорожья. А то, как весна возьмётся, тогда по нашей грязи и на тракторе не проползёшь.

Она говорит, говорит... Лиза от неё узнаёт, что завхоз в район отправляется чуть свет, что едет он в розвальнях, запряжённых детдомовской конягою Веркой. Что у него есть ружьё от волков.

Оч-чень хорошо!

В постель Лиза ложится одетой, но не спит. Наконец понимает – пора! Обувается в сушилке. В раздевалке её пальто висит первым...

И вот она уже торопится через тёмный двор. Пока никого поблизости нет, Лиза ныряет под узлы, уложенные в розвальни кастеляншей, и скоро слышит:

– Но-о, Верка! Поехали, родимая!

Я – дочь врага народа

Прожарка во дворе городской бани. От бани до вокзала – рукой подать, но это по главной, по Володарской улице. А там милиция! А в кутузке Лизе сидеть некогда. Она едет в Москву. Ей надо сказать прямо в лицо Сталину об отце, о матери, о Игоре Васильевиче... И пусть у неё на груди вспыхнет кровавая звезда. Лиза умрёт стоя! И она идёт татарскими задворками, где колдобины и рытвины такие, словно дороги подняты зимней вспашкою.

День пасмурный. На вокзальных часах около десяти. В зале ожидания сумеречный холод. А народу! – собака не проскочит, как бы сказала бабушка. В окно виден пустой перрон...

Лиза устраивается на полу, возле спящей старушки, и начинает себе кемарить. Она успокоена тем, что её могут принять за старухину внучку. В дремоте своей она идёт в Москву прямо по шпалам. Рядом с нею шагает Сталин. Она говорит, но голос её шумит речным перекатом. Сталин явно ничего не понимает, и она наскакивает на него с кулаками. Он отталкивает её от себя и гудит паровозным гудком...

Лиза просыпается. Люд вокзальный всполошён. Хватает пожитки. Всяк надеется опередить ближнего – поскорее вырваться на перрон, где стоит пятьсот весёлый...

У дверей давка. И девочка ныряет вниз – под ноги. Люди боятся воров. Оттого между полом и поднятым до животов скарбом довольно просторно. И девочка скоро оказывается на платформе.

Февраль сорок пятого. Поезд один, народу – тысячи! Все куда-то спешат. Большие ругаются, маленькие вопят, милиция орёт. Паровоз пускает пары. Снег идёт стеною...

И никому нет дела до того, что девочка лет десяти довольно ловко влезает на крышу вагона... Наверху она ложится ничком и шепчет:

– Поехали, што ли!

Наконец паровоз гудит, вагон дёргается. И сразу же навстречу ветер, дым вперемешку со снегом, стук колёс: та-та-та, та-та-та.

Скоро наваливается дремота. В голову западают слова бабушкиной песни:

...Ванька-ключник, злой разлучник.

Разлучил князя с женой.

...Ванька-ключник, злой разлучник.

Та-та-та-та, та-та-та...

Лиза не чувствует, когда поезд останавливается. Кто-то снимает её с крыши. Она плывёт куда-то. Потом оказывается в белой комнате. Там высокий милиционер в погонах спрашивает белого же старичка:

– Как тут наша Лягушка-путешественница?

– Слава богу, товарищ майор, – отвечает старичок. – Проснулась. Не обморозилась. Пусть немного побудет здесь. Посмотрю: может, простыла...

Девочка лежит на кушетке. Майор подсаживается, спрашивает:

– Что, красавица? Очухалась? Куда путь держим?

– Куда надо, – грубо отвечает Лиза.

– А куда тебе надо? – не обращает он внимания на её тон.

– К Сталину! – тем же голосом сообщает девочка.

– Вот как! – вступает в разговор доктор. – Я не ослышался? Тогда тебе следует сейчас лежать в Омске, а не в Барабинске. В другую сторону поехала, матушка.

«Матушка» не верит, майор поддакивает доктору:

– Да, да! Так оно и есть.

Лиза ни о чём больше не хочет говорить. Слезища сползает с её щеки на подушку...

Скоро майор опять навещает Лизу. Приносит булочку и стакан чаю. Просит её хорошим голосом:

– Ты, пожалуйста, подожди меня. Не убегай. Ладно? Поговорим. Ладно?

– Подожду, – обещает Лиза.

– Я тебя в гости домой приглашаю. Пойдёшь?

– Пойду.

У двери он оборачивается и сообщает:

– Меня зовут Ильёй Денисовичем. А тебя?

– Олей, – врёт Лиза.

Илья Денисович вскидывает брови, улыбается и выходит.

Потом они идут по вечернему Барабинску. Илья Денисович пытается узнать:

– Откуда ты взялась?

– Из детдома сбежала, – откровенно признается девочка.

– Что? Плохо там?

На этот вопрос он ответа не получает, но спрашивать продолжает:

– А до детдома ты чья была?

– Я? – глупо переспрашивает Лиза и, досадую на себя, выпаливает: – Я – дочь врага народа!

– Вот как! Ты об этом всем сообщаем?

– Не всем, – потише говорит она.

– Чем же я заслужил такое доверие?

– Вы? – уже шепчет Лиза. – Вы... Вы – как мой папа...

Майор долго молчит. Светит луна. Поскрипывает снег. Деревья в куржаке...

– Я прошу тебя, – наконец говорит Илья Денисович. – Прошу! Никому и никогда не говори об этом. Я думаю, что время твоё придёт...

Лиза последних слов не понимает, но кивает, соглашаясь.

– Ну вот, – сообщает Илья Денисович. – Пришли...

Дом его – это сени, кухня и комната. С порога кухни Илья Денисович кричит в комнату:

– Оля! Мы пришли.

– Слышу, – доносится ответное, и в кухне появляется Оля. Шаль на ней большая. Сиреневая. Волосы ото лба зачёсаны назад. На затылке собраны в узел.

Есть лица красивые, есть безобразные. А есть родные. О таком лице Лиза очень соскучилась.

Когда Оля подходит помочь ей раздеться, Лиза ловит её руку и на миг приникает щекой к ладони.

Тут же пятится к двери. Но Илья Денисович подхватывает её, приподнимает, велит:

– Страхивай пимы!

– Две Оли, – говорит за столом Илья Денисович, – как же мне вас называть?

– Оля-маленькая, Оля-большая, – советует Оля-большая.

– Так вот, Оля-большая, – обращается он к жене. – Пока ничего не делай. Уложи её спать. А утром в баню сходите...

Лиза быстро засыпает. Но скоро просыпается, детдомовские ребята всегда настороже. Они всё слышат. Слышит и Лиза. На кухне идёт разговор.

– Ты согласна? Девка что надо!

– Конечно! – отвечает Оля. – Мы же договорились.

– Вот и отлично! – бодро говорит Илья Денисович. – А оформить усыновление – это я берусь. Ты с нею утром поговори...

Лизе очень хочется остаться. Но ей нужно в Москву! Нужно... И утром Илья Денисович с большой Олею девочку в доме не находят...

Марфутка ничейная

И опять ветер. И опять снег. И паровозный дым...

На этот раз Лизу милиция высвобождает из уголка платформы, на которой уложен сосновый кругляк.

Идёт очередная облава.

Лизу ведут через железнодорожные пути к приземистому вокзалу. На его вывеске зелёным по белому написано, что перед девочкой всё та же самая станция Татарская.

В милицейской комнате, кроме неё, пацан и девочка лет шести. Девочку спрашивает сидящий за столом дежурный:

– Как тебя звать?

– Катя. Екатерина Антоновна Жихарева.

– Умница, – хвалит её дежурный и записывает ответ. – Как в беспризорных оказалась? – спрашивает.

– Я не оказалась. Меня лечили тут. В госпитале.

Девочка показывает до того спрятанные в рукавах руки, у которых нет обеих кистей.

Дежурный кричит, кашляет. Хрипло осведомляется:

– Отморозила?

Катя отвечает спокойно – привыкла отвечать:

– Фашист отрубил. Он хотел мою Поварёшку убить, а я спасла.

– Поварёшка – это кто?

– Кошка.

Дежурный клонится лбом на пальцы подставленной руки. Покачивается, бормочет:

– О Господи! Твою мать!..

Потом он глубоко вдыхает, отдувается и снова спрашивает:

– А родители где?

– Маму другой немец застрелил. Она того фашиста палкой убила.

А папа – лётчик! Он меня найдёт. Я уже вылечилась.

– Конечно! А то как же... А как ты здесь оказалась?

– Тётя Гуля тут живёт, у меня больше никого нету. Она раненых возит. Я из госпиталя к ней запросилась, а мне не разрешили.

Отпустили погулять. А я убежала. А меня поймали.

– Понятно, – говорит дежурный. – А где раньше-то вы жили?

– В Аксае. Под Ростовом.

– Умница. Всё знаешь. Молодец!..

– А тебя как зовут? – обращается дежурный к Лизе.

– Я всё равно обману, – отвечает та.

– Дело твоё... Как хочешь. Тогда я запишу тебя Марфуткой Ничейною.

Лиза не возражает...

В детприёмнике тесно. Почти все ребята спят по двое. Лизе определили кровать вместе с Катей. Ей велено, как старшей, помогать

бедняге. А то бы она прям-таки сама не догадалась! И вот уже две недели, как у Лизы нет возможности убежать. Она не в силах оставить Катю без своей помощи.

Железная дорога от детприёмника недалеко. И днем, и ночью, и теперь в сон-час Лизе навязчиво лезет в сознание стук вагонных колёс: та-та-та, та-та-та, ты-ку-да, ты-ку-да...

Катюша худенькая, беленькая, тёпленькая. Сестричка, да и только. Прижалась. Обняла Лизу культиями. Спит. Огромные её глаза прикрыты синеватыми веками. Под веками быстро-быстро бегают зрачки. Паровозный гудок гудит: в пу-у-ть...

Катя вздрагивает. Садится, будто не спала. Распахнутыми глазами смотрит на Лизу и вдруг говорит:

– Папа идёт!

– Ложись. Успокойся, – пытается Лиза уговорить девочку. – Это колёса стучат, – говорит она и тут сама слышит шаги по коридору. Решительные, не женские. Всё ближе.

Дверь распахивается. На пороге лётчик!

...Прошло три дня. Впечатление немного сгладилось. Но не для Лизы. Она тоскует.

Эх, Катя! Даже не попрощалась!

В детприёмнике нет школьных занятий. Ребята целыми днями болтаются сами по себе в пределах глухого, точно тюремного двора. Ждут распределения.

Лизе утром повезло стибрить у сторожа газету. Теперь она сидит на собачьей будке и читает. Хозяйка будки строгая, но Лиза её любит, и собака это понимает. Она рычит на сторонний голос, и девочка слышит, как воспитательница зовёт её:

– Ничейная! Иди сюда!

Лиза следует за воспитательницей в кабинет директора.

Там Катя. И её отец. Он указывает на дочь, а говорит Лизе:

– Она не хочет без тебя уезжать. Поехали с нами. Ты не спеши отказываться. Подумай. А мы завтра ещё придём...

Лиза растеряна. Воспитательница, твердит:

– Куда собралась, дура? Всю жизнь будешь ей трусы надевать...

И директор туда же:

– Он молодой, красивый! Если женится? Кто ты будешь для мачехи? Пришей кобыле хвост?

Однако Лиза упорствует, хотя понимает, что они по-своему правы.

В тот же день в детприёмник приносят документы о распределении ребят по детдомам. Лиза узнаёт, что завтра её направляют в Бердск.

– А Кате скажу, – обещает директор, – что ты опять сбежала...

Ну и что?

Июль. Вечер. Таёжная просека. На дороге две девочки. Одна из них – Быстрикова Лиза. Она шагает босиком – натёрла ноги. Шнурками связанные ботинки переброшены через плечо. Платье великовато. Голубые цветы на нём линялые.

Лизе скоро тринадцать, но ростом она не особо удалась. Другая девочка – Полина Польских. Она явно младше Лизы. И платье на ней поновей. И обувь не казённая – красные туфли.

Полина боязливо жмётся к Лизе, часто оглядывается. Лиза говорит ей:

– Перестань озираться! Она и не думает нас догонять. У неё с шофёром шуры-муры...

Но младшей не до увещеваний. Она хнычет:

– Есть хочу.

– Ну и что? – удивляется Лиза. – Терпи. У тебя первый детдом, а меня уже в шестой направили. Думают, что я с такой дали не убегу.

– А как ты убежишь? На машине и то два дня ехали.

– Это по грязи... Тут как пройдут дожди – чёрт ногу сломит, – бабушкиными словами говорит Лиза. – А посуху...

Она машет рукой, дескать, посуху ей пробежать от Кыштовки до Татарска – раз плюнуть. Но Полина противится:

– Шофёр говорит, что тут далеко. Двести километров с гаком!

– Я и без него знаю... Ну и что?

– Не убежать, – говорит Полина. – Поймают.

– Пусть тогда на себя пеняют. Сами будут рады от меня отделаться...

– В детдоме сильно бьют? – спрашивает Полина.

– Узнаешь, – отвечает Лиза и досадует: – Да не оглядывайся ты! Гуляет наша воспитуха...

- А если медведь?!
 - Ну и что? Сожрёт. А документы наши выбросят. И всё!
- Полина плачет.
- Не реви! – говорит Лиза. – Вон уже крыши видать. Пришли!

Дома в селе добротные. Захудалые избёнки редки. На чистой широкой улице ни собак, ни скотины.

Детдомовские ворота глядят на сельскую площадь, где стоит деревянная церковь без крестов, но с вывескою «Клуб».

Усадьба детдома огорожена заплотом из двойного горбыля. Централ, а не детдом! В плотных воротах прорезана калитка. Она заперта, Лиза стучит.

Тут же над забором вырастает лысая голова и спрашивает пацаньим голосом:

- Чё нада?
- Директора зови! – так же грубо отзывается Лиза.

Голова разворачивается во двор и кричит:

- Колька, позови Бульдога. Тут новенькие...

И сразу же поверху забора возникают, будто насаживаются, лысые головы. Они принимают язвить:

- Опять... Неделки-мокрощелки...
- Крысы навозные...

Покуда калитка медлит отвориться, девочки становятся и солёными мартышками, и общипанными курицами, и ещё чёрт-те кем.

В щель скупой отворенной калитки высовывается так-таки бульдожья голова. Нос у неё пяточком, щёки отвислые, подбородок до второй на рубашке пуговицы. Однако же голова не лает. Наоборот. Спрашивает задушевно:

- Вам кого, милые?
- Директора, – отвечает Лиза.
- Я – директор.
- А мы – новенькие.
- А где сопровождающий?
- Осталась в Кыштовке. Утром будет.
- А документы где?
- У неё.
- Тогда извините. Без документов я не имею права вас принять.

Калитка затворяется, и это вызывает в лысых головах улюлюканье. Подвернувшимся под руку камнем Лиза запускает в них. Головы осыпаются во двор...

Звучит голос горна.

– Это вечерняя поверка, – сообщает Лиза. – Скоро отбой.

Она идёт от калитки, поворачивает за угол забора. Полина плетётся следом. Хнычет.

– Подбери сопли! – со злостью говорит Лиза. – А то узнаешь, как в детдоме бьют!

Девочка затихает, а Лиза показывает рукой и говорит:

– Во-он густые лопухи. Пойдём туда. Спать охота.

Уже давно

Полина спит. Голова её покоится на Лизиных коленях. Ни комары, ни ночная прохлада, ни голод сну её не помеха. Лизе скучно и завидно. Со сном у неё с детства нелады... Малейший толчок или звук – его как рукой снимает! Странно и то, что в любой момент ночи Лиза способна без часов определить время.

Сейчас где-то половина первого. Ночь июльская. Не белая, конечно, но и не слепая. Тишина. Птицы, собаки, ветер – всё оцепенело. Разве что спросонья стрекотнёт в траве кузнечик. Или в близкой тайге крикнет филин...

Однако Лизу надо умудриться напугать. Она давно отбоялась. И всё же к ночи не прислушивается только дурак.

Девочке грезится, что она слышит, как по земле идут секунды: тик-так, тик-так, тики-таки, тики-таки...

Вдруг секунды сбиваются с ритма, и до Лизы доходит пацаний шёпот:

– Да я видел. Сюда они пошли!

– А если она загнала уже ботинки?

– Ты чё? Когда бы она успела?

– За них буханки две дадут!

– Чё две! Три будем просить.

– Четыре не хочешь?

– Тише ори!

– Да они дрыхнут без задних ног. По тайге-то пёхом шли...

– Давай тут посмотрим...

Лопухи шуршат всё ближе.

Лиза перекладывает голову Полины с колен на землю. Развязывает на ботинках шнурки. Зажимает в руках голенище одного башмака. Становится на колени. Ждёт.

Вот в проёме раздвинутого репейника белеет охотливое рыльце. Лиза подошвою ботинка изо всей силы лепит на него свою печать.

– Н-н-а! – говорит.

Пацан орёт, матерится. Зажимает морду руками и не может понять – на что напоролся.

Лиза не медлит. Она мигом седлает посягателя. Сцепливает босые ноги у него под грудью. Хватает за уши. Тянет на себя.

Пацан вопит. Валится на дорогу. Пытается кататься. Но всё без толку. Лиза давно научена всем воздавать по заслугам... Так что в очередной детдом она является не только с ботинками, но и с боевым опытом...

Пацан верещит так, что округа занимается собачьим лаем. Блеют по стайкам овцы. Гогочут гуси...

Через дорогу семенит старуха с огромной палкою. Лиза вскакивает, пинает пацана и кричит:

– Атас!

Тот подпрыгивает и пропадает в ночи. Старуха приближается с руганью:

– Каку холеру не подялили?

Она присматривается к Лизе. Спрашивает:

– Чёй-т тябе ня знаю, деука? Новенька ли чё ль? Ет не тябя ли Бульдог казенный ночевать не принял? А ишшо к детям приставлен! Паразит! А подружка иде твоя?

– Спит, – показывает Лиза на лопухи.

Бабка идёт к зарослям, сама говорит:

– Здорово ты Дяниску отбуздыкала! Тяперича дяржись! Ён в детдому за первого состоит. А ты яво к ногтю!.. Молоде-ец! Только ён подчиняться не привык...

У лопухов она отбрасывает в сторону палку, велит:

– Буди подружку-то. Айда ко мне.

– Она крепко спит. Не добудишься.

– Давай, што ля, на руках понясу.

Но Полина не спит. Она сидит у заплота и тихо плачет и говорит:

– Я тоже умею драться.

И все хохочут.

В доме пахнет мятой и полынью. На шестке, в чугушке, прикрытом сковородкою, горячие угли. От них в руке хозяйки вспыхивает лучина. От лучины – каганец.

Электричества в селе нет. На печном выступе лежит несколько коробков спичек. Но их, видно, экономят.

Хлеб, вареная картошка, молоко. Чего ещё?!

Потом овчинный тулуп по полу. Цветастые подушки – из каждой можно сделать перину. Поверх – лоскутное одеяло...

– Продрогли на росе, – приговаривает хозяйка. – Спитя ложитесь. И я туда же. А то рано вставать. Меня зовут Калиновной, – сообщает она уже в темноту. А Лиза вдруг вспоминает, что пацанов-то было двое! Один, видать, сразу смылся.

– Вот зараза! – шепчет она и засыпает.

Утром Лиза просыпается оттого, что Калиновна под лай собаки шумит во дворе:

– Ты пошто, сучонка, дятей одних по тайге отправила?! А ну, иди отселева! Куды прёшь?! Не дам девок будить! Пушай отоспятся.

– Столько времени меня машина ждать не станет, – слышит Лиза голос сопровождающей.

– Пождёт, не лопнет! Как в любовь играть – время есть! А тут приспичило... Пушай не ждёт. Ты и пёхом до Кыштовки отлупишь. Не барыня. Пошла, говорю, отселева! Щас кобеля спущу!..

Лиза потягивается под тулупом и улыбается.

Под шумок

Кастелянша – особа томная, причёска – белокурой волною. Но почему-то с именем Зухра Каримовна. Она выдаёт девочкам по платью и трусам – всё ношеное. Велит переодеться. Заодно со снятой одеждой забирает у Лизы ботинки. Говорит, что так они лучше сохранятся.

Выдаёт постельное бельё. Разводит новеньких по палатам: Полину – ко младшим девочкам, Лизу – к старшим.

В спальне десять кроватей. И опять круглая печь. И ночное ведёрко в уголке у двери. И прикроватные тумбочки – одна на двоих...

Кажется, что этот казарменный быт следует за Лизою из детдома в детдом.

Зухра Каримовна определяет ей место и удаляется на звонких каблучках. Лиза остаётся заправлять постель.

В тумбочку ей положить нечего. Ни зубной щетки, ни носового платка. Полотенце же следует вешать на спинку кровати – в изголовье. В это время кто-то входит в палату и за спиной Лизы говорит:

– В спальне положено находиться только во время сна. В постель ничего не прятать. Под кровать ничего не ставить. Отбой в десять часов, подъём – в семь. Баня – по субботам. На поверку не опаздывать! Меня зовут Клавдия Семёновна Гурьева. Я – подменный воспитатель! У вас – Мажаров Александр Григорьевич. Он болеет. А теперь освободи спальню!

Лиза выслушивает воспитательницу молча, не оборачиваясь. А потом видит у порога конопатую рыжую деваху – розовый нос пипкою, глаза – жёлтенькие пуговики. Губы оладьями.

Лиза проходит мимо. Ей очень хочется ущипнуть деваху за ляжку потому, что нельзя быть такою некрасивой. Но тут же она вспоминает горбатого Игоря Васильевича и заменяет лихое суждение верным: нельзя быть такой злою.

– И я – злая, – уже в коридоре шепчет Лиза. – Дяниску вон как отбуздыкала, – тихо пользуется она произношением Калиновны. – И ляпёху ету рыжую сразу невзлюбила. За что?

Продолжая рассуждать, она вспоминает Лидию Кронидовну – директора своего первого детдома. Та как-то сказала, что у Лизы вся порода такая...

– Какая? – спрашивает себя Лиза и слышит ответный вопрос:

– Глухая, что ли?

Лиза видит, что стоит у открытого окна. Корпус детдома построен буквой «п». Перед окном – внутренний дворик. Он пуст. Лишь светленькая девочка у подоконника. Она тихо говорит:

– Сёдни ночью пацаны собираются тебе тёмную играть.

Лиза знает, что тёмная – это когда со спины на жертву набрасывается матрасовка или одеяло, чтобы избиваемый не видел своих палачей...

На вечерней поверке Клавдия Семёновна выкликает:

– Толя Аверик!

Толя делает шаг вперёд и зычно отвечает:

– Я!

– Боря Астахов!

– Я!

– Лиза Быстрикова!

Лиза порядок знает.

– Я!

– Ещё шаг вперёд! – приказывает воспитательница. – И погромче.

Пусть ребята с тобою познакомятся.

Лиза шагает, оборачивается к строю, орёт что есть мочи:

– Я-а-а!

Становится очень тихо, и она говорит дальше, почти спокойно:

– Я – Быстрикова Елизавета Леонидовна. А кто собирается меня сегодня побить – выходи!

Никто не выходит, а воспитательница раздражённо велит:

– Встань в строй!

– Есть! – отвечает Лиза и занимает своё место.

– Коля Волков! – продолжается перекличка.

– Я!

– Денис Дроздов! Где Денис? Дежурный, отвечай!

– Болеет.

– Хорошо. Проверю! Нина Дроздова!

– Я!

– Павел Дроздов!

– Я!

– Боря Зевакин!..

И так до Юрина.

Потом – гимн! Потом – горн. И отбой.

Место Лизы в спальне оказалось рядышком с Машей Сушенковой, тою девочкой, что предупредила её о темной. Теперь Маша лежит в постели и шепчет:

– Их трое – Дроздовых. Нинка – в другой спальне. Она мочится. А потом меняет матрас у кого захочет. Если не дашь, то Пашка с Денисом отлупят.

Она замолкает – идёт обход.

В спальню входит сам директор, Клавдия Семёновна и сторож. Оказывается, что делать обход по одному они боятся: тёмную пацаны могут сыграть не только сверстникам. Некоторым из них близко к четырнадцати, но почти все – двоечники. У всех по три-четыре класса. Однако директор перед ними заискивает.

Директора хотя и зовут Бульдогом, но кличке соответствует лишь его физиономия. Иначе бы его звали Шариком, поскольку он чёрен, мал ростом и пузат.

После обхода корпус запирается изнутри. Директор идёт отдыхать домой – в казённый особняк, построенный тут же, на территории детдома... Сторож следует к воротам, где поставлена тёплая будка. Дежурный же воспитатель затворяется в кабинете директора и делает вид, что не слышит того, что происходит после отбоя между ребятами.

Так поступает и Клавдия Семёновна.

А сумерки сгущаются.

Кто-то из девочек идёт за дверь, но тут же возвращается и кричит:

– Атас!

Одеяла летят прочь. Откуда-то появляется палка. Она накладывается поперёк дверных косяков. Загодя приготовленной верёвкой, за ручку, дверные створки притягиваются к палке. Только продушина, на месте бывшего нутряного замка, остаётся зиять наружу.

А пацаны уже беснуются за дверью. Они матерятся и грозят в дырку:

– Катька, с-сучка, лучше отвори!

– Сонька! Лучше открой!

Чтобы заглушить угрозы, девочки начинают петь. Поют враздёр:

Атанда шла злая, и вдруг он упал

И, кровь унимая, упрямо сказал:

– Держитесь, девчонки, – вы смелый народ!

Держитесь покрепче, и враг удерёт...

Лиза узнаёт переименованную песню войны.

За первой песней следует другая, тоже переделанная из фронтовой:

Десять русских дочере-ей – дети русских ма-атерей,
Как сестры родные – друзья фронтовы-ые
Сражались за счастье подру-ужки своей...

Отчаянный ор наверняка слышен в кабинете директора, да и в особняке, да и у ворот. Но все оглохли.

Пацаны ломаются. Верёвка слабеет. Пошла в дело чья-то простыня. Но в дырку просовывается железный прут, выдернутый из кроватной спинки. Его конец раскалён. Мальчишки для этого растопили в коридоре печь. Простыня дымится! Воды нет! Девочки поочерёдно писают в ведёрко – заливают палёное...

Лишь рассвет унимает осаду.

А утром село узнаёт, что директор детдома заодно с белокурою кастеляншей Зухрою Каримовной ночью, под шумок, очистив все кладовые: американские подарки, на неделе полученные, и советское тряпье, – на детдомовской трёхтонке протемнили в неизвестность мимо в дугу пьяного сторожа.

Понаехала милиция. Сторожа арестовали, хотя он уверял:
– Это ж Бульдог меня до смерти упоил...

Однако ни Бульдога, ни его подельницы, ни Лизиних ботинок так и не нашли...

Штанодёр

Новый директор, волнуясь, то и дело подёргивает локотками, словно подхватывает штаны.

Цыганистый, матёрый Виктор Петрович, или попросту Цывик, воспитатель старших пацанов, живо отзывается на его нервозность:

– Ё-о! Штанодёр!

Цывик прибыл в село тоже не так давно. С исчезновением Бульдога занемог желанием стать главою детдома. Но прислали Синицкого Зяму Исаковича, и ему пришлось «выздороветь». Зато уж прозвище к директору пристаёт намертво. Покуда Штанодёр вникает в дела, продукты, что прежний директор не одолел умыкнуть, заканчиваются. Остаётся горох да овсянка. Да ещё чужие огороды.

Селяне знают, что детдомовские перемены чреватые вольницей... Однако ребятам ведом край. Покладистых они щадят – грабят с уважением. Жалобщиков не милуют.

Девочки редко «огородничают». Но на этот раз голод их вывел на чужие грядки. А хозяйка попадаетеся сутяжная. Она прячется в картошке, запоминает имена и утром докладывает директору.

На линейке Гукся, или всё та же Гурьева Клавдия Семёновна, выкликнет:

– Катя Мальцева, Поля Трапезникова, Лиза Быстрикова, Маша Сушенкова – после завтрака к директору!

Но девочек Штанодёр принимает лишь вечером. И начинается:

– А ваши отцы... А ваши матери... За Родину... За Сталина... А вы тут людей грабить!.. Воры!

– Сами вы... – громко говорит Лиза в спину туда-сюда ходящему по кабинету директору.

Тот останавливается. Вглядывается. Угадывает Лизу по глазам. Говорит:

– Ты, я смотрел, беспризорная у нас? Народ тебя пригрел. А ты?! Чем ты его благодаришь?

Ответа он не ждёт. Продолжает ходить и рассуждать. Он умудряется почти каждый звук ставить под нажим. При этом кивает головой и подёргивает локотками. Украдкою девочки подражают ему и хихикают.

– Смешно? – спрашивает он.

В это время звучит горн. Отбой.

Директор думает, вздыхает и говорит:

– Ночевать будете тут! Ничего не поделаешь, милые. Утром договорим.

Сообщая об этом, он запирает сейф и стол. И дверь.

Штанодёр, похоже, знает уже сельскую легенду о том, что бывший хозяин теперешней детдомовской усадьбы – лесопромышленник Колыванов – удавился на чердаке своего дома. Прямо тут. Над нынешним кабинетом директора. И до сих пор якобы ночами хрипит он в петле и стонет...

На дворе ни ветра, ни грозы. Но старый дом потрескивает, подрагивает, шебуршит...

Лиза остальных девочек постарше. Да ещё и Дениса Дроздова отбутузила. И подружки жмутся к ней. Она бодрится. Даже пытается рассказать что-либо некогда прочитанное.

Но тут на чердаке действительно кто-то начинает стонать...

Девочки забиваются под стол. А Лизе бояться нельзя.

Форточка оконная большая, но высокая, подоконник узок.

Лиза ставит у окна стул. Велит девочкам подниматься на подоконник, затем ей на плечи и оттуда – в форточку. На волю.

Оказавшись во дворе, девочки отбегают к столовой, которая стоит поодаль от корпуса, среди берёз детдомовской роши. Лиза присоединяется к ним последней и говорит:

– Я поняла: это мальчишки на чердаке... А Штанодёру надо отомстить.

– Ка-ак?!

У кухни прижилась бездомная кошка. Она ютится под крыльцом. К ребятам привыкла и легко выманивается из своего убежища.

Прямо руками, в нужнике, девочки густо мажут несчастное животное. И вот оно уже пущено в кабинет директора.

Чуть брезжит рассвет. Видно, как бедная кошка беснуется. Поют петухи. Девочки бегут к реке – отмываться.

Река Тара. Этот берег крут. А за рекой до урмана заливные луга. Тайга болотистая. Васюганье. С этой же стороны сосны подступают прямо к селу. До них нужно пройти только улочкой.

В лопухах похрюкивает чей-то поросёнок. А девочки голодны. Их оставили даже без нищенского ужина. Однако поросёнок визжит, и девочки суют его в бочку с дождевой водою. Дальше тайга и предвкушение сытости... Но выпущено из виду, что ни огня, ни ножа, ни соли нет... К тому же девочки быстро заплутали. Они так и не сумели выбраться из урмана до вечерней темноты. Поросёнка выбросили – завонял. Сами забрались на старую черёмуху, устроились и затихли.

Лиза видит во сне отца. Вернее, только его сапоги и брюки-галифе. Надо всем этим голос отца и его смех. Смех какой-то чужой, трескучий.

Голосом Маши Сушенковой отец внезапно кричит:

– Медвежата!

Лиза просыпается и видит под черёмухой двух пестунов. Значит близко медведица! Лиза слетает с черёмухи, прямо в крапиву, следом за нею падают девочки...

Как? Каким путём?! Но через полчаса блукари уже в селе...

Не было бы счастья...

Лиза, видимо, летела из тайги впереди остальных. Оттого село уверилось, что именно она и вывела подружек из лесу.

Те не возражали. Наоборот: прилюдно стали доказывать ей, будто она бежала и пела.

Однако Лиза этого не помнит.

Денис Дроздов тоже не спешит поверить в её песню. И шестеркам его не по носу такая её заслуга. А вот Штанодёр не спешит наказывать Лизу за своё посрамление. Оттого Денис и его подпевалы кучкуются по углам, перешёптываются.

А навоз обычно в куче загорается...

И пяток пацанов со своим поводырём тем же полуднем (да как бы вот те раз!) на пороге двух узких коридоров сходятся с Лизою.

Тонкая резиновая трубка с маху врывается ей в лицо и опять взвивается, чтобы перекрестить его тем же путём. Но Лиза взлетает за трубкою следом, перехватывает её в полёте и успеваает весом тела вырвать хлыст из руки только теперь увиденного ею Дениса.

И всё! Дальше Лизою опять ничего не помнится. Но, судя по рассказам ребят, она хлещет перед собою настолько ярко, что успеваает снабдить своим ответом не только зачинщика.

Но кто-то со спины вырывает из её рук орудие мести. Пацаны кидаются вон – на улицу. Однако Лиза успеваает настигнуть последнего, подставляет ему подножку. Тот летит зубами вперёд и с маху «целует» порог.

Тем поцелуйщиком оказывается Пашка Денисов. Пашка сидит на полу, плюется кровью, а воспитатель Цывик удерживает Лизу за шиворот. Он говорит Пашке с презрением:

– Хорьки вонючие! Одну девку не могли одолеть.

Пашка поднимается. Левою рукою Цывик даёт ему подзатыльник.

– Пошёл вон! – говорит.

Затем в обратном направлении толкает в загорбок Лизу и велит:

– Ступай к доктору, вояка. Пусть рожу-то пластырем залепит.
Лиза послушно идёт в дальний конец корпуса. Там медкабинет.
Глуховатый старичок-доктор в бородке и красивых позолоченных очках. Лизе кажется, что глядит он на неё со страхом.
– Кто это вас, голубушка, разукрасил? – спрашивает он.
Лиза отвечает:
– С берёзы упала.
– Да, да, да! – как бы соглашается доктор. – Ну что ж. Все падают.
Тогда садитесь, уважаемая.
Лизу смешит такое обращение, но смеяться больно.
Доктор садится напротив, осматривает ссадину. Сам говорит:
– Познакомимся поближе. Меня зовут Игорь Васильевич.
Лиза таращит глаза, которые наливаются слезами.
Доктор беспокоится – больно?!
Он пытается ваткою промокнуть слезы и повторяет:
– Ну вот! Ну вот! Чего это ещё? Тебя, кажется, Лизою зовут?
Подумать только! Лиза! Внучка у меня тоже Лиза. В Новгороде осталась. Теперь уж такая же большая, как ты. Десять лет я её не видел. А теперь ещё пять лет высылки. За что? – размышляет он и спохватывается, говорит: – Выходит, голубушка, что и я, как ты, сирота.
И опять Лизе смешно, и опять больно: сирота с бородкой!
Но она сообщает почему-то шепотом:
– А папу моего расстреляли. Но тут я считаюсь беспризорной. Он любил меня. И мама любила. Она жить не захотела. А ещё меня любил директор школы. Его тоже Игорем Васильевичем звали. Он мне книги давал читать и не велел никому говорить, что я дочь врага народа. А потом и его забрали. Прямо с урока. А потом я убежала из того детдома. И отсюда убегу.
– Давай вместе убежим, – предлагает доктор.
Лиза таращит на него глаза, а Игорь Васильевич просит:
– Не убегай. Пожалуйста! Будем друзьями...

Вот тогда...

Кто-то из ребят подбирает Пашкин выбитый зуб, цепляет его к ниточке. Отдаёт эту забаву шкетам. Малыши носятся гурьбой, трясут

подвескою – тешатся.

Мальцов обижать в детдоме не принято, их мало. К тому же каждому из них покровительствует кто-либо из более старших ребят. Защитить своего дошколёнка – дело святое.

Был бы этот зуб выбит в достойной драке, издёвки бы не последовало. А тут – иная роль. К тому же многие пацаны подхихикивают малышам. Всем надоели Денисовы прихоти.

Одним словом: досталось воронам – аж перья по сторонам!

Однако же и драный ворон не станет клевать зёрен: хоть бросово, да мясово!..

На другой день Штанодёр вздумал-таки чинить расправу. На заточение девочек больше, правда, не решился, но определил: кому столовую мыть, кому баню перед субботой скоблить, кому погреб чистить.

Лизе досталось наводить чистоту в огромном детдомовском коридоре.

На дворе август – день отменный! Окна настезь. Лиза моет, а Пашка Дроздов швыряет с улицы землю.

Девочка прячется в простенок и ничем не отвечает. Пашке непонятно: здесь ли она?

Лизе видно, как он, отражённый в стекле окна, крадётся до подоконника – заглянуть в коридор.

Половою тряпкою Лиза хлещет шкодника по лицу.

Словно чёрт из коробочки, из-под окна выскакивает Денис.

Он, видно, и подстрекал младшего брата на пакости.

Денис летом прыгает через подоконник. Но Лиза умудряется кинуть мокрую тряпку ему под ноги. Тряпка скользит под ногами. Они спешат уехать вперёд, а хозяин юзом на заднице не отстаёт.

Денис проезжает мимо Лизы. Та хватает его за уши. Волочит в воспитательскую комнату. Она уверена, что ни Пашка, ни прочие огольцы туда не последуют. Они не знают, что комната пуста.

Лиза молчит о том, что же творилось тогда в комнате воспитателей. Но и без того ясно: штаны на Денисе оказались без пуговиц, рубаха изорвана. А ободранное его лицо наконец-то внушило пацанам, что с Быстриковой лучше не связываться. В драке она бешеная!

Но дело тем не кончилось. Надорванное Денисово ухо, укушенная рука гноятся и краснеют. Цывик ведёт его к доктору.

Игорь Васильевич осматривает раны, спрашивает:

– Тебя что, собаки рвали?

Денис молчит.

– Неужели волки?!

– Какие волки? – злобно отвечает Денис.

– И я так думаю, – очень серьёзно говорит доктор. – Следы не те. Ну-ну-ну! Ай-я-яй! Теперь понятно! Наверное, ты очень постарался кого-то попросить. Вот он тебя и обслужил! Молодец! – непонятно кого хвалит доктор...

Ухо бантиком не обвяжешь. Пришлось накладывать повязку через голову и шею. Из Дениса получился этакий Щорс! Игорь Васильевич на прощанье наказывает ему:

– Будь здоров, герой! Ступай. Да постарайся, чтобы другое ухо уцелело.

Денис, огрызаясь, поднимается уйти. Но входит директор и кладёт ласковую руку на свободную от бинтов макушку пострадавшего, спрашивает доктора:

– Как мы тут?

– Жить будет! – получает резкий ответ. – Только если и дальше станет полагать, что он боевитее всех, не ушей – головы не сносит!

Штанодёр, однако, не соглашается:

– Нет, Игорь Васильевич! Нет! Я думаю, что Денис у нас скорее рыцарь, чём хулиган. Он просто пожалел девочку. Потому и поддался. А вот с Быстриковой дело сложнее. Видите, что вытворяет? По-моему, девочка не в себе.

– Вот как? – удивляется доктор и говорит Денису: – Ступай-ка, парень, отсюда. Ступай, ступай!

Сам провожает «парня» до порога, ждёт, когда тот скроется, затем обращается к директору.

– Зиновий Исакович! Какое у вас образование?

– Ну! Допустим, что я – снабженец. И что?!

– Снабженец, а берёте на себя смелость заниматься диагностикой. Да к тому же в присутствии мальчишки.

– Боже упаси, – нежно отмахивается Штанодёр. – Я пришел посоветоваться.

– Насчёт чего?

– Нельзя ли дать направление на обследование. В психбольницу?

– Кому? Вам?

– Не стоит дерзить, – мягко предупреждает Штанодёр. – Я имею в виду Быстрикову Лизу.

– Но у меня нет для этого никаких оснований.

– Уверен! Будут!

– Вот тогда мы и вернёмся к нашему разговору.

Гороховый бунт

С подачи Штанодёра Денис воображает себя рыцарем.

– У меня рука не поднимается на слабачку, – выгибается он перед ребятами.

А те сдуру делают вывод, что Денис влюбился.

И потекла река с потолка...

Денису больно хочется доказать, что влюбился он не безответно. Да только Лиза, по его словам, сучка замороженная, не хочет подавать вида.

Однако ребята начинают подсмеиваться, отчего Дениса всё больше разбирает суета...

А детдом между тем бедствует: продукты всё ещё не завезены. Сельсовет немного наскрёб по дворам муки, но хватило её дня на три. И опять горошница да овсянка.

Штанодёр ездит в район. Район даёт указания колхозу. Председатель колхоза разводит руками. И опять – район. И опять – обещания: потерпите.

Но терпение на пределе.

Вот и сегодня. Ждали обещанный обоз. Да вновь утёрлись, не умывшись...

С тем и спать легли.

Лиза обычно просыпается далеко до зари. Все знают, что она сочинительница стихов. Только никто никаких условий создавать ей не собирается. Считают блажью. Писать нечем, не на чем и негде.

Приходится всё запоминать наизусть. Потому короткий сон для Лизы – подарок. Вот и опять она лежит – шепчет:

В тёплом сене хрустком...
В свежем сене хрустком...
В мягком сене хрустком
Тёплая постель.
До чего ж по-русски
Плачет коростель...

Две последние строки явно пришли свыше. Она не знает, что такое коростель. Нужно хорошо запомнить, чтобы утром спросить об этом доктора, который сильно уважает её пытливость. А он у Лизы, будто справочник, всегда под рукою, поскольку живёт в своём кабинете.

Отвлекает Лизу от мыслей запах пирогов. Поначалу ей кажется, что она грезит с голодухи. Но запах настойчив...

Лиза поднимается, влезает на подоконник. Выглядывает в форточку. Думает, что обоз прибыл и что повариха уже печёт пирожки. Но в детдомовской кухне темно. Виден свет лишь в доме директора.

Окно в спальне закрыто наглухо. А форточки большие, но высокие, однако Лиза одолевает эту высоту...

В ночной рубашке она крадётся через двор.

Детдомовские собаки – Булька и Черныш – ластятся к ней в темноте.

В доме Штанодёра на окнах плотные занавески. Только поверху их яркие полоски света. Его хватает, чтобы рассмотреть во дворе недоколотые дрова. Лиза выбирает чурку подлинней. Катит её до окошка. Ставит на попа. Влезает. И видит над кухонным столом висячую керосиновую лампу. Электричества в селе нет. У стола недорослая пыхтунья – вся в очках и жировых складках. Это жена Штанодёра – Оксана Сёмовна, по кличке Лягуха. Она собирается ставить в духовку заполненныйстряпнёю противень. А на столе уже полное решето пирогов. Даже с улицы девочке понятно, каковы они получились! О таких когда-то Лизина бабушка говорила:

– Эко тесто выстоялось! Хоть под голову клади!

Рядом с пирогами тазик муки.

Лизе ясно, что мука именно та, которую сельсовет собирал по дворам для детдомовцев...

Дело правое! Тут даже Денис и тот не отстаёт от ребят.

Человек семь подростков крадутся в предрассветной темноте к директорову особняку. Они прихватывают во дворе поленья. И не только стёкла, но и рамы оконные трещат и крошатся...

В минуту вся мука развеяна, тесто разляпано, пироги расхватаны. Лягуха в ужасе...

Как только лампа над столом осталась висеть нетронутой?!

Уже во дворе Денис шепчет:

– А Штанодёр-то на печке лежит. Я видел. Давайте вернёмся...

– Нет! – протестует Лиза. – Хватит!

А её слушаются.

Во время завтрака все ребята налицо. Но никто не ест. В железных мисках горошница. Вдоль стола прохаживается злой Цывик. Он строжится, но напрасно.

Толя Аверик, на правах самого громкоголосого, коротко говорит:

– Директора!

И получает от Цывика затрещину.

Разом взлетают ложки, лупят по столешнице, сопровождая грохотом ребячий скандёж:

– Ди-рек-то-ра! Ди-рек-то-ра! Ди... Шта-но-дёр-ра! Шта-но-дёр-ра.

А вот и Штанодёр! Входит из кухни в столовую, дёргается и обещает:

– Потерпите, голуби. Ну, сегодня – обоз!

Ему не дают договорить! Чашки с горошницей летят со всех сторон. Цывик напрасно пытается их перехватывать.

Стены, пол, потолок уделаны напрочь. А ребята не унимаются...

Но «боеприпасы» заканчиваются, директор отирает морду от варева и вопит:

– Зачинщика – ко мне!

Цывик дело знает. Цывик выхватывает из оравы Лизу. Волоком тащит её по двору. Такого ещё никогда в детдоме не было.

Ребята обескуражены.

Денис делает вид, что и для него это неожиданность...

Сдача

В кабинете директора два окошка – на восток и на юг. Дверь – на запад. На север – глухая стена. У стен редкие стулья, для совещаний и нечастых посетителей. Письменный стол отстоит на метр от угла, что находится между окон...

Лиза, прижавшись, стоит у глухой стены. А Цывик даёт совет взволнованному директору:

– Зяма Исакович, шли бы вы домой. Переодеться. Я тут управлюсь и один. Без свидетелей.

И Штанодёр исчезает.

Дверь за ним запирается на шпингалет. Окна задерживаются шторами. Цывик здоровый, крепкий – дубы ломать! С ним в селе ни один парень не связывается. Ремень на его брюках и того крепче. Он растеривает его, вытягивает из петель. Говорит Лизе:

– Раздевайся!

На девочке простое платье, косынка и панталоны – голубые, до колен.

– Раздевайся!

Лизе тринадцать лет. Уже обозначились титёшки. Она стесняется даже девочек.

– Ну! Кому говорю!

В детдомовской бане, на стене, висит старое зеркало. Лиза иной раз в него заглядывает, но мельком. Собственная нагота её почему-то гнетёт.

– Ты что! Оглохла?!

Цывик швыряет ремень на стул, силой вытряхивает девочку из одежды. Лиза пытается кусаться. Но удар по голове о стену вышибает её из силы...

Лицо её обмотало платьем. Руки за спиною – затянуты косынкою... Пинаться мешают спущенные штаны.

Цывик, точно цыпленка, тащит её за стол, бросает в угол, который с улицы ниоткуда, не просматривается... Дыхание воспитателя прерывистое.

«Сейчас будет лупить», – думается Лизе, и она притихает. Ждёт удара. Но воспитатель медлит. Чем-то шебуршит. Слышно –

опускается на колени, упирается ими, голыми, Лизе в бок и принимается водить по её телу чем-то упругим и тёплым. Оно пульсирует, как нарыв.

Девочка понимает, что творится с нею непотребное: ей противен и сам Цывик, и его теплота. Она начинает выворачиваться, но тем прерывистой и страшнее дыхание Цывика.

И всё-таки ей удаётся перевернуться на живот. Цывик всю тяжестью валится на неё... Скрежещет зубами. Дёргается, подвывает утробно, дико...

Лиза от тяжести задыхается. Пытается задом выползти из-под него. Платье сползает с головы. От Цывика несёт почти так же, как в тайге несло от пропавшего поросенка...

Он перестает дергаться. Отдувается. Теперь Лиза боится даже пошевелиться – не повторилась бы тяжесть.

Вдруг Цывик подскакивает, поддёргивает свои брюки и торопится развязать ей руки.

Лиза быстро заползает в угол, прикрывая наготу скомканным платьем, видит на Цывике незастёгнутую ширинку, в щель которой выпирает бугорок, прикрытый подштанниками.

Цывик перехватывает её взгляд, суетливо прячет бугорок и, застёгивая гульфик, обещает, что завтра принесёт Лизе конфет.

– Одевайся! – заканчивает он свой посул приказом и выходит за дверь. Но дальше порога его шагов не слышно.

Лиза надёргивает трусы, платье. А косынка, загаженная чем-то вонючим, липким, остаётся лежать на полу. Шторина от окна тут же летит в сторону, но Лиза не успевает даже взлететь на подоконник. Цывик ловит её со спины, шепчет:

– Пикни! Убью!

– Пошел на х...! – орёт изо всех сил Лиза.

Он хлещет её по губам так, словно не он, а она оставила в углу за столом измазанную слизью косынку. Затем он хватается со стула ремень...

Странно, однако, Лиза не чувствует боли. А морда воспитателя плавится потом. Нижняя челюсть выдвинута ящиком, глаза разбежались на стороны...

Если душа у человека живёт в его глазах, то она у Цывика в это время ослепла. Но кто-то со двора бьёт кулаком по оконной раме.

Воспитатель замирает. Покуда он входит в себя, за окошком уже никого нет. Однако Лиза успевает рассмотреть там лицо Толи Аверика.

В изоляторе побелка, потому Лизу уложили в спальне. Доктору Штанодёром сказано, что девочку исполосовали ремнем ребята... Дескать, мстили за влюблённого в неё Дениса Дроздова.

Денис тем доволен. Пацаны же супятся и молчат. Лиза тоже молчит. Она теперь хорошо понимает, что с Цывиком шутки плохи.

Подружки то и дело забегают в палату – не столько навестить Лизу, сколько пошутукаяться о случившемся.

А Штанодёр в это время укоряет Игоря Васильевича:

– Вот видите, доктор. Если бы вы дали Быстриковой направление в лечебницу, этого бы не случилось. Представьте себе, она даже матерится! И не только на ребят!..

– Да, да, да! – не спорит доктор. – Конечно! Во всем виноваты супостаты, а мы только розги подавали... У Лизы, понятно, есть отклонения, но явно не ваши. То, что она пытается защищаться, я полностью одобряю. Уж простите меня...

Разговор идёт за дверью спальни, где, кроме Лизы, ещё несколько девочек. Он слышен дословно. Однако подружки столпились у порога. Когда же, в золотых своих очках, Игорь Васильевич появляется в комнате, гурьба рассыпается. Доктор подсаживается к Лизе, манит к себе девочек, говорит:

– Послушайте.

И начинает читать наизусть:

Пахнет дымом и навозом,
Куры квохчут у плетня,
Хороводятся берёзы
В звоне мартовского дня.

Снег парует ли на крыше,
Воробьи ль дерутся в прах —
От восторга у мальчишек
Небо плавится в глазах!

На дворе телёнок пегий
Юбку бабкину жуёт,
В нетерпении телега
Колесом о землю бьёт.

Ночи день сегодня равен —
Пляшет солнце на сосне,
И колодезный журавль
Поклоняется весне!

Доктор замолкает, и все молчат.

Лиза поражена: всего один раз она прочла Игорю Васильевичу своё стихотворение. И вот... А доктор уверяет девочек:

— Когда-нибудь вы станете гордиться тем, что жили рядом с автором этих строк!

В центре огромного детдомовского коридора горит всего лишь одна керосиновая лампа. Она стоит на подставке, крепко вбитой в простенок. По обе стороны от лампы двери спален.

Полночь.

От входа в коридор медленно, почти неслышно идёт Цывик. Он сегодня дежурит. Тень его, поначалу огромная, размытая, с каждым шагом укорачивается, вырисовывается. Под лампою она почти пропадает. Затем снова начинает приобретать прежние очертания.

Но тут за спиною Цывика летящим из спальни ботинком сшибается с лампы стекло, огонь гаснет. И разом в темноте кто-то валится воспитателю под ноги, кто-то пихает его в спину. Он падает. Его хватают за ноги, за руки. И вот уж он барахтается в натянутой на него матрасовке. Скинуть её невозможно — держат.

Палками, ногами ли, обутыми в ботинки, Цывика лупят по голове, по рёбрам, по коленям... Бьют свирепо, долго, молча — со знанием дела... Пока он не затихает в мешке...

Утром по селу говорят, что Цывик в темноте сорвался с чердачной лестницы. Ему на крыше якобы чего-то показалось в темноте. И только один Штанодёр узнал от него истину. Он долго рассматривал матрасовку, кое-где испачканную пятнами крови. Но она оказалась ничьей. Её ребята сперли в изоляторе...

Мажай

Прошли сутки. На дворе непогода. Сегодня Цывик должен быть на работе. Но его нет. Похоже, ребята полной мерой оценили позавчера его воспитательские «заслуги».

Однако же Лизу в кабинете директора он долбанул головой о стену основательно.

– Сотрясение не из лёгких, – печалится Игорь Васильевич и, уходя из спальни, не велит ей вставать, девочек он просит не больно тревожить её.

Самое время сочинять. Но Лизу подташнивает. Какие уж тут стихи... Думается лишь только об одном, что на этом дело не кончится. Потому нужно бежать!

А в чём?

Тёплую одежду в детдом так ещё и не завезли. А через неделю – школа.

В детдоме есть ребята и постарше Лизы, но учатся неважно. И она сама – не ахти. Но ей всё-таки удаётся каким-то путём закончить шесть классов. Предстоит седьмой. В шестой класс идёт Аверик Толя. Остальные ребята – не больше четвертого. С ними, скорее всего, учителя будут заниматься прямо в детдоме.

Для Лизы кастеляншей уже приготовлена пацанья гимнастёрка, пошита юбка из чьей-то старой грубой шали, и сорокового размера ботинки.

Но у Лизы печаль не о школе – о том, что не в чем бежать. Если Цывик решит, что она смирилась, то, чего доброго... Таиться и изворачиваться Лиза не умеет. Она не Денис, который шестерит перед воспитателем так, что Лизе кажется, будто они оба воняют, словно та косынка на полу, что была оставлена ею в кабинете директора.

Почему он так уж извивается? Почему?

Лиза не успевает додумать. Кто-то из пацанов что есть мочи орёт во дворе:

– Мажай! Мажай идёт!

Она знает, что ребята зовут Мажаем воспитателя старшей группы девочек – Мажарова Александра Григорьевича, которого она за три недели пребывания в детдоме ещё не видела.

За криком следуют суматоха, топот и ликование.

Лизе хочется туда, но слово Игоря Васильевича для неё свято.

В спальню входят всей гурьбою. И мальчишки тоже.

Если равнять Цывика с Мажаем, то сказать бы следует так: велик пожар в ночи, но хлеб пекут в печи...

Не о том ли самом говорит Лизе и рука Александра Григорьевича. Он лишь пальцем проводит по рубцу на тоненькой шее девочки, но этого хватает, чтобы в душе её на всю жизнь затеплился огонёк живой доброты.

Каждому из ребят тоже хочется его особого внимания, словно перед ними святой Петр, одним прикосновением исцеляющий ото всех недугов.

Лиза, однако, не из назойливых. Она смущена. До ушей натягивает одеяло. Но ребята угомониться не в силах. Шумят. Радуются.

– Довольно! – говорит Мажай. – Пошли обедать.

Он выходит из комнаты последним. С порога оборачивается. Улыбается. Затем морщит нос и помаргивает обоими глазами.

Ни с того, ни с сего Лиза повторяет то же самое. И оба смеются.

Оказия

Седьмой класс. Русский язык преподает благовидный Корней Михеевич. Как и Игорь Васильевич, он тоже сосланный. Поговаривают, что у него учился сам Ленин. Хотя вряд ли.

Всякий раз, когда накануне бывает сочинение, Корней Михеевич журит Лизу:

– Тебе, голубушка, опять две оценки: пятерка с плюсом и тройка с бо-ольшой натяжкой. Ошибок много.

А сегодня он просит ещё и пояснить:

– Ну почему?

Лиза ростом пока не вышла. Сидит за первой партой. Перед столом учителя. Поднявшись, оправдывается:

– Я, когда пишу, даже тетрадку не вижу. У меня перед глазами одни только картинки. Как в кино. За меня будто кто-то другой пишет...

– О врать!.. – басовито восклицает Дюймовочка. Он же Сёмка Буслаев – остолоп и прожора. Сын колхозного счетовода... За то, что в седьмой класс им сделан третий заход, а под его тяжестью уже

потрескивает парта, Сёмка обретает прозвище Трёхдюймовый. Затем из этого образуется просто Дюймовочка.

Школа терпит Сёмку потому, что его отец всякий раз умоляет учителей позволить сыну до армии окончить хотя бы семилетку.

С начала учебного года Сёмке взбрело в голову поухажерить вокруг Лизы. Он даже умудрился занять место за второй партой. И стал донимать избранницу идиотскими шутками...

Тут с одной стороны Сёмка досаждаёт, а тут ботинки с ног сваливаются – ноги до пола не достают. Вот Лиза и надумала ставить ботинки во время урока под сиденье. Чулки тоже большие – кастелянша свои отдала. Резинок нет. Приходится подвязывать верёвочками, которые постоянно сползают. Всякий раз нужно подтягивать. А как? Юбка длинная, толстая. Попробуй её незаметно приподнять.

Если ко всему этому прибавить ещё и мальчиковую гимнастёрку, и лысую голову, то чем она для обалдуя не пара.

И вот Корней Михеевич вызывает её к доске, а ботинка одного под сиденьем нет. Дюймовочка ухмыляется. Он пока ещё не знает, что Лиза никогда понарошку не дерётся. В руке ж её уже зажат второй башмак, который с маху да со всей силы да подошвою прикладывается к наглой ухмылке. Странно опять, но девочка видит перед собою лицо Цывика и хлещет ещё:

– Нарвался хряк на хохряк... – восклицает кто-то в классе.

А Корней Михеевич говорит спокойно:

– Оставь его, Лиза. Хватит. Ну что поделаешь: не выделила ему природа желания быть не хуже других...

В школу и обратно Лиза ходит с Толей Авериком. Вернее, бегаёт.

Хотя в бахилах сорокового размера не больно разбежишься. Однако мороз подгоняет уже основательно.

К седьмому ноября теплую одежду в детдом наконец-то доставили. Только валенки где-то зацепились за чью-то конторскую душу.

А вот и конец месяца. На Таре остались только скудные полыньи.

Деревенские пацаны уже всю рыбу съели. Снега ещё маловато. Лёд почти оголён. Самая пора кататься. Но детдомовцы вынуждены даже до ветра ходить на ведерко. Уборная далековато для разутых ребят.

Путь в школу и обратно идёт мимо яра. Минуту-другую Лиза с Толею задерживаются над крутизной, сожалеют об уходящей радости, затем бегут в детдом на обед.

Порядку этому обычно ничто не мешает. Но сегодня у ворот стоит Виктор Петрович. Он ловит Аверика за шиворот, а отскочившей в сторонку Лизе говорит:

– Ступай в кастаньянную. Валенки привезли.

Лиза торопится во двор, хлопает калиткою, но далеко не уходит.

– Так што?! – слышит она голос Цывика, обращённый к Толе. – Всё уверяешь ребят, что сам видел?

– Что я видел? – недоумевает Толя.

– А то, что я вроде бы лупил ремнём Быстрикову.

– А, что ли, нет?

– У-у! – будто одобряет воспитатель его прямоту. – Ну, если ты такой герой, может быть, и в том сознаешься, что это ты мне тёмную организовал?

Аверик не отнекивается, говорит о том же самом, только с другой стороны:

– Я знаю, кто вам сексотит.

– Ну-ну! Вот как? Это хорошо, что знаешь. Тогда приходи после обхода в игровую. Там и поговорим. А теперь ступай за валенками.

В словах воспитателя Лиза улавливает уже знакомую ей нотку, для девочки она прозвучала тогда, когда Цывик сказал ей – раздевайся.

Теперь эта нотка крепится быть доверительной, да только ласка её столь напряжена, что готова лопнуть, будто пузырь, согретый гнилым болотным теплом...

Получены валенки. Отошёл обед. Сделано домашнее задание.

А Лиза никак не может отделаться от беспокойства. Там и ужин, и отбой. Тревога лишь нарастает.

Обходом по спальням идёт сам Штанодёр со своим липким вниманием – каждого похлопать, погладить, одеяльце подоткнуть. За ним следует Цывик с фонарём, поскольку керосиновые лампы держать по спальням небезопасно. Шествие замыкает Гукся. Она сдаёт дежурному Цывику ребят – поштучно.

Фонарь покачивается. Неровный свет падает воспитателю на лицо. Оттого чудится, что их у него несколько.

Обычно Лиза засыпает разом. Сон её недолог, но глубок. Об этом знают все. Потому Штанодёр её не трогает – идёт мимо. И хорошо делает, Лиза только притворяется спящей. Но сейчас её лучше не тревожить. Как осиное гнездо...

Наконец деловая тройня покидает комнату. Скрипит половицами дальше. О чем-то переговаривается, удаляется и затихает вовсе.

Потом слышно, как за директором и воспитательницей затворяется выходная дверь, и теперь Лизе остаётся только дожидаться шагов Аверика, чтобы тайком последовать за ним и, в случае чего, поднять кипеж.

Дверь в игровую комнату расхристана ребятами до того, что и запертая ходит ходуном...

Аверик медлит. Видно, ждёт, когда в их спальне уснут все ребята. Лиза уверена, что он не из трусливых. К сожалению, она не ошибается.

Минут через пять после его шагов Лиза поднимается, надёргивает платье, босая выходит в коридор.

И тут же со спины на неё кем-то набрасывается матрасовка, чья-то рука зажимает ей рот. Сбитая с ног, она падает и по полу едет в другой конец коридора. Вот её перетаскивают через порог. Волокут дальше. Похоже, что в изолятор.

Там по щиколоткам, заодно с накрывой, стягивают ей чем-то ноги, но она ухитряется найти в ветхой матрасовке дырочку, просовывает в неё пальцы, рвёт и успевает схватить кого-то за руку. Один палец в темноте хрустит. Раздаётся девчоночий визг. Топот ног быстро удаляется, оставляя за собой звук запираемой на ключ двери.

Лиза освобождается от простыни, которой спутаны её ноги, сбрасывает матрасовку, ломится в дверь в надежде, что глуховатый Игорь Васильевич услышит её.

Доктор просыпается. Но он слишком стар, чтобы спросонья сразу понять происходящее.

Пока одевается, пока топотит до изолятора, пока суетится туда-сюда за ключом... Да ещё пытается удержать Лизу, чтобы уяснить случившееся, девочка понимает, что опоздала со своей помощью. Но она даже представить себе не может – насколько!

Худое споро – творится скоро...

Дверь в игровую комнату открыта. Цывика там нет. Чуть видный в темноте Аверик сидит на полу. На нем лишь трусы. О побоях вид его не говорит. Но поднимается Толя с трудом и так же идёт опираясь на руку доктора. Лиза следует за ними. В коридоре, при свете лампы, она видит на трусах Аверика тёмное пятно и понимает, что это кровь...

Аверик лежит в изоляторе. Лизу доктор туда не пустил. Возле Толика на тумбочке зажжена лампа... Игорь Васильевич не отходит от него ни на шаг.

Скоро, не скоро появляется Цывик. Худенький доктор буквально вытесняет его за порог. В крошечной тьме приврачебной комнаты он кричит надрывным шёпотом:

– Кроме вас, никому! Кроме вас, никому!

Цывик поначалу робеет. Начинает ответно врать, тоже тихо:

– Я у сторожа был. Это пацаны...

Однако глуховатый доктор слышит его и требует уточнения:

– Што это? Што это?! Не шельмуйте ребят! Откуда бы вам так скоро узнать, если это они?

– Денис сказал, – оправдывается Цывик, но доктор не хочет слушать его и говорит уже громко:

– Завтра же буду у прокурора!

Цывик не находит ничего другого, как только огорошить доктора своей наглостью:

– Аверик ничего не скажет...

– Я скажу! – звучит из дальнего угла нарочито грубый голос. Воспитатель в темноте прётся туда. Но наскакивает с разлёту на кем-то боком положенный табурет, падает через него, ругается и оттого не слышит шлёпанья удирающих ног...

Утром Цывик сдаёт дежурство Мажаю. При них при обоих в кабинете директора Игорь Васильевич, то снимая, то надевая очки, требует от бледного Штанодёра немедленной отправки больного в районную больницу.

Оправдывая свою нерешительность, Зяма Исакович бормочет:

– Поймите же меня. Машина нужна...

Не так давно в детдоме была полуторка, но её умыкнул прежний директор. Осталась пара лошадёнок, да в тайге уйма волков – нагнана в Сибирь недавней войною. Обозом и то ходить небезопасно.

– Можно попросить в колхозе, – предлагает пребывающий в неведении Александр Григорьевич, который тут же исчезает за дверью.

Колхозная контора от детдома наискосок – через площадь. Пока идут в кабинете препирательства, Мажай возвращается и говорит:

– Обещают машину. Только надо часок подождать.

Игорь Васильевич сам приносит Авериду одежду и валенки.

– Собирайся потихоньку, – просит он и торопится снова к директору – требовать в дорогу одеяло и тулуп. Затем он спешит в кухню, поскольку за суетою забыл снять пробу.

А ребята уже направляются завтракать. Идут строем, хотя от корпуса до столовой пять секунд пробежки. Шагают они раздетыми – в столовой нету вешалки.

Калитка в недалёких воротах по утрам обычно бывает незапертой, но только для персонала. К ребятам же и посторонним людям она глуха. Но её глухота для пацанов – не предел. И нужно бы в детдоме держать отдельного работника, чтобы успевать приколачивать к забору доски, отрываемые ребятами. Но Дюймовочка буквально врывается во двор детдома через калитку. Глазищи белые. Орет:

– Аверик утопился!

Ночью падал снег. С яра видно, что на льду, возле промоины стоят новые Толины валенки. К ним следы есть, обратных следов нету...

Тюрьма

Какая уж тут школа? Какие уроки? Вся деревня, весь детдом на яру. Но дальше обрыва бабы ребятишек не пускают – у промоины тонок лёд. До майны опускаются только Мажай, да председательша колхоза, да Игорь Васильевич.

А Штанодёра нету. Ему прямо у столовой сделалось плохо – упал. Сейчас с ним отваживается Гукся.

Бабы над обрывом толкуют:

– Каво теперича смотреть? Каво выстаивать? Парнишонку, поди-ка, уже за излуку утянуло.

– Понятно, что боле не высунется.

– Ну и фатя стоять. Пошли!

Следом за бабами понуро плетётся Лиза. А те продолжают судачить:

– Как ён только сумел под лёд-то поднырнуть? Тут же воробью по колено.

– С колен, похоже, и подсунулся. Иначе никак...

– Во допякли бедолагу!

– И чё ж у них в детдому-то деетсяя?

– Чё деетсяя! Тюрьма деетсяя!

– Господи! Господи!

Бабы идут мимо деревенской церкви, с которой давным-давно снят крест. Зато теперь над папертью ликует новенький плакат. Всех, белым по красному, он призывает на выборы. Писал плакат Цывик. И портрет Ленина, что висит теперь над бывшими Царскими воротами, тоже он сотворил, чтобы выслужиться перед начальством – готовится в партию.

– Пфу! – плюется одна баба на призыв и говорит безо всякой опаски: – И на хрена мне эти выборы? Бандиты в бантиках...

Другая баба осекает её:

– Никитовна! Не хляшши языком по ветру, а то и нас ослюнявишь...

Сегодня в детдоме за порядком никто не следит. Потому старшие девочки посмели собраться в спальне. Только одна осталась у двери на вассере.

Между порогом и кроватями достаточно простора, чтобы стать кружком. В центре кружка – Нинка Дроздова. У неё на руке разбарабанило палец. Орёт, что ночью свалилась с кровати. Однако Лиза требует от неё правды. Глаза, позы ожидающих покаяния напряжены.

– Говори!

– Нинка упорствует.

Кто-то от нетерпения толкает её в спину. Она оборачивается, но получает сзади ещё толчок...

И вот уже нещадные руки мечут её по кругу. Ни устоять, ни свалиться не дают. Подхватывают, швыряют...

Ни синяков, ни ссадин. Однако Нинка уже не Нинка, а мешок с мякиной...

– Аганда! – кричит караульная в приоткрытую дверь. Нинке дают упасть, и она торопится уползти под кровать.

Через минуту входит Мажай. В спальне полный порядок. Девочки же сидят у крайней постели на полу. Головы склонены. Они тихонько поют:

Горит костёр дрожащим пламенем,
Там беспризорные сидят.
Они смеются по разгару,
Как будут дальше проживать!

Там беспризорная девчонка
Склонила голову на грудь —
В тоске по матери родимой
Не может, бедная, уснуть.

Мы беспризорные девчонки,
Мы не боимся никого.
Пускай счастливые смеются —
Нам, беспризорным, всё равно...

Мажай стоит, не двигается. Даёт девочкам допеть и молча уходит. А Нинка из-под кровати говорит:

– Денис велел Быстрикову скараулить. Цывик приказал...

Она выкладывает все, что знает. Но знает мало. Причина Толиной смерти ведома, пожалуй, только самому Цывику да Игорю Васильевичу.

Правила в детдоме строги: за правду не бьют. Потому Нинка спокойно выбирается из своего укрытия. Девочки ощупывают её руку. Переглядываются. Двое хватают её за плечи, одна с силою дёргает за палец. Нинкин вскрик уже не имеет значения.

В селе не дождалось ни тебе милиции, ни тебе поминок. Какие тут могут быть утопленники, если выборы на носу?!

Однако Игорь Васильевич всё-таки добирается до районного прокурора. Но тот рассуждает так:

– Утонул и утонул... Поскользнулся. Чего ты передо много бумагами своими трясешь?!

– А где мне ими трясти, в областной прокуратуре?

– Попробуй! Тебя на первом же перекрёстке арестуют. Забыл, что ты ссыльный?! Возвращайся в село и скажи спасибо, что я такой добрый.

Но в село Игорь Васильевич не вернулся.

Лишь весною бабы, бравшие в тайге лук-слизун, углядели на ветке шиповника его позолоченные очки. Остальное, по их словам, растянули по урману волки.

Пожар

Зима, вечер, темно, безлюдно. Село таёжное. Урман вековой. Заплоты высокие. Смолистые поленницы дров вплотную ко дворам стоят годами. Не приведи господи пустить пал...

Церковь – другое дело. Дворы перед нею расступились и принизились, точно в поклоне. А она хотя и обобрана, и щербата, и взамен колоколов звонит над нею вороньё, а всё достойна поклонения, как опальный герой. Можно в ничто обратить её тело, но не превосходство!

Лиза вольна в своём вечере: ей позволено посещать сельскую библиотеку. Ей не хочется возвращаться в детдом. Сегодня будет ранняя вечерняя линейка. Будут говорить о завтрашних выборах и о том, как хорошо жить детям в Советском государстве.

Лиза идёт по темной улице и думает, что завтра её дежурство по кухне, что она умеет запаливать в печке дрова так, чтобы они разгорались и быстро, и медленно. Лиза вообще любит смотреть на огонь. Её удивляет то, что в махонькой спичке живёт пожар. У Лизы в кармане целый коробок пожаров. Не зря же она только что побывала у Калиновны. На печной уступочке у той было четыре коробка спичек, теперь осталось три. После девочка намерена покаяться перед хозяйкою, но не теперь...

Построение в детдомовском коридоре в две шеренги, Лиза успевает на него. Керосиновая лампа немощна. Огонёк её дрожит. Двери комнат открыты – спальни проветриваются. Окна спален расположены против дверей. За окнами – палисадник. За палисадником – сельская площадь. На площади – церковь, метрах в пятидесяти от детдома.

Лиза первой замечает за окнами блики. Она подталкивает локтем соседа. Тот смотрит на проблески, соображает и орёт:

– Пожа-ар!

Шеренги рассыпаются. Ребята у окон. А огонь уже веселится. Но прежде чем для ребят закроется выход из корпуса, Лиза успевает одеться и выскользнуть на погоду.

Мороз. Безветрие. Хорошо гореть!

Церковь будто ждала избавления от опалы. Пылает с придыханием и треском, будто смеётся над завтрашними выборами. Пламя закручивается в столбы. Несёт свою радость к небу...

Сегодня – суббота. Банный день. Люди собираются, но с заминкою. Да и понимают они, что тушить припоздали. Подходят неторопко. Стоят без шапок. Крестятся. В глазах ужас и восторг.

Только мокроголовый Цывик в накинутах на гольную рубаху полушубке ошалело кидается на селян, хватая того-другого за грудки, требует действий. Да председательша колхоза спотыкается за ним следом. Ещё не стоит спокойно двум партийцам...

– Горит-то как! Весело горит! – восторгается кто-то в толпе. – Заодно с портретом горит!

И Цывик спохватывается, что пора спасать Ленина. Он бросается к двери, чтобы сорвать замок. Но пылающая балка валится с крыши на папёрть. Под общее «ах» Цывик успевает отскочить. А Лиза вспоминает то, как однажды в Татарске собака выскочила из-под колёс полуторки. Тогда девочка радовалась...

Горящее бревно становится вдоль двери.

Отчаяние Цывика неподдельно. Полушубок с него летит на снег. Он снова бросается на приступ двери. Но вторая балка ниспадает с высоты и укрепляется перед первой – крест-накрест!..

После, потом приезжая комиссия авторитетно заявила селянам, что в деревне есть враг, что никакого небесного чуда и быть не могло. Вроде бы тем, кто задумал такое преступление, загодя были подпилены церковные балки, да так умело, что они легли перед входом горящим крестом.

Однако Виктора Петровича в партию не пустили – за недосмотр.

И всё...

Перед Новым годом в детдоме появляется медичка. Она прислана из Новосибирска. Тоненькая славяночка. Сестрица Алёнушка.

Смурной после партийной неудачи Цывик немедля оживляется. Начинает пошучивать... Зато в глазах Мажая появляется вопрос: а как же я? Штанодёру и тому захотелось солидничать не в меру. Даже сторожа у ворот зацветают вослед ей улыбками да судят:

– Малость суховата. А так – о! Так – Елена Семёновна!

Когда же на Новый год Елена Семёновна входит в зал Снегурочкою, всем представляется, что сказка ожила.

Всем, но не Лизе. Сказка сказкой, а Елена Семёновна смертна. Девочка уже уверена, что её надо оберегать от проруби. Хорошо ещё, что сестрица Алёнушка поселилась в доме охотника Череды, а не в своём кабинете, как бывший доктор. Не то, пожалуй, Цывик и ночами не давал бы ей прохода.

– Куда прёшь? Бык племенной! – остопил однажды Цывика у своих ворот таёжник Черета... – Будешь мне тут ядрами трясти, я тя живо приструню!

Черета – медвежатник. К тому же войну насквозь прошёл... немногим старше Цывика, но Алёну принял за дочку. О Цывике же, которого село побаивается, говорит:

– Сволота, она лишь потемну скирда, а на свету – солома...

Однако же Лиза откуда-то знает, что промедление смерти подобно! В напряжении своём она видит ещё и то, что Мажай от любви оглох, ослеп, ошалел. Лиза бы могла рассказать ему тайны свои, но его самого впору спасать. А ещё девочка видит, что у Алёнушки веки всё ниже, губы плотней. И все же она замечает стороннее внимание:

– Лизонька, – спрашивает она как-то, – что ты мне хочешь сказать?

Если бы этот вопрос был задан ею наедине... С ходу-то Лиза, может, и сумела бы найти нужные слова. Да и чего их искать? Они есть! Они не дают покоя. Только не идут на язык. Но голову кружат:

Подстрелили оленуху на заре;
Тяжко стонет оленуха на траве;
Облака плывут как льдины в вышине;
Воробей тихонько плачет на сосне;
Волк матёрый завывает на ходу:
– Потерпи немного – скоро я приду-у...

Елены Семёновны сегодня на работе нет – болеет.

А на дворе – Благовещение. Оно пришлось на будний день.

Занесённое снегом церковное пожарище теперь вытаскивает огромными головнями. Пожилые селянки черноты этой вроде бы и не видят. По святым дням они сходятся к пожарищу, выводят голосами тоненькие молитвы, крестятся туда, где видят душою церковные маковки. Для них Божий дом будто очистился пожаром от унижения и ожил невидимо для пустых глаз. Вот уж теперь вовеки ему не быть опалённым!

Калиновна стоит тут же. Рядом с нею соседка её Олесиха. Лизу ждут уроки, но ей по душе святые речитативы.

– Ирод! Господи, прости! – слышит она от Калиновны, которая разом и молится, и разговаривает с соседкой.

– Ишь-ка ты вот! Кот из дому – мыши в пляс... Да приедет Царствие Твое...

– Не успел Черета с лесом сровняться, ён уж побёг бедну девку донимать...

– От сатана! – отзывается Олесиха. – Прости ты меня, Богородица, на худом слове!

– Ишёл бы, сучий кот, до Федоськи Рябой. Та бы и за козла бы заползла... Не слушай ты меня, Царица Небесная.

– На-а вот! – не принимает Калиновна соседкиных слов. – Разбьжалси! Ага! До Фроськи? Чё ему падалик-то всякий собирать? Яму ж надо то яблочко, которо на высоте держится...

– Оборвёт девку паскудник! А может, свататься подался?

Но Калиновна досадует на Олесихину наивность:

– Свататься... От сватов прятаться...

Школа забыта... Ночной мороз ещё не отпустил дорогу, но уже сыровато. Весна ранняя. Солнце жаркое. Но Лиза этого не замечает. Она летит напрямиком. Пятистенок охотника Череды на самом краю села.

Утро больно яркое. В тёмных сенях с улицы сразу ничего не разглядеть. Лиза наскокивает на пустое ведро. Падает. Сумка с учебниками летит в сторону. Запертая избяная дверь обшита войлоком. Стук получается никчёмный. Лиза подхватывает ведро. Колотит им о косяк до той поры, пока дверь не выставляет перед нею знакомую, свекольного цвета, рожу. Лиза с маху лупит ведром по этой красноте. В страстях она не видит, что ведро старое, в зазубринах...

Цывик ошарашен. Но Лиза не в себе. Она повторяет удар. Цывик хватается за щеку. Рука в крови. Он успевает и нюхнуть ладонь, и отбить ею очередной удар. Накинутый на нём пиджак при этом распахивается, и перед Лизою отворяется его не застегнутый гульфик.

Содержимое, покрытое подштанниками, выпирает знакомым бугорком...

Лиза отшвыривает ведро, хватается рукою за тот курганчик так, чтобы Цывик не вырвался. Тот орёт. А Лиза пятится через сени на улицу. У Цывика от боли не хватает, знать, силы ударить девочку, и кажется, что её руку разожмёт только смерть!

Где же было старенькой Калиновне угнаться за девочкой. Она вбегает во двор тогда, когда весь театр оказывается уже на крыльце. Но и старушке требуется минуты две, чтобы осознать происходящее. Спасибо Олесихе: пособила расцепить Лизины руки...

А потом? Потом до самой ночи, от дома к дому, село взрывается хохотом. Только один таёжник Черета ничего не знает. Домой он возвращается лишь под утро.

– Не спится? – устало спрашивает он квартирантку. – Али всё болеешь? Пройдёт, успокаивает.

Черета немногословен, как все таежники. С последними словами он вешает ружьё на стенку, с ними ложится, с ними засыпает.

Тут же просыпается. От выстрела.

Алёна лежит на полу, в своей комнате. Крови почти нет. Только дырочка под левой грудью...

Ехай!

Лизы нет в детдоме. Лизы нет и во всём селе. И вот уже двое суток Лизу ищут в тайге – не находят.

А у Калиновны здоровенная собака, у которой не конура – особняк. Его косматая хозяйка снюхалась с Лизою ещё с осени.

Играя с собакой, девочка иной раз прячется в будке и велит себя охранять. Тогда псина ворчит на всех, кто оказывается вблизи. Равно и на Калиновну. Похоже, понарошку.

А сегодня она даже уши прижимает, даже скалится.

– Сдурела! Тя чё холера разбирает? Уж не оценилась ли? Когда успела?

Она намеревается заглянуть в будку, но косматая пятится, закрывает задом пролаз, щетинит загорбок.

– А то! – догадывается Калиновна и скоренько несёт из дому полную миску варёной картошки да со сметаной.

Сама же затаивается в сенях – подсматривает.

Собака не кидается на угощение. Она позволяет высунуться из конуры Лизиной руке, чтобы втянуть посудину вовнутрь. Лишь когда наполовину опорожненная чашка выставляется обратно, собака подходит к ней.

– Вона! – подтверждает Калиновна свою догадку, приближается до конуры, хлопает ладонью по её крышке, шепчет ласково: – Уже все дворы проискали – не явятся боле. Вылезай давай. Пошли в избу. А там чё ни чё придумаем.

Лиза выползает на свет помятая, зачуханная...

Неделей из Новосибирска приезжают родители сестрицы Алёнушки: однорукий солдат-отец и полуслепая от слез мать. Следующим утром гроб вывозят из могилы, а чуть позже Калиновна сообщает Лизе:

– Лежит прям живёхонька! Кровя из-под носишка чуток выступила – родню чует. Сёдня аккурат девять дён. Поминки будут в детдому справлять. После повезут до самого Барабинску на колхозной машине. Ею Никиток управляет. Он мне родня по мужу, по Ивану. Хо-ороший парень! Я об тябе открылась Никитку. Поскольку тебя уже никто не ищет – согласился взять с собою. Как соберутся ехать, ён подвярнет машину до нас. Ты в кабину к яму и ныряй. Если чё, плямашкой зовись. А тут тебе – каюк! Витька угробит, как пить дать...

– Давай, милка, – говорит она, когда под окошком её дома останавливается колхозная полуторка, в кузове которой над невидимым из окна гробом сидят в тулупах Алёнины родители. – Узелок со снедью не забудь, – напоминает Калиновна.

– Ехай! – торопит она Никитка, когда Лиза прячется в его кабине. Вослед ей она творит крестное знамение и шепчет: – Господь тебя храни!

Часть 3. И всё-таки – жить!

Кричи, душа...

Никиток ночью доводит грузовик до Барабинска, тормозит у вокзала. Тут гроб с сестрицей Алёнушкой должен быть перегружен в товарный вагон.

Когда же Никиток спохватывается, Лиза уже стоит во дворе дома не забытого ею майора милиции – Ильи Денисовича.

Дверь дома не только заперта, но и заколочена горбылями. Зато сараюшка во дворе – настезь.

Хозяева, видно, скотины не держивали – подстилки на полу никакой. Зато в углу сусек без крышки, в котором старый половик. На нём Лиза и сворачивается калачиком...

Просыпается от холода.

Апрельская ночь. Тихо. Даже собаки не брешут. Лиза выбирается из ларя и бредёт, чтобы согреться, по тёмным улицам...

На пути сквер со скамейкой. Лиза укладывается, закрывает глаза.

Снится Татарское болото, где стриженные камыши расходятся ровными аллеями.

Лодка с нею сама собой скользит по воде, правит на поперечную прогалину, по которой слева движется деревянный крест. На нём – тёмный Христос! Он держит правую руку на сердце. Левую поднимает и опускает, при этом светлеет. Повторный взмах – и вновь темнота! Лодка торопится прочь...

Лиза уже – на берегу! Перед нею особняк. Её окружает мелкая ребятня. На берегу, в белом балахоне – Христос! Он грозно лает:

– Эй, девка! Просыпайся!

Лиза подхватывается на скамье. Пожилой милиционер держит её за шиворот. Молодой унимает собаку.

– Пусти! – дёргается Лиза в руках пожилого. – Не бойся, не убегу...

В отделении Лиза выкладывает, что её вынудило пуститься в бега. Усмешек нет. Значит – верят. Детдома она не называет, а то вернут. Никто и не настаивает. Всем понятно – не назовёт.

Начальник за столом загибает пальцы:

– Май, июнь, июль, август... Четыре месяца до учебного года...

Велит тому же, молодому, милиционеру:

– Оформи её беспризорной. В показательный! А куда ещё?! Потом – в ремесленное...

Когда перед Лизою поднимается корпус образцово-показательного детдома, она осознаёт: здесь вольницей и не пахнет. Такая ухоженность, такой порядок достигается лишь полным подчинением!

Лиза – воробей стреляный! От неё не скроешь язвы под лощёной улыбкою директрисы Софьи Николаевны.

Беспокойство её понятно: привели... бродяжку без бумажки... А что, если этой шпынде опять захочется свободы?! Побег воспитанника пошатнёт авторитет детдома!

Поэтому к новенькой с ходу приставлены караульные: кокетливая Роза Вуйнич и прыщавая Валя Плесовских.

Последнюю ребята зовут Пельдускою. Она привыкла – отзывается.

В спальне, в столовой, в туалете... Надзор несокрушим!

Лиза вспоминает бабушкин рассказ о том, что и ей когда-то приснился Господь. Он образовался тоже по левую руку...

– Плохой сон, – сокрушалась тогда бабушка. – Бог должен находиться справа, а слева – рядится нечистая сила!

Оба сна оказались в руку: тогда был арестован Лизин отец, а теперь вот – полный надзор за нею...

И ещё Лиза помнит бабушкины слова:

– Тебе два года исполнилось, когда Лёню забирали; Шура держала тебя на руках. Она так закричала, что у тебя ножонки отнялись, мочиться взялась под себя... А когда ножонками-то пошла, в тебе лунатик обнаружился...

Лиза помнит, когда пошла, помнит, как в семь лет её от лунатизма заговаривала какая-то старушка, а вот ночным недугом страдает хотя и крайне редко, но до сих пор.

Однажды она сбежала из детдома только из-за этой напасти...

А в показательном детдоме, где тревога перед комиссиями принуждает воспитателей шмонать по тумбочкам, по школьным сумкам, копаться в постелях воспитанников, Лизу охватил страх ночи!

Такого кошмара не испытывала она ни в одном из пройденных ею детдомов.

Нервы не выдерживают, и организм выдаёт свою тайну. Лиза становится изгоем!

Ею брезгают. От неё отворачиваются. Только поэзия щадит её...

Но писать негде и не на чем! Надо запоминать. А это, по сути, тот же сомнамбулизм! Её отсутствующий взгляд, неверные ответы, непонятный шёпот, даже неопрятность... Так даются Лизе стихи:

Паутиною серебряной ночь волос заплетена;
Холку стёр Пегас оседланный; смотрит жалостно луна...
Эх, поэзия, поэзия – жизнь несётся кувырком!
Ну, чего же ты нарезала опохмельным языком?
Где твои дворцы высокие – жалок мир твоих лачуг.
Я мечтала взвиться соколом – мокрой курицей квохчу.
Обещала песни жаркие – панихиду завела.
В ночь волос рукою жалкою паутины наплела.
На задрипанном Пегасушке сыромятная узда...
И грозит мне вслед погаснувшим палкой-факелом звезда.

Странно то, что после мокрой ночи страх покидает Лизу. Потому, знать, и не повторяется она. Но ребята уже заражены своим превосходством – не желают считать её равной. Для всех она – зассыха, идиотка, неряха...

А к ней приходит интерес – изображать из себя дурочку: ответно «лыбиться», будто над нею шутят, а не издеваются.

Её даже занимает то, как ребята «выгибаются» перед нею.

На краешке её сознания проявляется подозрение, что Небо к людям снизошло ограниченной массой духовной силы. И только за терпение человеку дозволено брать по заслугам от этого сокровища...

Вымысел такой ставит перед Лизою многое на свои места...

Но бывает, накатывает на неё такая безысходность, что появляются подобные строки:

Кричи, душа, на перекрёстке быта,
Там, где собака истины зарыта.
Да только не забудь, сходя с ума:
Ты от природы, словно смерть, нема!

Сюрприз

Комната в ремесленном училище обставлена пятью солдатскими кроватями.

Ехидная Роза Вуйнич, прыщавая Валя Плесовских, вертлявая Гурьева Галя, простушка Люда Угланова и рохля Быстрикова Лиза вселены в одну комнату, поскольку прибыли из одного детдома.

Группа слесарей-сборщиков – СБ-9, а там и всё ремесленное училище (только не в первый день) узнаёт, что в числе первокурсниц имеется зассыха!

Конец августа.

По форме пришиты подворотнички на синего сатина платьях. К чёрным беретам прикреплены эмблемы – серп и молот. Петлицы рабочих бушлатов и парадных шинелей украшены металлическими буквами – РУ-14. Ноги девчат в хлопчатобумажных чулках и кирзовых ботинках...

Под надзором выбранного старосты первого сентября группа «чижииков» (так зовут ремесленников горожане) шагает в учебный корпус.

Уже выучена маршевая песня:

Мы рабочей армии резервы —
Нет преграды силе молодой!
Вперёд мы идём
И с пути не свернём!
Нас ведёт комсомол боевой!
Над о, над Обью широкой!
Над си, над синим Алтаем.
Пусть пе-есни, как пти-ицы,
Как птицы летят!
Пусть край наш любимый,
Пусть Родина знает
Про сла-авных сибирских,
Сиби-ирских ребят!..

Строем – в столовую, в баню, в кино... Второкурсники уверяют, что такая муштра – только первое полугодие.

Чем кормят в столовой? А тем, на что Господь смотрит и плачет. Утешает одно: и весь рабочий люд в эти годы не жирует.

В учебном корпусе группу встречает классный руководитель, он же математик – Наум Давыдович Субботин, который с ходу объявляет девочкам, что Наум по-еврейски значит – пацан толковый.

Похоже, он лукавит насчёт еврейского толкования своего имени, но «пацан» действительно толковый, поскольку всё училище увлечено математикой.

Предметом, но не преподавателем.

В быту Наум – человек одинокий и выглядит много старше своих двадцати шести лет, поскольку неухожен и постоянно пахнет горошницей.

А у девчат – пора любви!

Относительно же математика – эта возрастная химия ни в какую реакцию не вступает. Женское чутьё подсказывает им, что Наум – всего лишь учитель.

Ему же самому хватает месяца, чтобы вникнуть в суть каждой ученицы.

Одного не может он понять: как общаться с нестандартной Быстриковой Лизой, чтобы не оказалась она в глазах девчат и того нелепей...

Казарменный уклад общежития никому не позволяет в свободные часы находиться в спальнях. Для того имеется красный уголок. А заболел – в изолятор. Хочется побыть одному – перебьёшься!

Какие уж тут стихи?! Да и бумаги нет. И писать нечем. Домашние задания делаются в учебном корпусе – коллективно.

Лизе остаётся надеяться на память: бродит лунатиком – шепчет, шепчет...

Водят в кино, один раз в две недели. Дорога идёт мимо книжного магазина. Лиза в строю – последняя. Есть возможность улизнуть.

И вот заведующая магазином уже позволяет ей навести порядок в кладовушке.

Странная штука – счастье: для него иной раз достаточно блокнота и карандаша. Но дома карандаш нечем зачинить, приходится грызть.

Роза Вуйнич ехидная, но не подлая, Пельдуска – всякая. Заражённая в детдоме слезкой, в училище она становится хроником.

Поколотить бы её, но у Лизы на девчонок никогда не поднималась рука.

А тут Пельдуска видит в красном уголке Быстрикову, которая склонилась над блокнотом. Подкрадывается со спины, читает:

Ведут уголовного,
Ведут уголовного!
А люди, как струи
По склону пологому...

– Ой-ё-о! – трубит на всё общежитие. – Стихи-и! Хи-хи-хи! Стихушка нашлась...

У Лизы было одно прозвище, «зассыха» – появляется второе. Оно доходит до ушей Наума Давыдовича.

С математикой у Лизы были крепкие отношения. Наум, никогда не вызывавший её к доске, вдруг приглашает:

– Быстрикова, умная дурочка... Прошу...

– Стихи, говорят, пишешь? – спрашивает он и признаётся: – Я тоже балуюсь. Выходит, что мы с тобою – собратья по перу? Может, прочтёшь? Ну, нет так нет... А я, позволь, проверю себя на твоём поэтическом чутье:

Ветер милый,
Не дуй мне в рыло,
Дуй мне в зад —
Я буду очень рад!

Хохот, да такой, что уборщица Зинаида Лаврентьевна заглядывает в класс.

– Шут гороховый! – оценивает Лиза выходку преподавателя и идёт на своё место.

На класс обрушивается тишина. В ней слышно, как Наум отодвигает стул, поднимается и вдруг виновато соглашается:

– Права ты, Лиза! Прости – не подумал... Но, пойми, только юмор в этой жизни чего-то стоит!

Затем садится, вновь поднимается и дополняет:

– А ещё... поэзия...

И снова садится, и снова встаёт, чтобы с уважением предложить:

– Ты уж... позволь мне, Лизонька, пригласить тебя в выходной день в оперный театр.

У всех девчат – лица вытянуты, брови – на взлёт!

...Позже Пельдуска оглашает – поход, дескать, в оперный театр затеян не Наумом, а директором училища, как лечебная процедура от придури...

В девчатах, однако, так и не проясняется истина: как это Наумом Давыдовичем «стихушка и зассыха» поднята «умной дурочкой» выше их на целую ступень?

Юмор многого стоит

Производственный мастер имеет ненавистное для Лизы имя детдомовского воспитателя Цывика – Виктор Петрович. Она не желает у него заниматься.

Занятия девчат в слесарной мастерской начинаются с октября месяца, проходят по вторникам, четвергам и субботам. Образовательный этот минимум включает в себя забивание гвоздей, изготовление молотков и плоскогубцев...

Разглядывая заготовку будущего инструмента, Лиза спрашивает мастера:

– Зачем слесарю-сборщику уметь делать щипцы?

Её вопрос приводит мастера в некоторое замешательство.

– А затем, – поясняет ему сама Лиза, – что советский рабочий обязан уметь всё!

– Ве-ерно, – соглашается мастер и добавляет в её же тоне: – Но у тебя, Елизавета свет-Леонидовна, руки, похоже, не из того места растут...

– А спорим... – задирается свет-Леонидовна. – Если я вперёд всех сделаю вашу железяку, то вы мне покупаете билет в оперный.

– А спорим! – соглашается мастер.

Через неделю плоскогубцы у Лизы готовы!

Утром в понедельник вход в учебный корпус украшен плакатом: «Поздравляем ученицу группы СБ-9 – Быстрикову Лизу с производственным успехом!»

Но – увы мастеру! Лиза не тщеславна. Учиться у Цывикова тёзки она так и не желает. И объясняться не намерена.

А вот билет, им проигранный, берёт и, с разрешения директора училища, слушает в оперном театре дневной показ «Морозко».

Следующие два месяца отпущены группе для освоения токарного минимума.

Тут Лиза не в силах досаждать мастеру.

Когда тебе подчиняется «живой» станок, когда под твоей рукою чуть повизгивает от удовольствия металл, когда верно изготовленная деталь глядит и улыбается тебе блестящим отсветом... Какая уж тут неприязнь?

Лиза, при словесном одобрении её нового достижения, заявляет мастеру:

– Если повесите идиотский плакат о моём успехе, ничего делать больше не стану.

– А если... билет в оперный? – спрашивает Виктор Петрович.

Какие-то секунды проходят в молчании, затем оба хохочут...

Наум Давыдович был не прав, что юмор чего-то стоит – юмор стоит очень многого! Именно потому Лиза и не огорчает больше Виктора Петровича.

Господи боже мой!

В седьмом классе Лиза сидела за первой партой. Ноги её не доставали до пола. А в ремесленном за один год она обгоняет в росте почти всех девчат. Еды не хватает. В глазах – радужные круги. Подташнивает. Часто кружится голова...

Как-то ночью она идёт в туалет, где с высокого «пьедестала» грохается головою о цементный пол.

Оживает она в больнице. Слышно: соседки толкуют. Говорят, что у неё не всё в порядке с головой. А голова её (на ощупь) лысая; а в палате полный мрак. Лиза решает: если «не всё в порядке» – значит, она бредила стихами. У неё такое бывает. Но почему лысая? Но почему темно?!

Приходит доктор. По голосу она понимает, что он – старичок; спрашивает ласково:

– Как ты, голубушка?

Лиза интересуется:

– Почему ночью-то?

– Что – ночью? – не сразу понимает доктор.

– Почему ночью пришли?

Доктор медлит с ответом, а потом объясняет:

– Когда очнулась, тогда и пришёл.

– Свет-то зажгите, – просит Лиза.

Доктор уверяет:

– Нельзя, голубушка, – больные спят. Сестра тебе сейчас укольчик сделает. И ты уснёшь...

Снова Лиза оживает – снова темнота! Теперь уж потому, что глаза её забинтованы. Доктор рядом. Откашливается. Говорит:

– Так, Лизавета... Сотрясение у тебя. Сильное. Понимаешь? Зрение пострадало. Придётся повязочку потерпеть...

– И долго?

– Посмотрим, – вздыхает он, продолжая: – Ты – девочка взрослая. Поймёшь... Если зрение через недельку-другую не появится...

– Слепну, что ли? – торопится узнать Лиза.

Но доктор продолжает говорить начатое:

– А появится – восстановится совсем. Надо потерпеть.

– Зачем остригли? – спрашивает Лиза, не желая продолжать страшный разговор.

– Поспешили... Думали – понадобится трепанация.

Потом добавляет:

– А что остригли – не сокрушайся. Волос – не нос, отрастёт.

Пошла третья неделя – ночь продолжается.

Голос доктора перемежается тяжкими вздохами соседок по палате...

А лысая голова в слепоте пустует. Ну и хрен с ней, с поэзией!

По поведению соседок Лиза понимает, что окна находятся против двери, что палата – на третьем этаже...

Вот сейчас – все уйдут в столовую; ей принесут обед попозже.

Наконец в палате наступает тишина; Лизины ноги оказываются на полу. Они уже ступают, крадутся. Доносят хозяйку до окна. Поднимают на подоконник... И руки сами делают своё дело. Им остаётся только дотянуться до последний, верхней задвижки...

– Падла! – шёпотом ругается Лиза на высокий шпингалет. – Дурак тебя какой-то прилепил...

А минутой позже из неё криком выворачивается нутро:

– Сволочи! Пустите...

Крик не орёт, он прорывается из бунтующего тела сквозь зубы. Его к тому же покрывает гул голосов. У двери собралось народу – почти весь этаж...

И вот Лиза, как в памятном детстве, опять привязана к кровати...

Бедный доктор!

Сквозь затихающее в ней отчаянье Лиза чувствует, как мелко трясутся его руки. Так же мелко он семенит по палате – закрывает дверь и вновь подсаживается к ней... Начинает разматывать на её лице повязку.

Рядом, слышно, топчется сестра. Что-то говорит, говорит... И она не может никак успокоиться...

Бинты сняты. Доктор, на латыни, пытается в чём-то убедить сестру. Палата прислушивается...

Внезапно Лиза произносит:

– Очки...

Ближняя по кровати соседка переспрашивает:

– Чё ты сказала?!

– У доктора на лице блестят очки, – повторяет Лиза.

Доктор смотрит на неё и соглашается:

– Да, да! Очки...

Затем он неистово крестится, приговаривая:

– Господи! Слава Тебе, Господи!

– Господи! – вторит ему сестра, прикладывая руки к груди. – Боже мой!

И совсем уж неожиданно старичок-доктор, припав головою к Лизиной груди, причитает:

– Да внученька ж ты моя! Да умница ж ты моя! Прозрела...

Кто-то в палате, вторя доктору, тихо молится и громко сморкается. Наверное, в полотенце...

И вот... Медсестра уже ворчит:

– За пять недель ни один паразит не навестил, не поинтересовался: ослеп человек – не ослеп, лысый – не лысый!.. Хоть бы косынку какую принесли...

Она ведёт Лизу в хозяйственный закуток, отрывает там кусок марли, складывает наискось – повязать стриженую голову, затем

подаёт ей листок – выписку из больницы.

Первая любовь

За окнами февраль.

Училище наделяет Лизу, при её появлении в марлевой косынке, ещё одним прозвищем – Страус Общипанный...

Март-апрель приходят – с тою же кличкою. С нею она предстаёт и перед своею первой любовью.

Она «делать лица» не умеет. И скоро обретает следующее прозвание – Влюблённый Антропос!

Володя Войцеховский, или Войцех, дохленький, светленький коротыш, наделённый гордой кровью поляка, ошарашен её чувством до крутых русских матов!

Он подговаривает друга Веньку поколотить Антропоса. Тот, дурак, соглашается. Но какая-то добрая душа предупреждает Лизу, и ей приходится обратиться за помощью к своему боевому прошлому.

К майскому празднику голова её уже немного обрастает: косынка снята.

После праздничного обеда, подходя к общежитию, Лиза видит на высоком крыльце физиономию Веньки.

На потеху всем «чижикам», которые собрались перед общежитием – посмотреть «концерт», в Лизиной причёске матово белеет алюминиевая гребёнка. Видны щербины нескольких выломанных в ней зубцов. В «зрителях» это вызывает потеху.

И Венькина морда лыбится...

Лиза идёт, следя за его правой ногою – та явно готова отвесить ей пёнделя...

В аховый момент Лиза выхватывает из волос гребёнку и мигом срывает ею ухмылку с Венькиного лица...

Правая нога не успевает долететь до цели; защитник оскорблённого друга отшатывается, захлёстывает лицо ладонями. А Лиза медлит – ждёт, когда между пальцев заступника проступит кровь, и спокойно скрывается за дверью, кем-то распахнутой перед нею...

Даже Пельдуска и та – прикусывает язык.

А Лизе дозволяется теперь, с молчаливого согласия девчат, укрываться в спальне под кроватью и там писать. И она пишет:

Полночь, за полночь – не спится...

Тени пляшут на стене...

Слышу: стонут половицы —

Кто-то бродит в тишине.

То призывно засмеётся,

То зубами заскрипит,

То сиянием взорвётся,

То молчаньем завопит...

Страшно думать и не думать —

Хоть посмертную пиши...

Так бы отдал чёрту душу,

Только нет её – души!

А душа-то есть! Она сквозь затаённую боль кровит... до самого лета.

Июньским днём, сидя на скамье тихой аллеи парка, Лиза продолжает писать:

Пусть и слева, и справа тишина и покой.

Мне не с вами, мне прямо, мне туда, где порой

Крутят вихри поветрий, не пуская вперёд.

На одном километре то паденье, то взлёт...

Параллельная аллея парка ведёт к кинотеатру, где в эти дни крутят «Тарзана».

По аллее, слышно, идут «чижики». Среди многих голосов – голос Володьки Войцеховского. И вдруг тот голос орёт по-тарзаньи.

Дикий ор хлещет Лизу по той самой душе, мигом выбивая навязчивую любовную хворь. И она дописывает:

Мне туда, мне не время синяки растирать,

Мне положено верить, что могу опоздать

Не в объятья успеха – на возможность успеть

В яром пламени века без остатка сгореть...

Божья искра

Польская гордыня продолжает гореть в Войцехе, как на болоте вонючий пожар. Сам он труслив, но на его подговоры после случая с

Венькой ответы одинаковые:

– Да пошёл ты!.. Не хватало ещё... руки об неё марать!

В конце июня «чижики», перевалившие во второй год обучения, выезжают лагерем на отдых; определяются в загородных корпусах какого-то заштатного дома отдыха. Недалече от него уютятся среди сосен несколько убогих дворишков, чьи халупы похожи на старые коровники.

Тут с поэзией куда как проще – кругом сосновый бор! Укрывайся, пиши!

Лагерные блюститители-воспитатели махнули на Лизу рукой: что с идиотки возьмёшь? Ни тебе Наумова панибратства, ни подначек Виктора Петровича... Только дятел во бору усердно поддакивает Лизиным стихам:

На краю света стынь, сушь!
На краю света тьма, глушь!
Там живут беды, боль, страх;
Там лежат вечность и прах!

Не ищи слабый тот путь!
Отрекись разом – стой тут!
Стоит ли, не стоит – как знать?
Подыши сто лет и... спать!..

Зря старается дятел. Не понимает, что Лиза – на краю света. Никаким старанием до неё не достучаться... Зря, глупый, старается. И комары напрасно суется – укусы их Лизу не тревожат...

Но вдруг орёт ворона. Ей удаётся сбить Лизу с рифмы. Она озирается и замечает, что из-за недалёкой сосны на неё тёмной дырочкой глядит белая-белая попа.

Лизе хочется букашкой зарыться в дёрн. Она горбатится, будто и впрямь намеревается стать насекомым. Но кто-то издали кричит голосом Веньки:

– Войцех! Где ты там... обделался, что ли?

Прикрывая штанами белизну, Володька отзывается:

– Утром Славкиной каши нажрался, дурак... Живот пучит...

Направляясь в сторону голоса, Володька оборачивается – глянуть на «Славкину кашу» – и видит Лизу.

Ему бы сделать вид, что её нет. Но куда там!..

– Следишь, с-сука! – шипит он и, подхватив толстую хлыстину, идёт на приступ.

Лизе приходится поспешить. Она торопится мимо только что оставленной Войцехом сосны. Палка летит следом, но оказывается гнилой. От удара по стволу она разлетается обломками. Увернувшись от них, Лиза падает и угадывает ладонью прямо в «кашу»...

Володька уже рядом!

Не была бы Лиза Лизою, если бы тёплая слякоть оказалась вытертой о землю. Подскочив на ноги, она полной горстью вмазывает её Володьке прямо в глаза.

Дело бы не кончилось добром, но тут среди сосен заблеял известный своей бодливостью козёл. Лиза не видит, куда исчезает Володька. Сама она, перескочив прясла, через секунду стоит в чужом огороде, где ветхая бабуля уже поясняет:

– Ет Мартын! – именует она козла. – Суседкин дьявол!

А дьявол стоит по ту сторону прясел, упершись копытцами в жердину!

– Теперь ня жди, – продолжает бабуля. – Ня уберётся, покуда Михална не увядёт. В сельпо подалась, а ён выскочил идей-та... Придётся погодить...

Последние слова относятся к Лизе, и та соглашается.

– Ну, тоды... Руки-то сполосни, – велит старая. – Пойдём, что ля, чай пить...

На ходу она хвалится:

– У мяне ишо и кипяток не простыл...

В ограде под навесом печь, на плите чайник... Там же полно «суседкиных» пчёл.

– Тольки не махайся на их, тоды ня жиганут, – предупреждает бабуля.

Уже за чаем она сообщает:

– А ты мне вот на чё нужна... Бог тебя послал. Погодь – сщас вынясу...

Она идёт в избу; выносит такую же Библию, какая была в доме Игоря Васильевича – директора памятной школы. На ходу говорит:

– Я – баушка Роза... Семьи ня помню – мать родами померла. Ня знаю, какой дурак мяне Розой окрестил. – Отмахивается она от

чуждого ей имени, чтобы попросить: – Ты тут вот мне почитай. Сама-то я плохо вижу... А я толковать буду... Тут ишо с ятями писано...

Всё это говорится запросто, будто рядом с нею сидит близкая родня...

Под вечер Лизе, отведавшей полную миску русских щей и огромную порцию духовности, хозяйка у знакомых прясел велит:

– Ты, девка, не заботься ни про чё... Ходи, как домой. И Мартын тя боле не тронет. Ён как собака – своих скоро признаёт. А о Войцехе даже ня думай – не твоя судьба. Ён – дурень бестолковый, а ты – искра Божья! Тольки Неба единого слухайся!..

Пока Лиза бредёт обратно в лагерь, слова нового стиха сами собой ложатся в последние строфы:

Если ж ты не в силах терпеть,
Если ты и в горе стал петь,
Если глушишь смехом стон, вой,
То иди смело – ты свой!

Там, за краем света, удел
Праведных и смелых людей...
Только всем желаньям, так знай,
И за краем света есть край.

Закинутая

Второй год обучения сразу ошарашивает девчат объявлением: отныне они не слесари-сборщики группы СБ-9, а радиомонтажницы!

Проясняется, что это заказ Института ядерной физики, который недавно образован под Новосибирском, в Академгородке.

Девчата сразу чувствуют себя приближёнными к советской науке!

Как уж там девчата, а для Лизы и работа обычного телефона – тайна за семью печатями.

Усилие постичь полёт живого слова в безмерном пространстве творит короткое замыкание в её голове – и ни малейшего просвета!

После долгих попыток вложить азы нового предмета в головы учениц Виктор Петрович всё-таки вынужден раздать им канифоль, припой, кислоту, чтобы «бестолочь эту» научить хотя бы путём паять.

Затем на верстаках появляются платы, схемы, наборы деталей. Определяется задание – каждому до Нового года собрать по

простейшему радиоприёмнику!

Чего, казалось бы, проще – собрать по схеме проводники-сопротивления, чтобы вся эта белиберда заговорила выловленными из эфира голосами. Тут и начинаются нервы, слёзы, сопли... Девчачьи, но не Лизины.

Её не волнуют беспризорные голоса эфира. У неё собственное мироздание, полное не собранными пока что рифмами.

Не прилагая никаких нервных усилий, она по схеме подбирает всякие проводники-детали, один к другому пристраивает, прилаживает, припаивает, всем существом своим витая в поэзии:

Туманы, следуя за мной,
Как духи, пахнут стариной...

Лиза повторяет и повторяет неотвязчивые строки... Не запомнить – значит, улечутся. Пустота мигом заполнится другими строками...

При этом её в мастерской, можно сказать, нету: носит её где-то в беспредельном одиночестве...

В забытии она не осторожничает – повторяет и повторяет вслух:

...А на дороге неуклюж,
О камень ворон чистит клюв...

Наплывают новые и новые строки, и Лиза уверена, что стихотворение уже состоялось.

В это время работающая за соседним верстаком Ольга Ковалёва очень громко просит мастера:

– Уберите меня от этой стихоплётки! Городит над ухом всякую хреновину...

Лизу её голос выхватывает из одиночества и втаскивает в производственную мастерскую, заполненную хихиканьем, репликами, насмешками...

Виктор Петрович не успевает ответить.

Лиза уже стоит среди мастерской и читает во весь голос:

Туманы, следуя за мной,
Как духи, пахнут стариной.
А на дороге неуклюж,
О камень ворон чистит клюв.

И поле, полное зерна,
Лежит, от тяжести вздыхая,
И богатырская луна
Плывёт, как чаша круговая.

Над дозревающей страдой
Колосьев медный звон несётся,
Как будто Сивка за скирдой,
Уздечкой тренькая, пасётся.

Тут время дремлет на меже,
Укрывшись с головою чудом,
Тут слышно, как поют в душе
О счастье гусли-самогуды...

Замершие голоса долго не оживают!

Но вдруг!.. в тишине гулкой мастерской подлостью, голосом
Пельдуски, произносит:

– Ой! Да это стихотворение я уже читала в каком-то старом
журнале...

Середина декабря. Радиоприёмники должны перед Новым годом
заговорить. Должны-то должны, да долги-то страшны...

В день Пельдускиной грязи ни в столовую, ни в общежитие Лизе
идти не хочется. Она прячется под верстак и остаётся в мастерской на
ночь.

Приземистый корпус слесарного и токарного цехов стоит внутри
двора, огороженного складами, гаражами, навесами...

Сторож, дед Степан – старик с добрым интересом ко всем
«чижикам» – после ухода ребят закрывает ворота, маленько
«закладывает за воротник» и ложится спать.

До зари он, понятно, не замечает, что в слесарной мастерской всю
ночь горит свет.

А там в 6 часов утра – звучит:

Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь!..

Дед Степан рано ложится, рано встаёт. Надо успеть к рабочей поре
прочистить во дворе дорожки.

Выйдя из дежурки, в которой он и живёт, дед видит свет в мастерской. Решает, что забыли выключить. Идёт – заглянуть в одно из окон. Одинарное стекло закуржавело.

Старик дыханием распускает на нём талый пяточок, припадает к нему глазом. Видит посреди мастерской танцующую Лизу, недоумевает:

– Во! Нашла, где танцульки разводить!

Затем слышит звуки гимна, стучит по стеклу, шумит:

– Э-э! Лизавета! Как ты тут очутилась?

Лиза любит старика. Узнаёт голос. Радостно смеётся, продолжая вальсировать, подпевая под звуки гимна:

Уже говорит мой готовый приёмник —
Я в оперный снова билет попрошу...

Сторож крутит у виска пальцем и говорит себе под нос:

– Хрен её разберёт – что за девка? Закинутая какая-то...

Петрушка

Лизою с малого детства руководит какой-то ёрник. Всё казённое, уставное для неё – страдание. В училище ею вырезаются из лоскутков и живулятся к рабочему платью цветочки-бабочки, к подолу пришиваются кружева, к форменному бушлату – полоски бросового меха...

Девчата уверены, что всё выискивается ею на помойках. Противно! Однако бóльшую неприязнь вызывает то, что из немногословной Лизы иной раз вырываются такие остроты, что остаётся только втягивать голову в плечи...

За то, что у неё, у первой, заговорил радиоприёмник, Виктор Петрович даже похвалить её не рискует – как бы снова чего не выкинула. А вот до билета в оперный театр он зря не додумывается.

Даже девчата и те ожидали, что стихоплётке опять повезёт. Оттого в Лизавете зарождается мстительное озорство...

К Новому году в учебном корпусе училища решено организовать бал-маскарад. В заводском клубе Клары Цеткин напрокат берутся костюмы. Объявляется, что их раздадут тем, кто напишет на хорошо и отлично полугодовое сочинение.

Лиза уверена, что ей поставят 5 и 2 – за содержание и за орфографию.

Сочинение, как всегда, будет на обычные темы: «Твоё любимое произведение», «Твой любимый герой!» и ещё что-нибудь – свободное...

Лиза берёт свободное; ей вспоминается лето в одном из детдомов.

Троих мальчишек отправили тогда на заимку – лошадей пасти, и трёх девчонок – поливать капусту. Лизу – в их числе.

И вот – поздний вечер, костёр у реки. Из берёзового колка появляется мужик... Смурый, крепкий, бородатый. Подходит, садится на коряжину, оглядывает ребят и вдруг начинает петь! Поёт мужик Лизиной бабушки песню:

Далеко, в стране Иркут-ской,
Между двух огромных скал,
Обнесён стеной высокой
Александровский централ...
Чистота кругом, поря-адок,
Нигде травинки не найдёшь...

Будучи уже в ремеслухе, в первом году обучения, Лиза пишет о том мужике стих и теперь заканчивает им контрольное сочинение:

Ах, какой мужик-то страшный!
То ли чёрт его возил по загнеткам
И, уставши,
На корягу водрузил?

У воды огонь хлопочет —
Лижет пену с котелка...
Как ознобна тёмной ночью
Песнь чужого мужика!

Ну, давай, давай, бедовый!
Только б ночь не подвела...
Уж давно такую новой
Эта песня не была...

... Так откуда ж ты явился,
Из какого сундука?..
Только хитростью искрился
Взгляд зелёный мужика.

Кто ты?! Леший иль лесничий?..
Но мужик усы развёл,
На прощанье крякнул зычно,
Улыбнулся и... ушёл.

От Быстриковой всего ждали, но чтобы себя выразить настолько не в тему!..

Костюма ей, понятно, не дают. Но на маскарад она является ряженой... Является назло Виктору Петровичу, который в это время отвечает за группу взамен захворавшего Наума Давыдовича.

– Что с неё возьмёшь? – во время вечера сокрушается мастер перед директором училища. – Ни на какой козе не подъедешь...

Его досада вызвана тем, что Лиза является повязанной поверх рабочего платья каким-то грязным, разодранным на полоски платком – это у неё, оказывается, юбка туземки.

Киселём, что давали на ужин, она умудряется намазать ещё короткие волосы, поставить их ёжиком, чулки на лодыжках закатать каральками и, в комнатных по снегу тапочках, в разгар веселья оказаться в праздничном зале. Там она плясом врывается в круг танцующих, разгоняя собой по сторонам новогодних принцев и принцесс...

Но ряженой туземки в ней никто не признаёт. Зато до самого выхода из училища Лиза остаётся Петрушкой.

Ну вот ещё

Июль. На носу – выпускные экзамены. Выпускники группы СБ-9 – словно монеты одного достоинства. Все они – слесари, токари, электрики, радиомонтажницы. И все – третьего разряда. Сработала советская уравниловка.

– И нечего было выпендриваться, – потешается над Лизою Пельдуска, – а то... оперы, балеты ей подавай... Поглядим ещё, как ты годовое сочинение напишешь...

Лиза и сама понимает, что орфография её подведёт. В русском языке она не слышит слов, она их видит. Видит настолько живо, что написание теряет смысл. Она пером изображает, не следуя никаким правилам. У неё, как говорят художники, своя манера живописи...

И на выпускном, приступая к сочинению, она берёт свободную тему. Пишет о том, как во время войны жила у бабушки в городе Татарске, железнодорожная станция которого была узловой. Там с каждым днём всё больше появлялось инвалидов войны.

Над вечно тонущими в болотной грязи улицами городка поднимались высокие дощатые тротуары. Устроившись на них, просили милостыню искалеченные фронтовики.

Лизе хорошо помнится, как на мотив знаменитой «Мурки» у Сибторга пел всё одну и ту же песню молоденький безногий солдат:

Гражд-да-не, не проходите мимо,
Рано я несчастье испытал.
Пожалейте, люди, люди, инвалида —
Я на фронте ноги потерял...

Или, следуя напеву «Раскинулось море широко», слёзно завывал полуседой воин в чёрных очках:

Война до сих пор надо мною кружит
Во тьме непроглядного снега,
Мой друг закадычный в могиле лежит,
А я доживаю калекой...

Тогда шестилетняя Лиза, слушая эти молитвы, хоронилась где-нибудь в сторонке и могла часами проливать безутешные слёзы.

И теперь, на сочинении, она так глубоко уходит в свои воспоминания, что забывается и, сунувшись лицом в парту, тихонько рыдает, чтобы её горя не услышали те – измученные войною калеки.

Она не слышит ни вопросов учителя, ни его строгостей...

Только шум потехи возвращает её в себя...

Лиза недоумённо улыбается, чем вызывает взрыв хохота.

Она привыкла быть посмешищем. Но на этот раз рывком поднимается и читает своё – медленное, настырное...

Полная уверенность на право чтения слышна в её голосе:

Мы все умны,
Когда нас любят,
А вот когда любовь молчит,
Пренебрежение разбудит
В порожних душах сто причин,
Сто вероятностей и сплетен...
Всё против вас!
Все заодно!
И вот тогда на белом свете
Становится темным-темно!
И мы, ослепшие от горя,
Обезумев, наверняка
Рыдаем бесконечно горько
В жилетку лютого врага.
А он, ухмылкой страдая,
Торжественно, в запойном зле,
Нас очень нежно прижимает
Лукавой ласкою к земле.
Доверившись его советам,
Вдруг, в состоянии таком,
Дурак становится поэтом,
Поэт – отменным дураком.
Но всё когда-нибудь проходит,
И, гордо голову задрав,
В мир дураком дурак уходит,
Так ничего и не поняв.

Ну а поэт?
Устав от мнений,
Махнёт на вымыслы рукой
И выйдет к людям новый гений,
Неповторимый, зоревой!

Молчит даже Пельдуска.

А Лиза, оставив на парте незаконченное сочинение, порывисто идёт за дверь.

Назавтра девочки слышат оценки за контрольную работу по русскому языку:

Выпуск

В конце июня две группы девчат и столько же юнцов снабжены свидетельствами об окончании ремесленного училища и поселены в шлакоблочном бараке на чердаке-мансарде, оборудованном под жильё.

Мансарда разделена коридором на два огромных отсека: налево – ребята, направо – девчата. В каждом – по печке, по сорок кроватей и по два тусклых чердачных окна, что утопают в косых нишах... Постоянный мрак!

Летняя благодать соблазняет более наглых девчат занять лучшие места – ближе к солнечному свету. Лизе достаётся совсем смурый угол за печкой, куда можно втиснуть лишь кровать; тумбочка и та оказывается на выходе. Зато в закутке есть возможность писать стихи.

Зима, однако, доказывает девчатам, что Быстриковой (опять!) повезло: не только мансарда на сорок человек, но и наступившие морозы насчитывают такие же градусы. И с дровами почти такие же проблемы...

Все жмутся к теплу, где посадочная площадка – Лизина кровать.

Её стоящая на выходе тумбочка в дни полочки чем-ничем полнится, но зачастую встречает свою хозяйку пустотой. До зарплаты приходится жить впроголодь.

А девчата? Девчата помногу брать стесняются, да часто появляются...

Группа радиомонтажниц направлена работать в цех военного завода, куда работники попадают аж через три поста охраны.

Для Лизы забавно то, что производство, связанное с первым отделом – строжайшим блюстителем государственных тайн, открыто посещается высокими военными чинами – при всех регалиях! Позже тупость эта доходит и до властей; в один день военная приёмка переодета в штатское.

Цех сборочный. Работники в основном трудятся за конвейерами. У каждого своя операция. Значение собираемых узлов известно лишь узким специалистам.

Скоро Лизу отстраняют от монтажа – плохо паяет. Пельдуска же отдаёт голову на отсечение, что она прикидывается неумехой – не

хочет, видите ли, работать на потоке!

Мастер участка интересуется:

– Плесовских права?

– У неё и спрашивайте, – отвечает Лиза.

– Ясно, – делает он вывод. – Не хочешь – не надо! Становись на заливку узлов. Понюхаешь церезина – поумнеешь...

Недели не прошло – Лиза умнеет. Она соображает, что если заливку узлов производить плавленным церезином под давлением, то она получится без пузырей. Потому станет меньше брака. Она и чертежи приспособления набрасывает.

Мастер смотрит набросок, говорит:

– Однако!

Новшество утверждается. А Лизу ставят работать к вибростенду. Действительно ставят, поскольку за этой установкой сидя работать невозможно.

Вибрационных установок две. Рядом работает беременная Вера. Она готовится уйти в декрет.

Работа сложная, но Лиза осваивается дня за четыре, чем удивляет и мастера, и начальника цеха.

Рядом с будущей матерью Лиза работает около месяца. Вера уходит в декрет, а к её установке определяют юношу – Колю Грачёва.

Коля вообще-то уже назначен к настройщику приборов учеником, но Лиза одна не справилась бы с потоком готовой продукции.

Ожидалось, что Вера после двух месяцев декрета на работу выйдет. Но она берёт сперва обычный отпуск, затем – без содержания.

Коля продолжает работать рядом с Лизой.

Добрый, умный парнишка, и вдруг – не желает быть членом ВЛКСМ! По советским понятиям – изгой!

Лиза свидетель того, как однажды, вызванный в заводской комитет комсомола, Коля возвращается на рабочее место, можно сказать, без лица.

Ей девятнадцатый год, а Николаю – семнадцатый. Оба они учатся в одном классе заводской вечерней школы. Коля жалуется ей, что его принуждают вступить в комсомол, иначе – грозят увольнением по тридцать третьей статье. Значит, придётся бросить школу! А ему нужна десятилетка. Он мечтает поступить в духовную семинарию.

Лиза вынуждена вспомнить те времена, когда ребята в детдоме говорили, что с Быстричихой лучше не связываться!

И вот она уже в кабинете секретаря заводской комсомольской организации. Слава богу, на месте он один – Борис Владимиров!

Кабинет большой: кресло, телефоны... Мимо окон идёт грузовик – стол бильярдных размеров подрагивает, кувшинчик на нём играет в лучах солнца водой хрустальной чистоты, позвякивает стакан. Над головой сидящего в кресле Бориса – образ вождя...

Лиза от порога представляется.

Комсорг произносит:

– Наслышан, наслышан... Читал в газете твои стихи... Молодец!

Спрашивает, укладывая бумаги в портфель:

– Ну и чего тебе, Елизавета Быстрикова? Говори поскорей – спешу...

– Потерпишь, – обрывает его Лиза. – Объясни, чего тебе надо от Коли Грачёва?

– А! Вон ты о чём! – не обижается секретарь, а поясняет: – У нас на заводе только мракобесов не хватает...

– Как не хватает, а ты?! – ехидно спрашивает Лиза. – Боишься, что тебя из-за Коли турнут... с тёплого местечка? Потому и грозишь оставить мальчишку без работы?..

– И не только грожу, – спокойно признаётся Борис. – Найду нужным – получит тридцать третью!

– А хочешь, я тебя... – подходит Лиза к столу, – не по тридцать третьей, а по той самой... За попытку... Прямо сейчас?! Только платье жалко... Но ради тебя, падаль, порву! И поведут тебя под белы ручки... И быть тебе тогда не в кремлях, а в соплях...

– По-ошла вон!

Борис подхватывается на ноги, но из-за стола вышагнуть не успевает.

Лиза рвётся к нему навстречу, оттягивая воротник платья.

С треском отлетает верхняя пуговица. Комсорг бледнеет, бухается обратно; с присвистом произносит:

– Сегодня же... В райкоме... Поставлю вопрос ребром...

– Да хоть скелет из рёбер собирай! А я в твоём райкоме скажу, что ты говорил, будто они там все – дармоеды...

– Когда говорил?

– Да только что! Неужели не помнишь?

Теряя лицо, комсорг шипит:

– Зассыха поганая!

Перед Лизою почему-то сразу исчезает нутро кабинета; перед нею зимняя река Тара. У проруби стоят валенки... Туда следы проложены, обратных следов нет... Из холодной глубины проруби глядит на неё лицо Толи Аверика, а может, Коли Грачёва?

Лиза медленно берёт со стола полный графин, цедит воду в кресло – повыше комсорговых колен...

Так же, не торопясь, идёт из кабинета, на пороге оборачивается, предупреждает:

– Один в кабинете не оставайся! Подкараулю!

Эх, Коля...

И через два месяца Вера на работу не выходит. Вернее, в цехе она появляется, но лишь затем, чтобы написать заявление об увольнении. У неё родился сын – инвалид. Причина несчастья, как решили медики, работа с вибрацией.

Вера кем-то напугана, чтобы открыто сказать Лизе правду; передаёт её с большой осторожностью. Становится ясным, что с данной частотой вибрации молодым людям работать нежелательно...

Лиза дожидается, когда горестная мать уволится, затем ставит в ячейку ящика очередное изделие и заявляет:

- Тут я больше не работаю!
- Что это на тебя нашло? – спрашивает мастер.
- Не хочу рожать уродов! – отвечает она.
- Сперва замену себе найди...
- Я вам Грачёва нашла, теперь пусть он ищет...

Это говорится при Коле. Никакой подлости в словах Лизы нет; она уже успела его предупредить о возможных последствиях вибрации. На что парнишка убеждённо ответил:

- Буду принимать монашество.

У Коли глубоко верующий отец расстрелян так же, как у Лизы, в 37-м! Дед-священник оказался на Камчатке. Однако он умудрился и оттуда заповедать внуку: прежде – Бог, затем – Родина, потом – всё остальное!

И вот эта самая Родина предстаёт перед Колею в образе заводского комсорга, образ которого можно набросать такую перефразой: не так страшен чёрт, как его малютки...

Он позволяет членам своего комитета пресекать в комсомольцах проявление «особых» мнений, ставить, кого следует, «на вид», делать документальные выводы...

А Коля не комсомолец. Он и в ремесленном не учился. Потому не обязан, как «чижики», отрабатывать на заводе трёхлетнюю принудилровку. Но ютится Коля на той же мансарде, где и выпускники училища, поскольку живёт с матерью в пригороде.

Рабочий день на заводе с восьми до семнадцати, затем – вечерняя школа до двадцати одного. А зима лютая, снег обильный, транспорт –

только русским крутым словом по нему оттянуться...

Так что мансарда для Коли – выход из положения.

Но этот выход оборачивается для Коли входом в преисподнюю!

На барачном чердаке комсомольцы-атеисты редкий вечер не устраивают над ним потехи: то бойкоты, то стенгазетная сатира, то записочки с вольными стихами...

Примыкают к издёвкам и комсомолки – вроде Пельдуски...

Лизу такие вздорища вынуждают вспоминать детдомовские меры «воспитания».

Но досаднее всего то, что она бессильна перед комсомольской бандой. Такую опухоль чужого ума оторванными пуговицами не напугаешь...

А тут ещё в заводской газете «Знамя труда», за пару недель до праздника – 8 марта, с восторженным предисловием комсорга Бориса Владимировича публикуется её стихотворение, сопровождаемое многими похвальными эпитетами.

Похоже, кем-то из девчат оно выкрадено из тумбочки Лизы:

Что от жизни человеку надо?

Как на это отыскать ответ?

Одному достаточно лампы,

А другому нужен целый свет!

Горы – восходить, не возвышаться;

Море – углубляться, не тонуть;

Друг – чтоб в мелочах не затеряться;

Отчий край, где можно отдохнуть.

И любовь нужна – для обновления,

Но не всем дано любить уметь:

Одному хватает угожденья,

А другому – проще умереть!

В конце февраля мансарда переселяется в новое общежитие, где и Лизу, и Колю принимают в свои комнаты удручённые необходимостью «позорного» соседства куражливые юнцы...

А тут публикация в заводской газете нового Лизиного стиха:

Значит, враки всё это,
Нескончаемый бред?
А любви на планете
Не бывало и нет?

Значит, кто-то однажды
Очень глупый и злой
Обошёлся неважно
С человеческой душой?

И стихи, и обеты —
Сусальность вестей?
Значит, сердце поэта —
Барахолка страстей?

Если мир так увечен,
Если это не бред,
Для чего же к нам вечность
Снизошла на сто лет?!

На этот раз стих сопровождается комментариями комсомольского актива:

«На кого тут намекает знакомый нам автор? На Бога?! Хотя Бог у неё здесь и глупый, и злой, но тем самым она и признаёт, как Грачёв, его существование...»

«Спросить надо у автора – может, она имеет в виду нечистую силу? Но, признавая чёрта, она тем самым утверждает существование Бога!»

«До каких пор мы будем терпеть в своём коллективе эту бесовщину?»

Жаль – активисты не знают, что комсомолка Елизавета Быстрикова ко всему прочему пишет ещё и афоризмы, один из которых уверяет:

То, что Небом нам не послано,
Отрицать не может плоть!
Даже отрицаньем Господа
Утверждается Господь!

Узнали бы, турнули бы из комсомола и сами бы... послали её – к чёртовой матери!

Самое начало сибирской весны, а дырявый снег уже исходит на солнцепёках грязными, но радостными слезами. С ним заодно ликует Лиза: скоро можно будет уединяться – в парках, на скамейках бульваров...

И вот... Нате вам – пятое число марта месяца! По всей стране непролазная, воющая, дикая лавина смертельной страсти... Не извернуться, не продохнуть...

Нету больше Сталина!

Общежитие истерит на всё весеннее утро, захлёбывается рыданиями, воем вопит...

Поневоле воскликнешь: о Господи!

Лизавете бы тоже следовало отчаяться, но нет в её душе беды, хоть разорвись!

А заводы гудят, а машины завывают, а люди стонут, а воробьи орут...

Лиза идёт заводскою дорогою и вспоминает случай на барахолке. Там кто-то, хулиганя, бросил однажды в толпу, как потом выяснилось, учебную гранату. И вот...

Обезумевшая толпа всё опрокидывает, сшибает, давит... Мужики, парни, даже девки улезают через забор, прочие продираются в воротах...

Лизавета замерла недалеко от столба – ни страха, ни смятения; и её, и столб, не задевая, обтекает слепая толпа...

Тогда появляется уверенность, что стоять при такой okazji безопасней. А теперь – наоборот: желание бежать как можно дальше...

Но в цехе ждёт митинг...

Выступающий за выступающим...

В свою очередь Борис Владимиров, заикаясь «от отчаянья», повторяет с высоты цехового конвейера слова предыдущего оратора:

– Скончался Председатель Совета Министров СССР, секретарь Центрального комитета Советского Союза – Иосиф Виссарионович Сталин!

Бежать – от заиканий, от всхлипов, от сморканий...

Лиза видит: чьи лица отуманены горем, чьи – лукавят, а чьи – лишь присутствуют...

Она встречается глазами с начальником цеха, который медленно кивает ей своей еврейской головою...

В цехе этого умницу любят все; она – не исключение. В момент его опасного движения Лизу охватывает тревога. Медленно озираясь, она видит неподалеку Колю Грачёва и тут же забывает о начальнике.

Никогда прежде Лиза не видела ни одного человека с таким горящим лицом. Она и подумать бы не могла, что этот тихоня способен иметь полные бешенства глаза!

Лиза спешит к нему, схватывает за рукав. Но Коля вырывается и через пару секунд оказывается на конвейере, рядом с комсоргом.

– Люди! – взывает он. – О ком вы плачете?! Господи! Кто погубил нашего народу больше, чем Гитлер! Разве не Сталин?! Будь он...

Борис Владимиров сшибает мальчишку на пол, но Коля умудряется докричать:

– Проклят!

Оцепенелый митинг взрывается негодованием...

Лиза кидается было к упавшему, но кудрявый, любимый еврей успевает схватить её за локоть и повелеть:

– Быстро! На улицу! Быстро!

Он буквально вытаскивает её из голосящего содома и толкает к выходу...

А весна выдалась отменной! Воздух, даже во дворе завода, до синевы чист, хоть и наполнен похоронными гудками. И – ни души!..

Лиза бредёт до проходной...

Она, отученная детдомами плакать, сейчас, уверенная, что Коле Грачёву теперь никогда не поступить в семинарию, плачет и не может остановиться...

Как хорошо, что никто этого не видит...

Рыбья кость

В цехе Коля Грачёв больше не появляется. Поговаривают, что он – в сумасшедшем доме; полагают – и того хуже... Хотя – куда уж... А ему только семнадцать лет! Совсем мальчишка!

Борис Владимиров и на Лизу поглядывает с предупреждением! А его авангард – свысока! Общежитие шепчется и ухмыляется...

А на дворе – День Победы!

В городском парке – танцевальный вечер. Порхают нарядные девушки.

Лиза в коричневом рэушном платье, по подолу отпущенном ею самой вязаным кружевом. Длинная, скукоженная, стоит у решётки на танцевальной площадке.

В парке она иной раз появляется, но только на подхвате. Случается, какой-нибудь девахе не с кем туда пойти, зовут Лизу.

Идёт!

Она умеет и любит танцевать, но её никто не приглашает...

А вечер танцев близится к завершению.

А тут появляются двое матросов, задерживаются рядом с Лизою, присматриваются – с кем повальсировать. Она слышит их разговор.

После нескольких замечаний один говорит:

– Да вот, смотри... Какая тростиночка!..

– Да ты чё? Нашёл тростиночку, – усмехается другой. – Коромысло ходячее. Не-е! Я люблю стройных...

Первый не соглашается:

– Это уж... кому поп, кому попадя... А сутулится потому, что ещё не расцвела...

Лиза понимает, о ком речь, делает шаг – отойти, моряк спешит протянуть ей ладонь. Она отшатывается. Парень успевает подхватить её. И она уже кружится в своём, по сути, первом настоящем вальсе...

Лиза не понимает, о чём он спрашивает; немного приходит в себя, когда оркестр умолкает. Тотчас рядом оказываются «свои» девчата. Глаза их полны удивления и зависти. А моряк сообщает:

– В жизни так здорово не танцевал! Да ещё с такую красавицей!

Тут в груди Лизы что-то лопается – нарыв терпения, что ли? Ей кажется, что худшей насмешки над нею никто ещё не строил. И она злобно шипит в лицо парню:

– Пошёл к чёрту!

Её дерзость моряка почему-то не удивляет. Он смотрит на девчат и спрашивает, улыбаясь:

– Уж не вы ли её так... устряпали?.. Кумушки-кухарушки!

– Чё ты лыбишься?! – вдруг подступает к нему рыжая Галина Гурьева. – Тоже мне... Заступничек нашёлся! Да ты знаешь, что она...

Лиза кидается прочь, под звёзды...

А ночь ласковая, добрая.

Лиза бродит по улицам до рассвета. Досадует на то, что опять не может унять слёз. А в голове колышутся в такт её шагам строки, строки, строки:

Идёт разлука, как старуха,
Глядит на всех из-под руки.
И отдаются в сердце глухо
Её несонные шаги...

Они подхватываются заревым русским ветерком и вместе с душою Лизы танцуют под недавние звуки вальса:

Любви соперница седая,
Надежде – желчная свекровь,
Она неверием питает
Испорченную ложью кровь.

И ещё:

В минуты дикого азарта,
Покорность требуя в залог,
Тасует судьбы, словно карты,
Изобретательный игрок...

Утром девчата, собираясь на работу, встречают Лизу издёвками.

Рыжая Галя завивает перед настольным зеркалом модные пейсики, накручивая волосы на ручку вилки, гретой над свечой. В то же время она успевает есть кашу прямо из кастрюли и сообщать Пельдуске:

– Ой, Валюха! Жалко – тебя не было вчера на танцах. Видела бы ты... Рыбья кость-то наша... Растанцевалась...

– Да уж слыхала, – отзывается Валюха. – Моряк-то, говорят, задрипанный.

– А то... Нашёлся заступник... Я ему как выдала, что она у нас всё проссала...

И тут в Лизе не лопается – трескается нутро. Взмах руки – и кастрюля с кашею летит в рыжее лицо. Зеркало – вдребезги! Горячая вилка на ноге хозяйки...

Одним махом – на лице синяк, на руке порез, на ноге волдырь! Визгу больше, чем в день смерти Сталина. К обеду у пострадавшей и больничный готов, и жалоба начальнику цеха...

Лиза стоит на пороге его кабинета. А он молчит. Он смотрит и молчит. А ей впору провалиться сквозь землю...

Минуты через две он спрашивает с расстановкой:

– Ты хоть один раз... видела себя в зеркале... путём? Ты посмотришь как следует! Ты же красавица, а размениваешься на мелочь обиды...

Да что же это такое?! Уж от кого, от кого... А чтобы от него!..

Слёзы вновь подбираются к глазам. На этот раз они восходят не из груди, а спазмами выдавливаются из живота. Не хватает – зарыдать... Лиза спешит отвернуться, уйти, но её окликает славная секретарь Наташа:

– Лиза! Тебя к телефону.

Трубка некоторое время сопит мужским дыханием, затем поёт:

Как у Лизы на постели
Груши-яблоки спели.
Отчего они спели —
Лиза ссытса на постели...

Телефон хохочет, а животные спазмы внезапно унимаются.

– Спасибо! – спокойно говорит Лиза и кладёт трубку на рычаг.

Уходит уверенная, что теперь если и заплачет, то очень нескоро...

И вот опять воскресенье. Опять – вечер танцев. Девчата исчезают. Лиза остаётся.

В одиночестве она подходит к настенному зеркалу и вглядывается в себя. Долго вглядывается, очень долго...

Может, свет вечеряющего неба, может, темноватая амальгама зеркала в какой-то момент открывает перед нею то, на что можно смотреть, не отрываясь...

Следующим утром Лиза выходит из общежития другим человеком...

Вот и ладно

Лизу определяют работать к пульту – сооружению из семнадцати приборов, на котором проверяются параметры изделий. Когда таковых набирается ею целая партия, военной приёмкой делается выборка – для испытаний на полигоне.

Завалится хотя бы один узел – аврал! Перепроверка всей партии – днём и ночью. И не приведи господь – повторный огрех! Тут вступает в свои права первый отдел! Завод военный! Нет ли вредительства?!

Лизе только осенью исполнится девятнадцать лет. Но первый отдел – не посчитается!

И вот оно – партия завалилась! Тут у военпреда виновными оказываются все: и начальник цеха, и ведущий инженер, и конструктор, и мастер участка, и, само собой, Лиза!

Мастер участка – Аркадий Абрамович, или просто Аркаша, после института – неделя, как появился в цехе. И сразу – такая оказия! Опыта никакого. В показаниях пульта он полный профан.

Вообще-то и бывалые специалисты – не думается, чтобы смогли тут же назвать допустимые параметры изделий.

Вся надежда на Лизу.

Опытные специалисты – исключительно евреи! В таком общении главное для Лизы, что она при этих умниках чувствует себя далеко не глупой! Потому втайне рада случаю; она готова трудиться с ними хоть все ночи напролёт!

Аркаша не отходит от пульта – волнуется. Он разом и учится, и помогает: подаёт и укладывает изделия в зелёные длинные ящики с надписью «МЕТИЗЫ» и фиксирует в журнале показания...

Времени у него хватает ещё и для разговоров с Лизой.

Он – добрый говорун. Скачет от слова к слову, вроде – без темы. Но это не так.

– О! – восклицает он. – Я тоже люблю Гоголя...

– Надо же! И я бегаю на Рафаэля Клейнера... Отлично читает стихи...

– У меня старший брат тоже стихи пишет, – сообщает он. – Вообще-то он медицинский закончил. Невролог. Зиновий Абрамович. Он в нашей заводской поликлинике работает. Тебе не приходилось к нему обращаться?

Лиза напряжена показаниями пульта. Слушает его вполуха...

Но Аркадий продолжает:

– Когда я маленьким был, Зяма Аркашей меня не звал. Всё Кашка да Кашка...

– Старше на семь лет, а до сих пор я для него Кашкой остался...

– Когда я в цех пришёл, мне сразу сказали, что ты детдомовская...

– И что стихи пишешь...

Лиза, напряжённая показаниями приборов, добавляет почти машинально:

– И что я – зассыха...

Она привыкла носить срамные бирки...

– Об этом тоже сообщили... – легко признаётся Аркаша.

Откровение звучит так просто, будто речь идёт о старых тапочках. И далее Аркашины слова плывут безо всякой ряби:

– Братишка у меня – умница... Я с ним уже поговорил... Насчёт тебя...

– Не бойся. Не пошлёт к урологу. Обещает поговорить, и только... Одной беседы, говорит, достаточно...

– Такая неудача бывает часто связана с нервами...

– Партию сдадим – сходи к нему. Хорошо?..

Лиза молчит. Лиза смотрит на приборы слишком внимательно – так проще медленно кивнуть... В ответ Аркаша облегчённо вздыхает, будто завершил наконец тяжёлую работу.

– Вот и славно!

К полуночи сообщается, что партия изделий принята! Все вместе устраиваются поужинать. Со всеми и военпред – Рабинович Илья Александрович.

На дворе – июль пятьдесят третьего года, а в памяти – не кончается война, хотя из её участников, среди собравшихся, только он – большеглазый красавец майор.

За ужином узнаётся:

Илья Рабинович – бывший лейтенант-артиллерист, контуженным попадает в плен. Весёлый комендант фашистского лагеря решает позабавиться над беспомощным евреем. Он организует ему «побег», чтобы поймать и наказать! Затем позволяет подлечить. Опять – побег, опять ловля... Следы трёх поимок щедро прописаны по всему торсу полуобнажённого, по просьбе слушателей, майора. Тридцать семь рубцов, оставленных остриём ножа, насчитывает Лиза. А речь идёт о пятидесяти двух!..

После долгого застолья, на рассвете, отпуская Лизу домой, Аркаша напоминает:

– Сегодня отдыхай, а завтра... Зиновий Абрамович будет ждать... После обеда...

Стоило только отворить дверь кабинета, как Зиновий Абрамович восклицает:

– Лизавета? Быстрикова? Кашка вчера звонил... Знаю, знаю – стихи твои в газете читал. А ты слышала – в клубе Клары Цеткин... Да ты присаживайся... В клубе есть литературное объединение? «Молодость» называется. Не слышала?! Узнай! По пятницам, по моему, занимаются. Поэту непременно нужна аудитория... Они иной раз выступают и в клубах, и у студентов... Приходилось слушать... Друзей там обретёшь! Друзья по интересам – надёжная, кстати, штука! Не то что общежитие... Тут что? Тут – скопище! Тебе его уже хватило... А в объединении – дружина! А я о тебе всё уже знаю... Даже позавидовал: как можно выстоять!.. Ко всему ещё и стихи писать!

Он разводит руками, спрашивает:

– Писать-то, поди-ка, негде? – и размышляет вслух. – Надо что-то придумать...

Думает минуту и опять спрашивает:

– У уролога была? Нет? – удивляется Лизиному неведенью. – Кто такой уролог?! – И отмахивается: – Да Бог с ним, с урологом! Тебе он незачем... Скажи, тревога у тебя перед сном бывает? М-м-да! Часто просыпаешься ночами?.. Людей сторонисься? М-м-да... Всё понятно... Хорошо... Отлично!.. И ступай себе... Домой, куда ещё!.. А мы тут подумаем, порешаем...

Лиза идёт к двери. Доктор удерживает её советом:

– Ты в клуб-то, в Клару Цеткин, непременно сходи! Непременно! Стихи у тебя далеко не дурные... Поэту необходима аудитория...

Так толком ничего и не поняв: кто такой уролог? какому поэту нужна аудитория? кто что порешает? – Лиза мается этими вопросами до ночи.

Утром, по дороге на работу, её догоняет секретарь начальника цеха – Наталья. Явно зная подкладку сообщения, говорит с улыбкою:

– Леонид Андреевич вечером просил, чтобы ты сегодня, до пятиминутки – сразу к нему!..

Наталья – не молодая, не старая; но доброты в ней – на все времена. Поэтому Лиза ответно улыбается.

В кабинете – Леонид Андреевич и Аркаша. Оба сияют. Лиза не может понять, чья радость ей больше нравится, потому смущена.

Долго её не томят: оба, почти в голос, сообщают, что директор завода согласился выделить ей в деревянном заводском доме оборудованную под жильё бывшую ванную комнату (с кроватью, постелью и тумбочкой).

После оказалось, что в каморке мог бы поместиться ещё и стул, но попросить о том Лиза не осмелилась.

В тот же день общежитие наполняется ропотом зависти и недоумения:

– Вот тебе и ссыкуха!..

– Когда успела?

– Неужели с Аркашкой?!

– Ну, не с Леонидом же Андреевичем...

– А, ч-чёрт! – узнавши новость, взвизывает комсорг Борис Владимиров. – Ничего не понимаю!..

На этот раз он прав, потому как «понимать» поздно, да и не в его праве что-то изменить...

Стерва бесстыжая

Лизою жильё в деревянном доме – полтора метра на два – занято вот уж как целая неделя. Этаж первый. Окно нормальное – большое. Открывается в проход меж домов...

На дворе июльский вечер. Оконными занавесками играет ветришко.

Лиза читает, лёжа на кровати. Перед нею так шумит океан, в котором орудует Синдбад-мореход, что шорох за окном её не настораживает.

В сентябре ей стукнет девятнадцать, но она всё ещё живёт фантазиями. Победная чистота сказок обнадёживает её: верится, что в мире торжествует справедливость! Собственное враньё у неё чревато ловушками. Зато, как битая собака, она чувствует глубину чужого подвоха. Потому всегда начеку.

Однако на этот раз шёпот из окна слышится ею не сразу.

– Хозяюшка-а! – повторяет оконное нетерпение.

Лиза видит на подоконнике ухоженную мужскую голову.

– Ну! – спрашивает она. – Чё надо?

– В гости меня не пригласишь?

– С какой стати?!

– Нравишься ты мне, – зырякая краями глаз по сторонам, врёт Голова.

– И давно? – лживо удивляется Лиза.

Ей забавно, что Голова не слышит в её голосе издёвки: может, блудлива, может, скудоумна? Отвечает шёпотом:

– Да как увидел...

– А когда увидел-то?

– Порядошно! – пытается Голова определить срок возникших в ней желаний.

Но срок не успевает определиться. Голова вдруг падает с подоконника. Лиза выглядывает наружу; но ей удаётся увидеть лишь примятую под окном траву...

Минуту спустя перед нею опять шумит океан.

Через пару дней, вечером, Голова снова ложится на подоконник и начинает выяснять:

– Надеюсь, тут обо мне не забыли?

– А то как же! – отвечает Лиза.

– Может, встретимся? Через часок...

Куда нужно Лизе явиться «через часок», Голове опять не удаётся прояснить.

Лиза спешит выглянуть в окошко, но видит только светлую полу пиджака, упорхнувшую за угол дома. Зато из-за другого угла – выплывает каменная старуха...

Лиза узнаёт её...

В первый же день Лизиного переезда из общежития в коммуналку в прихожей появляется эта бабка, чтобы узнать: кто такая новая жиличка, кем работает; если не болеет туберкулёзом, то за какие заслуги получила отдельное жильё? Поди-ка, схлестнулась с начальством...

Лизины амуры с мужиками стали для старухи верным выводом, поскольку «подтвердились» только что увиденным.

Она приближается к Лизину окну, говорит: «Э-эх!» – плюёт в землю и шествует дальше.

Следующим вечером, возвращаясь с работы, Лиза слышит за спиною уже знакомый голос:

– Стерва бесстыжая!

Лиза не осознала бы услышанного, если бы словесная казнь не продолжилась:

– Мужу полсотни!.. А эта курва!.. Не успела переехать, уже... приветила... Понятно, чем она заработала отдельное жильё... Теперь есть где кувыраться...

Лиза останавливается, смотрит на сидящих у подъезда старушек.

– Чё вылупилась?! – злобно спрашивает её знакомая бабка и, указывая на Лизу пальцем, объясняет кумушкам: – Вот из-за таких, как эта, прости господи, и рушатся семьи...

Другая старуха торопится, помягче, сообщить Лизе:

– Ольгу знаешь?.. Худенькая такая бабёнка. Да ты уже не могла её не видеть... В этом подъезде они живут, в седьмой квартире. Ольга – Иванова жена... А это её мать, – гладит она руку злой бабки. – А вчера Иван поколотил её... Ольгу-то...

– Из-за тебя, сучка! – уточняет мать побитой.

Не говоря ни слова, Лиза направляется в указанный подъезд.

На пороге седьмой квартиры возникает хрупкая женщина с синяком вполлица. Глазищи налиты слезами, но – ни стоны, ни всхлипа, ни упрёка...

– Вы Ольга? – утвердительно спрашивает Лиза, настырно вступая в прихожую.

В ответ – кивок.

– Мне старухи во дворе сказали, что вас из-за меня муж побил?!

На этот раз кивок – в сторону кухни.

Лиза понимает, что её там слышат, потому повышает голос.

– Так вот! – заявляет она. – То, что ваш паршивец два раза скулил под моим окном – это правда! Только русская пословица говорит: не каждому кобелю достаётся... Так вот! – от напряжения повторяет она. – Передайте... этому... мартовскому коту, что, если я... ещё хоть раз услышу, что он на вас поднял руку, пойду в партийный комитет и расскажу, что он просился ко мне в любовники! Передайте вашему засранцу, что я умею очень правдиво врать...

– Ясно?! – спрашивает она, распахивая дверь в кухню. Но возникшая перед нею спина не даёт никакого ответа...

– Молодец девка! – новым вечером слышит Лиза, подходя к дому. – Не побоялась... Иван-то вчера... Орал, паразит, на Ольгу, но не тронул...

Лиза не оборачивается. Заходя в свой подъезд, она с усмешкой шепчет:

– Погань трусливая!

Губошлёп

Руководитель литературного объединения, он же начальник отдела кадров одного из крупных заводов города, в глаза именуется молодыми литераторами просто – Архипыч, за глаза – Губошлёп.

Лизе тут же становится понятен уровень уважения питомцев к наставнику. Он же, в свою очередь, называет их поэтами, что приводит Лизу в недоумение: Пушкин, Некрасов, Лермонтов – поэты! А здесь? Старатели литературных приисков...

По уставу объединения – с творчеством новичка знакомятся сразу.

Лиза предстаёт перед «старателями» с тетрадкой в клеточку.

В тесной комнате почти у всех «поэтов» – нога на ногу, лица мудрые, речи – «высокие». Первая часть занятий проходит в заумной болтовне! Затем начинается «разборка».

– Быстрикова Лиза! – оглашает Архипыч. – Давайте, поньмашь, послушаем её.

Перед Лизой море напыщенности!

Хотя и позы, и мимика кажутся ей плохой игрою, волнение накатывает настоящее. Его мелкой зыбью выдаёт тетрадка. Но уже ко второй строфе Лиза уходит в свой мир, и оттуда доносится:

Чтобы зазря не тратить время,
Перемывая слов руду,
Я продолжаю свято верить,
Что я найду его! Найду!

Найду тот самый самородок —
Тончайший смысл между слов,
В котором мудрая природа
Сияет радугой основ!

И сладкой болью вдохновенья
Вдруг, из застенчивых времён,
Взойдёт во мне стихотворенье —
Труда незыблемый закон!

Душа победно и устало
Замрёт в восторженной груди,
А сердце, как ребёнок малый,
От счастья пустит пузыри.

– М-м-да! – после недолгого молчанья произносит Губошлёп. – Ну-у! Кто?! – спрашивает он, деловито обводя лица присутствующих приспущенными на нос полутёмными очками. Затем решает: – Что ж... Попробую я сам...

И приступает:

– Неплохо, неплохо! Только начало какое-то... обрубленное. Хотелось бы услышать от автора, после чего она «продолжает» верить в «самородок»? Тут надо заметить, понимаешь, что «самородок» слово тяжёлое, потому оттягивает «тончайший смысл», предлагаемый читателю автором. Тем более что «радуга» – наоборот: нечто воздушное, лёгкое, восходящее! Это противодействие слов, понимаешь, затрудняет восприятие того, что хочет сказать автор.

Слово-паразит «понимаешь» звучит в его произношении как «поньмаешь». Произносит его Губошлёп ещё и причмокивая. Лизе кажется, что он всякий раз подхватывает толстой губою обильную слюну.

Вот он умно замолкает, наклоняет голову, а затем продолжает витийствовать:

– Дальше, понимаешь, – «сладкая боль вдохновенья». Она появляется у неё из каких-то застенчивых времён?.. Какие такие времена, когда автору девятнадцати нет?! Опыта по сути никакого... И потом – «труда незыблемый закон»? Настолько всё размыто... А уж последние слова – «...а сердце, как ребёнок малый, от счастья пустит пузыри!» Это же... инфаркт какой-то получается! О каком счастье тут может идти речь?

– От счастья вообще-то бывает такое... – прыснув, замечает некто с «полубоксом» на голове и в распахнутой рубашке на молодой, но уже волосатой груди...

А другой – молодой, но уже бородатый – просительно велит:
– Пусть ещё почитает...

Лиза покоряется, хотя успевает потерять настроение. Оттого читает совсем спокойно:

Золотая середина!
Это значит – ни морщины,
Это значит – ни седины...
Из воды и из огня
Золотая середина
Может вызволить меня.
Только мне – дорога в гору!
Только мне – стеной туман.
Коль огонь, так чтобы море!
А вода – чтоб океан!
А не тазиком на спину,
И не в зеркале – заря...
Золотая середина,
Ты, увы, не для меня!
Мне скакать, так чтоб со стоном,
Мне молиться, чтоб был Бог!
А не в рамочке икона,
А не в ризе скоморох!
Чтоб мой маятник пружина
Вечно двигала, звеня!..
Золотая середина,
Ты – погибель для меня!

– М-м-да! Неплохо, неплохо! – повторяет Архипыч. – Только я тут ребятам сто раз уже говорил, а теперь вынужден лично Быстрикову Елизавету спросить: кому нынче нужна ваша лирика?! «В буднях великих строек», – уточняет он, – необходима поэзия серпа и молота! Поэзия проката, поэзия проходной...

– Поэзия рабочей усталости... – с усмешкою шепчет сидящий рядом с Лизою парень с волосатой грудью.

Заглушая шёпот, Губошлёп ударяет кулаком в ладонь и сообщает:

– Только тогда, поньмаешь, вас будут публиковать!

Сидящий рядом опять довольно громко шепчет:

Твою мать, твою мать!
Будут нас публиковать,
Чтоб затем про Губошлёпа
Услыхала вся Европа...

Лиза, сколько помнит себя, никогда не была наивным ребёнком. И всё-таки до этих пор умудряется им оставаться! Потому простодушно произносит:

– Батюшки мои! Что это за хреновина? Выходит, что Пушкин теперь не в тему?

– При чём здесь Пушкин?! – почти злобно недоумевает Губошлёп. – Уж не себя ли ты с ним равняешь? Я тебе сразу скажу: гений из тебя не получится...

– С меня и Быстриковой хватит! – дерзит Лиза от накатившей неприязни.

– Если хватит, зачем пришла?!

– Затем, что, кроме вас, тут ещё и люди есть...

Архипыч теряет и, пожимая плечами, спрашивает ребят:

– И где только таких воспитывают?!

– В нашем государстве! – сообщает Лиза и уточняет: – Я детдомовская.

– То-то...

От весомости сказанного «то-то» Лиза взрывается, говорит пронзительно:

– Поньмай не поньмай, а на чужом хребте не въедешь в рай...

– На твоём, што ли?

– Не на моём, а на нашем...

– Ну, – сокрушается Губошлёп, – нагяделся я за двенадцать лет руководства всякого шутовства, а такого!..

– О! – мешая ему договорить, восклицает Лиза. – У меня есть – про шута. – И она смело кидается в чтение:

Я шут! Смотрю на короля,
Тая сюжетную измену,
Но шутовская роль меня
Ещё не вывела на сцену.

Не всякий запасной дурак,
Страшась публично осрамиться,
Напялить шутовской колпак
Себе на голову решится.

Но верю я, садясь за грим,
Что только шут имеет право
Перед величеством самим
Без опасенья молвить правду.

Надёжней этой роли нет,
Где б своенравье так раскрылось.
Я к этой роли столько лет
По дебрям времени стремилась!

Отшельником, в тиши ночей
Свой страх пред критикою зала
Я непокорностью своей
Из прозябанья вышибала!

Король!
Мне лучше, чем тебе!
Усердие лукавой черни
Не обеспечит мне побед,
Но и с подножия не свергнет!

Губошлёп дёргает головою, украшенной ухмылкой. Советует:
– Ну что ж! Попробуй опубликуй свой шедевр. Только никому не говори, что это я тебе посоветовал...

– О, Господи! Да при чём здесь публикация?! Да при чём здесь вы? Успею я ещё и в печать, и на ваше место... А вот вы на моё – фиг с маслом...

– Вы посмотрите на неё!.. Ей на моё место захотелось! Ах ты!..

– Ну давай, давай... Кто «ах я»?!

– Пошла вон!

После этого Губошлёп зеленеет и глохнет...

Лиза направляется к двери, не оборачиваясь, говорит:

– Всего доброго! До следующего занятия...

Ночь рождения

Вторник. Завтра день рождения Лизы. Ей выписаны к получке десять рублей премии. Но силы у государства не хватило выплатить зарплату своевременно.

Литобъединенцы встречаются по пятницам. В квартире и вовсе нет никому заботы о её лети... В одной из комнат – баба Ханя с дедом – добрейшим Мокеем-паркинсоном, в другой – затюканная мужем-пропойцей сорокалетняя старуха Нюся. С нею бы можно посидеть-потолковать, но у Лизы от жалости к ней закатывается сердце – хочется задавить её рыжего, кудреватого Толяна.

И всё-таки хорошо родиться ранней осенью! Всё поспело! Кругом переливается, трепещет, стелется под ноги природное золото!

Угоститься бы чем в такой день, но... Хотя... Дома, в тумбочке, ожидает Лизу кусочек солёного сала, горбушка хлеба и пара зубчиков чеснока.

«Щас приду, натру горбушечку и... с салом!» – думает она, шагая после работы домой.

Издали видит распахнутое окно своей «ванночки»; не может вспомнить – закрывала или нет? Решает, что сама – разиня. Однако не только окно, но и дверь её каморки оказывается распахнутой.

Квартира, несмотря на сквозняк, воняет водкой и прелью невымытого мужика. В полуоткрытую дверь видно, что на её кровати лежат чьи-то кирзовые сапоги.

При осторожном приближении хозяйка видит: вставлены в сапоги худые ноги в трико пузырящем, которые уходят в тощую задницу, задница сужается в хребет, добавляется куриной грудкою и кадыком. Остаётся добавить стриженую головёнку с розовыми ушами, которые желают напомнить Лизе детдомовского директора – Штанодёра.

По полу каморки пораскиданы рукописи и фотографии...

Лиза в недоумении озирается.

Баба Ханя с порога кухни манит её к себе.

– Это нашему внуку по смерти Сталина амнистия вышла... – шепчет она. – На двадцать лет забирали... И... На вот! Явился! Надеялись – до его приходу прибраться... Как теперь доживать?... Они тут с Нюскиным Толяном разом снюхались... Вишь вон – как нажрался... Толян-дурак доложил ему про то, что в ванночке девка красивая живёт... Он сразу велел нам с дедом в комнату нашу даже не заглядывать: с тобою собрался там поселиться. А меня с дедом к тебе,

сказал, перекидает... Ишь вон... Уже и спать у тебя завалился... Вызывали Петра-участкового; тот сказал: убийства нету, кражи нету, а так – сами разбирайтесь... Вот мы и высиживаем тут, тебя дожидаемся. Чё делать станешь?!

В кухне за столом дед Мокей – трясётся и плачет...

Тем временем Лиза думает про спящего «жениха»:

«Этот “Штанодёр” сволотнее Цывика будет!..»

А впереди – осенняя ночь! Шесть вечера – на улице уже свежо... Однако ночевать Лизе что в подъездах, что на парковых скамьях – не в новинку...

Лиза не хочет ни с кем связываться. Она молча направляется к выходу.

Баба Ханя, в спину ей, плачет:

– Ты чё ж это?.. Куды ж ты?.. Нам-то чё теперь остаётся?..

– Я сейчас уйду, а вы его минут через пять разбудите – скажите, что в милицию пошла...

Просыпается Лиза на скамье недалёкого сквера от собачьего лая. Перед ней два милиционера: молодой и в возрасте. Первый хватает её за шиворот, при этом сообщает второму, который на поводке держит овчарку:

– Не-ет. Вроде не пьяная...

– Да уймите собаку! – требует Лиза. – Нашли пьяницу!

Сторонясь пса, она отряхивается от напавших кленовых листьев и ехидно хвалит блюстителей порядка:

– Это хорошо, что вы меня «поймали». Пойдёмте, – зовёт, – со мною. В квартире у нас беспорядок...

Но «жениха» дома не оказывается.

Старикам удалось его напугать, но сами они всё ещё сидят в кухне.

– Про вас, родимые наши, как сказали ему, так холера его куда-то унесла, – поясняет баба Ханя служивым, которые, не находя причины задерживаться, тут же пропадают в ночи.

Старики решаются пойти к себе.

А Лиза вспоминает о хлебе с салом. Однако тумбочка пуста...

Лиза укладывается, но не успевает путём задремать: квартира полнится пьяными матерками и женским визгом...

Лиза, похватав одёжку, прыгает через подоконник на улицу. Какое-то время она бродит поодаль от дома, прислушивается... Потом приближается к окну комнаты стариков.

Ей виден дерматиновый диван, на котором что-то шевелится, укрытое простынёй. Лизе хочется понять происходящее. Она не замечает, как сзади к ней подкрадывается хмельной сосед – Толян. Он хлещет её наотмашь ниже спины; хохоча, говорит:

– Подглядываешь, лярва?! Самой давно пора...

Что ей давно пора делать самой, объявляется Толяном с такой стервозностью, что Лиза чует вонь падали, которая, в страстях, может навалиться на неё, как Цывик... Сам же Толян в малом свете луны видится ей поросшим зелёной плесенью...

Лизе остаётся только удирать от всей этой зелени и затхлости.

Она вновь оказывается на парковой скамье...

На рассвете идёт домой, заглядывает в окна. Старики ночуют в кухне на полу.

Оконным ходом Лиза проникает в свою келью. Но уснуть ей так и не удаётся. В дверь квартиры стучат.

Появляются те же двое с собакой...

Оказалось, что к полуночи Толян уже валялся убитым в пьяной драке у подъезда соседнего дома.

Заподозренного в преступлении соседа-пришельца находят за оконной шторкою в комнате стариков.

Молодой мент пристёгивает его наручниками к себе и уводит. Пожилой, только не силой, принуждает Лизу следовать за ним.

– Сколько тебе лет? – по дороге спрашивает он.

– Сегодня девятнадцать, – получает ответ.

– О! Поздравляю!

– Спасибо...

А он и желает спросить:

– И не тошно тебе с такими...

Лиза опережает его вопрос:

– Да с вами куда тошней...

– Ну-ну! – полыхает явной угрозой милиционер.

Лиза не пугается.

– Не кобыла – не понужай! – грубит она.

– Ты, девка, не гонорись! – повышает он голос, но слышит и того дерзостней:

– Девка – это твоя детка, а я для тебя по протоколу – Елизавета Леонидовна...

В милиции, когда писал протокол, или что у них там пишется, пожилой блюститель порядка пояснял:

– Так вот, Елизавета Леонидовна! У тебя только не под окном драка с убийством произошла. Не могла ты спать в это время... Не могла не видеть...

– А может быть, и участие принимала, – добавляет молодой.

– Потому и отказываешься от показаний... – опять подхватывает пожилой.

А молодой строжится:

– И сидишь тут – выгибаешься! Говори, что знаешь!

– Что знаю? – наивно переспрашивает Лиза. – Пожалуйста...

Не веря в реальность происходящего, она лыбится, как привыкла в оные годы, и декламирует:

...Ты, по-собачьи дьявольски красив,
С такую милою доверчивой приятцей.
И, никого ни капли не спросив,
Как пьяный друг, ты лезешь целоваться...

– Заткнись! – уже рычит молодой. – Штрафанём сейчас за оскорбление...

– Ба-а! – сильно удивляется Лиза и спрашивает с издёвкой: – Неужто Лермонтова не знаете?!

– На хрена мне твой Лермонтов! Говори, что видела!

– А ни хрена и не видела... Спала я. Понял?

– Хорошо... – вдруг соглашается пожилой. – Твоя взяла... Отпускаю...

Это было сказано таким тоном, что Лиза улавливает подвох.

– Спасибочки, дяденька, – в таком же настрое отвечает она, даже не дёрнувшись – оторваться от стула. – Спасибочки, родимый! – благодарит, повторяя бабу Ханю.

– Не за что, золотая моя! – отвечает блюститель, оказывается, не лишённый юмора. Потом добавляет: – Заодно и «жениха» твоего

отпущу. И даже домой провожу, чтобы чего не натворил дорогой... Будет тебе подарочек на день рождения...

В замешательстве Лиза молчит, но затем соглашается:

– Вот счастье-то привалило!

И спрашивает:

– А к прокурору заодно не проводишь?.. Не хочется? Вижу! Тогда давай справочку – за что вы меня тут всё утро проволокутили. Некогда мне подарки от вас принимать – работа ждёт...

И всё-таки спасибо советской милиции: ни той ночью, ни тем днём, ни неделей, ни месяцем «жених» Елизаветин в коммуналке не появляется...

Кто я?

Лиза-контролёр трудится в сборочном цехе «почтового ящика», за стеною которого – цех гальваники. Там работает Зоя-гальванометрист.

Лиза, в свои двадцать лет, выбросила бы из памяти одну только мороку – Володю Войцеховского. А Зоя, в свои тридцать два, хотела бы от многого избавиться... Но прошлое прошлым полнится...

Зоя – красавица, каких поискать. Этим достоянием она орудует всюю...

Её супруг – сутулый, невзрачный служака – начальник первого отдела! Очень ответственный. Жёнушку развлекать некогда...

Лиза тоже набрала красоты, но в ней не успела ещё отболеть слишком долгая неуверенность. К тому же за нею очень серьёзно «ухаживает» поэзия.

К тому же в детдомах сумели приглушить свет её подлинности. Зато научили затаиваться, придуриваться, огрызаться, а допекут – так и наглеть.

Ещё тогда, в четырнадцать лет, она осознаёт:

Кричи, душа, на перекрёстке быта,
Там, где собака истины зарыта.
Но только не забудь, сходя с ума,
Ты от природы, словно смерть, нема!

И всё-таки в глубине души торжествует её корневая натура:

Не перестану удивляться
Простому хлебу на столе,
Осине (в трепете оаций),
Скирде, взошедшей на стерне.
Стакану молока парного,
Скамье просторной у крыльца.
Морщинам старого лица,
Весенним силам молодого.
Не отрешить меня делами
От слёз ребёнка во дворе,
От жаворонка – на заре...
И от поэзии – ночами!

Поэзия дарит её душе полный набор жизненных отображений. Её трогает любая мелочь, будь то драка у пивного ларька, или улыбка случайного встречного, или кокетство красавицы Зои...

Ясная погода её природы часто застилается чужими туманами, моросью, грозами... Сами собою слагаются тяжёлые строки:

С утра стирает дождик затяжной
Намыленный ветрами день вчерашний...
Такою затрапезною порой,
Пожалуй, только умирать не страшно.
И в самом деле: всё, чем дорожил,
Вдруг заслонила горькая обида —
Как будто всех знакомых пережил,
По всем друзьям отправил панихиду.
И некому тебе закрыть глаза...
А дождик ноет за окном бессменно...
И грезится – воскресший бронтозавр
Шершавым боком чешется о стену.

И всё-таки врождённое жизнелюбие продолжает в ней торжествовать:

Я ловлю в облаках силуэты скитальцев, манящих
От тревожных раздумий в далёкие тайны былин,
И до смерти боюсь, что растают под солнцем палящим,
Их волшебные лики в сверкающих нимбах седин.
А они всё бредут и бредут, как паломники в Мекку.
Ни конца им, ни края на синих дорогах небес.
И не трогает их непродуманность нашего века,
И не страждут они ни открытий и ни чудес.
Но чем дольше я вглядываюсь в их отрешённые лица,
Тем сильнее закипает во мне беспокойная кровь,
Словно мудрость земли предо мной за страницей страницу
Неустанно листает огромную книгу веков!
Облака всё глядят в душу мне уплывающим светом,
Словно я непременно должна до заката понять
И ответить: что может моя дорогая планета,
Что желает о нас в эту книгу веков записать?

Последнее стихотворение, напечатанное в заводской газете, было прочитано Зоей, и пожелалось ей под выходной день пригласить Лизу в гости. А как откажешься, если честь оказана такой матроной?

Но мир наобум раздору – кум!

Она уверена, что побывает в Зоиной (всем на заводе известной) богатой квартире. Но в восемь часов вечернего января такси катит их к частному сектору и тормозит у ворот мазаной избёнки.

Двое парней подсакивают к машине, распахивают дверцы, протягивают «дамам» ладони.

Лиза обескуражена неожиданностью. Глядя на поданную руку, говорит: «Ну вот ещё», – и сама оставляет сиденье.

Но её всё же подхватывает под локоть крепкая рука...

В тихом свете избы Лиза узнаёт, что рука принадлежит улыбчивому, лет двадцати пяти, черноголовому, кудрявому Михаилу-штангисту. Его друг Николай, тех же лет, в тяжёлом спорте – никто. Он КТО в шахматах и в медицине и, понятно, в Зоином сердце... А Михаилу (в компаньонки) доставлена Лиза, которая до двадцати лет не знает, что такое брудершафт, чем смешит компанию.

Вот уж на часах – десять, вот – одиннадцать... Пора бы домой! Телефона нет – такси не вызовешь. Да и откуда у Лизы деньги на такси?!

Изба-пятистенок – кухня и комната. В кухне, где они сидят, – диван, в комнате – кровать. На диване Зоя прижимается к Николаю. В ней явно тлеет нетерпение. Но чтобы оставить пару наедине, Лиза должна оказаться с Михаилом в комнате.

И тут ей на выручку является наглость! Она спрашивает:

– Где у вас сортир-то?

– Прости! – извиняется Николай и вносит ясность: – Во дворе. Тропинка там прочищена...

– Я провожу, – поднимается Михаил.

– Ещё чего! – грубо останавливает его Лиза.

С крыльца она торопится до низенького, за уборной, плетня. Утопая в снегу чужого огорода, направляется в сторону дороги.

В ней царит детдомовская злость! Лица обеих парней сливаются в одну рожу Цывика, которая плавится похотью. Она шепчет:

– Ну, спасибо, Зоенька, за приглашение за такое! Теперь сама разбирайся – с двумя-то кобелями...

В её голове шевелятся чёрные, лохматые вопросы. Что же всё-таки произошло тогда? В тот проклятый детдомовский день? Что с нею сотворил Цывик?! Отнял у неё девичью честь? Или не отнял?

Она до того живо представляет воспитателя, аж задыхается вонью его слизи... И вдруг осознаёт, что же сейчас могут вытворять «кобельки» над несчастной Зоей!

Вернуться надо! Спасти!

Но в это время на крыльцо выходит Михаил, раз-другой окликает её. Затем затворяет за собою дверь и идёт за ворота...

Лиза садится на снег и говорит себе:

– Может, не надо было уходить... Узнала бы – девушка я или нет?

Прячась в снегу, она видит, как удаляется Михаил. Затем, не отряхиваясь, сама выбирается на дорогу, и, чтобы не зареветь, читает недавно сотворённые строки:

Греха на душу не возьму —
Я преступлений не свершала.
Но почему, но почему
Я так безвыходно устала?!

Дома оказывается только за полночь.

Арбуз

В Новосибирске коммунального моста через Обь ещё нет. Летом переправой служит настил на понтонах, зимой – лёд. И только благодаря железнодорожному мосту обе половины города круглый год соединяются передачей-электричкой.

Август. Год засушливый. Лиза возвращается домой из Кулунды. В числе молодых рабочих, посылаемых в сёла на сезонные работы, она заготавливала камыш для грубого корма скоту. А теперь она в вагоне этой самой передачи. Сидит, вспоминает недавнюю потеху в подшефном колхозе.

Лиза там была не первый раз: то на покос пошлют, то на прополку, то на жатву. Даже доверяли быть каменщиком на постройке свинарника. Даже работала трактористом во время осенней пахоты.

Председатель колхоза – Пупков Степан Иванович – пьяница и бабник, по годам – Лизин отец, пару лет с хмельной любезностью пытался учить её водить уазик. А в это лето его любезность принимает иную форму, которая теперь и вызвала на её лице улыбку...

...Вблизи такого озера и поставлена брезентовая солдатская палатка, что вмещает всю компанию заводской молодёжи, прибывшую на заготовку камыша.

На ночь в ней укладываются налево – ребята, направо – девчата. Постель – тот же камыш, прикинут брезентовыми полотнищами. Одежда байковые. Наволочки набиты сухой травой.

Место Лизы в переднем углу, у стенки палатки. Рядом – подруга Машка.

Лиза научена детдомовским детством прикидываться и дурочкой, и кокеткой, и тихоней. А иной раз она способна пустить в ход прямогу, равную наглости.

Машка – существо домашнее, непуганое, потому без мимикрии.

Председатель Пупков повадился приезжать – оглядывать косьбу. Он пытается оказывать Лизе внимание, чему мешает наивная Машка. А у него, похоже, не только душа накалилась; ниже плюнь – зашипит! И пало ему в башку – обезвредить Машку присутствием «районного» любителя девочек.

И вот – оба-два на склоне дня прикатили на партийной «Волге»! И вот уже деловито перебрасывают ноги через камышовые валки, руками разводят...

А Лиза Машку подначивает:

– Глянь, какого жулика партийного Пупок для тебя притаранил! Пузо-то, видала – арбуз арбузом!

– Видала, – до смешного искренне сообщает Машка. – У них в багажнике. Вот какой! – сцепляет она кольцом перед собою руки.

Лиза хохочет, спрашивает:

– Любишь арбузы? А хахаля?

– Видала я такого, – злится Машка, – в белых тапочках...

Лиза брезгливо морщится и добавляет:

– И в вонючих носках...

А кругом солончаковая Кулунда!

Пресная вода привозная – только для варева и питья. Лицо обмыть – и то задача. Желательно добыть хотя бы озёрной, но берега – сплошная топь.

А солёная пыль въедливая – ножом скреби...

Но Пупков с привычной тупизною шутит:

– Ни хрена! Просóлитесь, не протухнете...

Он вообще... по таким мелочам голову себе не морочит. Другое дело – пригласить кого на пикничок, тут у него – кровь приливает, и не только к мозгам...

Но даже он теряется, когда подружки идут навстречу с такой готовностью, словно еле дождались приглашения.

И вот в сторонке, за «Волгою» – всё как положено. На коврике и вино с коньячком, и «мировая закуска» в баночках, сосисочки верёвочкой, колбаска батончиком, балычок осетровый! Конфетки-бараночки...

Среди этого изобилия и на самом деле красуется арбуз! Лиза обожает чудо это полосатое. Потому устраивается с ним рядышком...

Районный «жулик» готов к действию: вскинутая им в стакане жидкость плещется через край.

– За любовь! – как соплёй о землю хлещет он.

Только эффект шлепка портит Машкино недоумение:

– За чью?

– За нашу! – не теряет лихости жулик и махом заглатывает стакан!

Пупков подхватывает призыв радостным «поехали» и звонким чоканьем даёт отправление.

Машка никогда не пила. Потому следует его примеру: закидывает голову... Но захлёбывается, верещит, кашляет... Пупков рвётся в спасатели. Тем временем Лиза выплескивает хмель.

Наконец Машка затихает. Но тот глоток, что она успела пропустить, оповещает сидящих тоненьким голосом, что:

...А на кладбище всё спокойненько
Ни друзей, ни подруг не видать...

Районный жулик, опершись локтем о плечо Пупкова, умело подхватывает:

Всё уютненько, всё пристойненько —
Настоящая благодать...

Но на «благодати» он обрывает песню и задаёт совсем пьяный вопрос:

– А вы, девки, знаете, сколько у меня денег?!

– Ну и сколько? – спрашивает Лиза.

– А всех проституток могу купить!

У Машки возобновляется кашель, сквозь который она пищит:

– Вы чего себе...

– Позволяет, позволяет, – как бы успокаивает её Лиза и желает узнать у «любителя проституток». – Сколько дашь?

Машка смотрит на подругу со страхом. Но тут улавливает хитрость в её мимолётном взгляде, которая указывает ей на арбуз.

Тем временем Пупков пытается успокоить «купца». Но тот стоит на своём:

– Могу!

Тут Машка вскакивает, гребёт охапкой арбуз. Лиза подхватывает сосиски...

Хохоча, они скоро исчезают в брезентовой палатке...

Ребята, уплетая арбуз, судят о том, что пьяный Пупков дурак дураком. На всякий случай место Лизы хорошо бы занять Валерке Петрову. Он изо всех самый здоровый!

И ребята не ошибаются.

Ждать приходится недолго.

Пупков не подваливает к жертве, как ожидалось, из-под края брезентового полотнища, а, нажавшись до животной течки, ломится прямо по ногам улёгшихся на ночь ребят. Но в палатке полная тишина!

Наконец заветный угол им достигнут! Слышны возня, бормотанье, чмокание... И вдруг! Громовые маты!

От раскатов хохота пузырится палатка! Её край срывается Валеркою с копылов и тяжёлой ладонью брезента хлещет по заднице выброшенного под звёзды колхозного Казанову.

Валерка, между взрывами гогота, сообщает:

– Пока он меня целовал... да титьки искал... я отбивался... А когда... туда полез – милости прошу!..

С каждым его словом палатка вновь и вновь надрывается смехом...

Лизу эта память веселит каждый раз. И теперь, сидя в электричке, она улыбается ей. А молодому полковнику, едущему двумя купе впереди, должно быть, кажется, что девичья улыбка принадлежит ему.

Где-то на втором плане сознания Лиза наконец различает полковника. Она встряхивает головой – чтобы тот проявился отчётливей в её внимании.

Но убогость её наряда тут же подсказывает ей, что интерес полковничий вроде как брезглив. Она пересаживается к нему затылком. Но при выходе из вагона полковник, уже стоя на платформе, подаёт ей руку. Лиза, дурёха, наконец соображает, что этот жест принадлежит ей! Она теряется...

Две крашенные куклы, проходя мимо, оглядываются. Решают, что такая обдергайка дочерью полковнику приходится никак не может, слышно, хихикают.

Это возвращает Лизу в себя. Ею понимается, что полковнику захотелось позабавиться...

«Хорошо! – соглашается она в себе. – Давай поиграем».

Тут же назначено свидание и время оговорено...

Лиза обычно выходит из проходной завода в семнадцать двадцать. Но в этот день – если не дождётся, то и хрен с ним!

Но в восемнадцать часов она всё-таки видит на дороге чёрный ЗИМ с полковником внутри. При всех регалиях!

«Прекрасно глядится, паразит!» – думает Лиза, в мозгах которой хихикает чья-то судная строфа:

Уж сколько раз твердили миру
Об уважении к мундиру —
Он уважается, пока
Туда не втиснут дурака.

И впрямь: для чего такой парад? А для того: пришёл, увидел... ну и всё прочее!

Так думает «потенциальная жертва», пока направляется утонуть в ослепительных лучах зыбкого обаяния.

И вот перед нею ловушкой – настезь распахнутая дверца!

В сосновый бор дорога ведёт машину явно не впервой – уж больно скоро находится место посадки...

ЗИМ с ходу разворачивается – к дороге носом...

Мигом разверзаются закрома багажника...

А чего резину тянуть?!

Полковника нетрудно понять: некогда ему упражняться с этой самой «резинкой»: понтонный мост через Обь на ночь разводится. А с утра, на той стороне города – служба Советской Родине!

Полковник потому и шустрит. На коврике всё есть, даже больше, чем недавно у колхозного председателя... И арбуз тут! Сказка!

Ну, Лизавета! Выходи из машины – любовь зовёт!

Полковник – и так и сяк... И с правого борта шуршит лампасами, и с левого сверкает регалиями! Нет доверия к отличиям, хоть ты лопни!

Какого хрена тогда соглашалась ехать?! – написано на его служивой физиономии...

Лиза-то знает – какого хрена... Всё рассчитала: и путь с той стороны города, и долгое ожидание у проходной, и неближняя дорога в бор... И то, что естественная нужда званиям не подчиняется...

И повела эта нужда полковника за сосны.

А сосны не столь часты, чтобы устроиться поблизости...

И даже не пало в служивую башку полковника, что машина брошена нараспашку. Что ключ зажигания в гнезде!

Заставляет его глянуть из-за сосны шум мотора...

Твою мать! ЗИМ угоняют! С девкою...

Откуда ему знать, что «девка» научена водить машину. Не так чтобы хорошо, но в догонялки поиграть можно...

Пытаясь на бегу застегнуть брюки, он сверкает среди зелени красными лампасами; и отстать нельзя, и догнать невозможно... Орёт – стой, стрелять буду! – хотя руки его никак не могут справиться с штанами...

Так Лиза дотягивает машину до шоссе. Дальше – боится движения. Она бросает ЗИМ, выскакивает на дорогу, голосует...

Задерживается первая же легковушка.

Устроившись на заднем сиденье, Лиза желает сказать водителю «спасибо», да вдруг узнаёт Михаила. Тот, улыбаясь, спрашивает:

– Что? Опять побег? Ну, рецидивистка!

Лиза смеётся и ругает себя:

– Вот дура! Арбуз забыла...

Камень прошлого

Михаил ведёт машину, а улыбка у него такая хорошая! У кого попало таких не бывает...

– Я всю ночь тогда тебя проискал, – признаётся он.

– Я бы всё равно не вернулась... – отвечает Лиза.

– Это понятно... – отзывается Михаил так бесхитростно, что Лиза даже становится не по себе: всего в двух словах звучит для неё такое равнодушие, что она не знает, как ответить? Потому спрашивает тупо:

– А чё тогда искал?

– А то, что ты редкая дурёха.

Лиза не обижается:

– Я это и без тебя знаю...

На что Михаил восклицает:

– Бог мой! Откуда ты?! Из какого сундука вывалилась?

– А чё, нафталином воняю?

Смех принуждает Михаила свернуть на обочину.

Он хохочет настолько заразительно, что Лиза не выдерживает и тоже принимается хохотать.

Веселье, возможно, не было бы таким долгим, когда мимо не проплыл бы ЗИМ!

Его хозяин по-звериному заглядывает в нутро легковушки, где заново взрывается веселье, которому тут же вторит раскат грома.

По корпусу звонко цокают капли. Если бы не дождь, можно было бы подумать, что это в ЗИМе взорвался полковник...

Лиза понимает, что лишний смех глуповат. А ей хочется перед Михаилом казаться умнее, ну и милосердней, что ли. Она замолкает. Замолкает и Михаил. Подступает грусть, и она тихо читает:

Ты слышишь, как отчаянье кричит
Во мне весёлым языком цинизма,
Развязной мудростью излечивая стыд?
То совесть опороченная мстит
За тайные проделки эгоизма.
Оглохни ради чистоты своей!
Пусть этот крик в тебе не отзовется.
И наших встреч такой ничтожный век
Пусть памятью в тебе надолго остаётся
О том, что я – хороший человек...

Дорога пуста. Легковушка, покачиваясь, скользит своим путём. Михаил, не то помогая движению, не то соглашаясь со звуками стихов, кивает головою. После минуты молчания просит:

– Ещё почитай...

Лизу никогда не просили так, больше принуждали уговорами... А сейчас она отзывается на просьбу в какой-то печальной эйфории. Не понимает, что жалуется:

Греха на душу не возьму —
Я преступлений не свершала.
Но почему, но почему
Я так безвыходно устала?
Я, как преступник без улик,
Ищу в признании покоя,
Но глохнет исповеди крик
Перед холодной толпою.
И я подальше от людей
Несу слюнявую наружность...
И плачет в темноте аллея
Моя преступная ненужность!

Понимает, что совсем уж съехала на скорбь. Не хватает ещё зарыдать! Потому — хихикает. Но хихиканье получается и того несчастнее...

— О Господи! — произносит Михаил, затем спрашивает, как тот моряк — на танцевальной площадке: — Кто это тебя так?..

Перед Лизой разом возникает красная рожа детдомовского воспитателя Цывика. Её дёргает — словно током! В сердце занозой впивается вопрос: что же тогда произошло, что с нею он сотворил?!

— Знаю, ты детдомовская, — словно издали слышит она Михаила. — Там, да?..

— Нет! — почти кричит Лиза, отрицая не столько Цывика, сколько Михаила! На неё накатывает убеждение, что, не осознав полностью бывшего, она не имеет права позволять ухаживать за собою кому бы то ни было. Тем более такому доброму умнице, как Михаил.

Ей становится душно. Боль переполняет грудь...

Встревоженный Михаил останавливает машину, что-то пытается уяснить. Но Лизе больно слышать его.

Она уже — на дороге.

Она уже несётся едущему навстречу грузовику, машет руками. Пожилой водитель понимает по-своему девичий призыв...

И вот, тяжело отдуваясь, грузовик, уже с Лизой в кабине, пыхтит мимо стоящего на обочине Михаила...

И снова Губошлѐп

В литературном объединении из девчат только Лиза. Остальные члены – мужская молодёжь.

А тут появляется фифа с увесистой кипюю стихов.

Когда Лиза входит в студию, молодница уже сидит напротив Губошлёпа – нога на ногу. Кудри из-под шляпки, лаковые туфли на стройных ногах и удивительный аромат духов...

Лиза тоже не из дурнушек, но без кудрей, туфель и аромата.

Фифа игнорирует всех, кроме руководителя. Она явно представить себе не может, что есть люди, которые ей не завидуют, не восхищаются ею, не лебезят перед её величеством...

В это число входит и Губошлёп – рассыпается перед нею мелким бесом...

Спрашивает, предупредив:

– У нас в литературном объединении все на «ты». Так вот, хотелось бы, понимаешь, услышать: кто ты, кем трудишься, когда начала заниматься поэзией?

И получает личный ответ:

– Зовут меня, как Уланову – Галина! Галина Беза! – произносит она горделиво необычность своей фамилии. – Отец – генерал! Мама, естественно, – генеральша!

– А ты сама-то кто? – звучит внезапно «из толпы» резкий вопрос.

– Сама? – переспрашивает она только Губошлёпа и докладывает ему: – Сама я, естественно, – дочь генерала! Когда писать начала? Не так чтобы давно. Слушала как-то по радио – читали стишки. Мне и подумалось – а разве я так не смогу? Попробовала. Получается... Вот сколько уже сочинила! – накрывает она холёной ладонью предьявленную Губошлёпу бумажную стопу.

При этом «в толпе» возникает интерес – почитай! И фифа читает с первого же листа:

– Сонет!

Горжусь тобой я, милый мой!
В столе моём живут тобой
Стихи, которых лучше нет!
Им ты помог увидеть свет!
Вчера ты нежно обо мне
Сказал соседке, что во сне
Лишь только мной одной живёшь...
Я поняла, что ты не лжёшь.
И я стремлюсь к тебе душой,
О, незабвенный, милый мой!
Как рвётся птица в поднебесье,
Во мне весенний бродит сок,
Ещё, ещё, ещё чуток...
И я спою безумья песню!

– Ни хрена! – восклицает чьё-то мнение.

– Обалдеть! – подхватывает другое...

Тут Галина оборачивается...

Она – не дура, поскольку в прекрасных её глазах сквозит настороженность. Однако её внутреннему существу непривычно понимать формы отрицания. Взгляд меняется: из-под приподнятых бровей скользит по каждому высокий взор... Доходит очередь и до Лизы – дескать, ты, что ли, сказала? Лиза вдруг тянет себя за уши и высовывает язык...

– Ну! Ты! – вспыхивает красавица.

Однако Губошлёп успеваает произнести:

– Не обращай на неё внимания. Это у неё обычное... – поясняет он, затем начинает убеждать красавицу, что стихи у неё, понимаешь, нормальные. Но тенденция у нынешней поэзии – трудовая направленность, вызванная стремлением советского человека к коммунизму!..

– Для этого существует проза, – не соглашается Беза. – Она от выдумки. А поэзия – наитие! Это проявление Божественной воли!

– Поньмаешь ли, – продолжает убеждать её Губошлёп. – В наше безбожное, так сказать, время трудно опубликовать стихи подобной тематики.

– Так ты ж пока ещё и не пробовал!..

Красавица раздражена, потому кроет руководителя на «ты»!

– Хорошо! – не смеет он не уступить её натиску. – Я постараюсь предложить твои стихи редактору «Сибирских огней».

– Хорошо! – смягчается она и убеждённо спрашивает: – А когда можно будет получить гонорар?

– Тудыт твою мать! – не сдерживается Лиза. – Да у твоего отца денег – куры не клюют!

– Не клюют! – соглашается фифа. – Но мне пора иметь собственные! А то на туфли – проси, на духи... французские – проси...

– На маникюр, на кудри... – подсказывает кто-то из ребят.

Галина снимает шляпку, трясёт превосходной гривую волос и сообщает:

– Кудри у меня свои!

– Ну ладно! – решает она, поворачиваясь к Губошлёпу. – Завтра ты относишь мои стихи в журнал – пусть почитают, а через недельку я сама с ними поговорю...

В дверь студии заглядывает плечистый парняга: причёска – коком, на галстук – мартышка... Спрашивает с нетерпением:

– Долго ты ещё тут?!

Галина поднимается, произносит: «Иду» – и сообщает всем:

– Машина ждёт – извините...

В комнате остаётся неловкость и французский аромат.

Нарушая молчание, Лиза со вздохом тянет:

– Да-а! Ни хре-на-а себе...

И медленно проговаривает:

Жаль! Рифмачи не понимают —

Стишки стихами не бывают!

Кто-то из ребят восклицает:

– О! Вспомнил! Этот парень – наркоман!

Перед окончанием занятия Губошлёп обращается к Лизе:

– Задержись на пару минут.

В опустевшей комнате он спрашивает её:

– Тебе, вижу, духи понравились?

– Ещё бы!

– Хочешь такие?

– А на что я жрать буду?..

– Так вот, – предлагает он. – Я беру тебя к себе на подработку. Техничкой. По совместительству. Там дела-то, вечером – на пару часов... И покупай себе... чего надо. Согласна?

– Ещё бы! – повторяет Лиза.

Следующим днём она стоит перед начальником отдела кадров соседнего завода. За столом – должностной Иван Архипыч – Губошлѐп. Он говорит вполголоса:

– Так, Лизавета! Я решил оформить тебя на полную ставку. Тебе же при этом ничего делать не надо...

– Это как?

– А так, – уточняет он. – Каждый месяц получаешь зарплату, половину оставляешь мне, половину себе. И – гуляй... И всё!

– Нет! Не всё! – возражает Лиза. – Ты, падла, уверен, что все детдомовские – подонки.

– Ради бога! Потихе: люди за дверью...

Но Лизу уже не остановить. Она почти орёт:

– Ах ты, сволочь! Да мне твои духи говном вонять будут...

Она торопится оставить кабинет, распахивает дверь и с порога договаривает:

– Ворюга! Ещё Бога вспомнил!

От завода к дому пѐхом – версты четыре. Сегодня дорога и того длинней – она так и тянет вернуться и врезать Губошлѐпу по морде. Но Лиза только повторяет:

– Вот гад!

Смеркается. Издали она видит, что у дома её поджидает Михаил!

Лиза рада бы пройти мимо. Но перед нею расцветает букет ромашек.

Какой мучительный аромат! Куда французским духам...

На плечах его тёплые руки, по коже – мороз. За спиною – ласковый шѐпот:

– Девочка моя!

А ей хочется в кровь разгвоздить прошлое, которое Лиза никогда не посмеет ему объяснить, с которым невозможно смириться...

А значит, нельзя согласиться с присутствием в её жизни Михаила.

– Не-ет! Не-е-ет! – крутит Лиза утонувшей в цветах головою, отрицая разом и прошлое, и настоящее. – Нет!

Михаил пытается развернуть её лицом к себе, но она рвётся прочь и исчезает в подъезде...

Новые сани

Ночь. Лизе обычно хватает пяти часов выспаться. Она сидит на третьем этаже кирпичного дома, у окна своей коммунальной десятиметровки.

История получения этой комнаты более чем странная.

Такой же ночью не спала она в бывшей ванночке. По радио звучало: «Климу Ворошилову письмо я написал...» И приди ей в голову шальная мысль: а почему бы и мне не написать? Как родному отцу... И тут же письмо наполнилось и расстрелом отца, и детдомами, и ванной комнатой, и даже поэзией... По дороге на работу письмо оказалось в почтовом ящике...

Дерзость ею быстро забылась.

Но вдруг! У проходной завода её поджидает милая старушка – секретарь директора завода, ценившая Лизу за стихи. Сообщает, что из Москвы получено письмо, в котором она упоминается, что директор завода неделю как держит его «под сукном», что в обед никого в приёмной не будет и Лиза без помех сможет оказаться у директора...

И она оказалась!

За продольным столом сидят несколько человек какой-то комиссии! Не глядя на отчаянные жесты хозяина кабинета, она заявляет:

– Пока не отдадите письмо, не уйду!

Пришлось отдавать...

Письмо приказывало директору завода обеспечить жилплощадью Е.Л. Быстрикову – согласно норме, установленной законом!

И теперь у Лизы есть и кровать, и диван, и стол, и даже стулья, и даже швейная машинка – подольская! Купленная по случаю.

Счастливой Лизе хорошо пишется!

Но если сейчас побывать в её голове, вряд ли кому повезёт что-либо там понять...

Вообще-то в ней должны быть строфы, но там – проза! Там – бабушкина пластинка, таких же почти размеров, что и нынешнее Лизино жильё. В той избе около десятка человек – спят на сундуках, на полу, на полотах... В подполье, под самые половицы, вода – недалеко

от хибары знаменитое Татарское болото. А надо всей этой нищетой витают – война, голод, чахотка, вшивость... У Лизиной бабушки, у Баранихи, имеется всё-таки какое-никакое подспорье – огород, соток десять!

Но в сорок третьем году обок этого надела решают строиться эвакуированные. Дом задуман огромный, добротный! Явно не с пустыми руками удралось будущим хозяевам в тыл...

Вот уж действительно: кому – война, а кому – мать родна...

Да чёрт бы с ними, но они отрезают бабушкины пол-огорода...

Лиза в семье самая маленькая, считается бестолковой. Бабушка при ней мало задумывается – дать или не дать своему отчаянно полную волю...

Тем она частенько гасит во внучке радость детства.

Ещё и старшая сестрица не спешит принимать её в свои затеи.

В бабушкиной ограде, под уютом приставленных к сараюшке досок, сестра с подружками устраивает «дома». Там идёт «стряпня» пирогов из грязи; посещение «соседей»: подражая взрослым, ведутся сплетни-беседы...

А Лиза берёт обычно старую корзину, идёт к ним «побираться».

Это её постоянная игра, сопровождаемая пением, похожим на молитвы. Их Лиза перенимает от солдат-инвалидов, которые сидят по краям высоких тротуаров заросшей болотной травой станции Татарская:

...А на это жена написала,
Что не нужен, калека, ты мне.
Мне всего только двадцать три года
И я в силах ещё танцевать.
Ты приедешь ко мне как колода —
Только будешь в постели лежать...

Или песнею, которую обожает петь дедушка Никита. Песню эту Лиза тянет на свой лад – у дедушки герои «ишли» с финского боя, а у неё:

И шли два героя с фашискава боя,
С фашискава боя домой.
И только ступили на нашу границу,
Как фриц меня ранил чижало...

За недолгое время, потеряв зятя и дочь да Сергея – сына, отпущенного из армии домой – умирать, бабушка только не каждый день, захлёбываясь слезами, спрашивает Небо: в чём перед Ним провинилась?

А Небо отвечает ей тем, что следом за этими смертями уходит сын Валентин, потом дед Никита... Остаются горе мыкать – сама бабушка, пятнадцати лет сын её Георгий, дочь Галинка девяти годов и две внучки – восьми и шести лет.

Нищета несусветная...

А тут ещё отнимают огород!

Как жить?!

Бабушкины страдания запекаются в маленьком сердце Лизы, да так на всю жизнь и прилипают к сердцу коростой. Нет-нет да память и подковырнёт эту болячку...

Вот и сегодня – закровавило... В душе Лизы она зазвучала стенанием...

То-о не ве-етер ве-етку кло-онет,
Не-е дубра-авушка-а-а шуми-и-и-ит,
То-о моё-о, моё сердечко сто-онет,
Ка-ак осе-енний ли-и-ист дрожит...

Лиза и теперь не может осознать, как возникают в ней раздирающие душу звуки: из детства ли наплывают, из космоса ли насылаются? Спит ли она сейчас, грезит ли наяву?.. Прижата ли к земле тяжестью воспоминаний или витает за окном – в бесконечной тьме звёзд?..

И тут ей видится, как одна крупинка света вырывается из глубины небес! Разгорается! Мчится, рассыпая на стороны лучи! Стремительно близится. Врывается в окно и с такой силой ударяет Лизу в лоб, что она валится спиной на близкую кровать...

Сквозь живой бред ею осознаётся, что удар проник в кровь, жаром растворился там... И теперь тело затягивает в тяжёлый сон!

Неведомая сила знала, что делает: удар приходится под выходной день...

До самого рассвета держит она Лизу под своей бредовой лавиной...

Наконец позволяет опомниться, но уже не для поэзии...

Единым махом, считай к вечеру, у неё уже готово первое диво – сказ про Бараниху. Сказ этот – виртуальная месть за былую бабушкину обобранность. Нечто странное между прозой и совершенной поэзией... И острое от новизны, и крылатое – до удивления...

И запрягается Лизавета в эту новизну сразу и основательно! Ею овладевает забота: писать бывальщины без вранья, лишённые пустословья и заигрыванья с читателем!

Так пошли годы абсолютно иной жизни!

И вот литературный семинар в отделении Союза писателей.

Молодых семинаристов-прозаиков пять человек. Сидят вдоль стеночки. Волнуются. Знают, что рукописи читаются обезличено. Только после прочтения и заверенного вывода судьи узнают имена авторов.

Руководитель семинара держит в руках чью-то рукопись, перешёптываясь с рядом сидящим коллегой, чего-то ждёт.

Лиза вспоминает, как Губошлёп по поводу сказов как-то заявил ей:

– Выброси! Не трать напрасно время. Сейчас, понимаешь, так никто не пишет.

Ребята согласились с ним, но кто-то поосторожничал:

– Зачем выбрасывать. Лет через сто пригодятся...

Послушалась – не выбросила, даже продолжала работать над сказами, но лет пять никому не показывала.

А тут всё-таки посмела отдать свои труды на авторитетный суд.

И вот тянутся минуты ожидания...

Помощник руководителя семинара не выдерживает, говорит:

– Начинай, Илья, что ли! Сколько её ждать-то ещё можно?

– Хочется всё-таки уважить пожилого человека, мало ли что может её задержать...

– Забыл, как её звать-то – эту старуху?

– Быстрикова, Елизавета.

Перехваченным от волнения голосом Лиза признаётся:

– Я тоже... Быстрикова Елизавета.

– О Господи! – восклицает руководитель. – Красавица! А я жду бабулю в платочке.

Некоторое время он откровенно любуется Лизою, потом берёт лист рукописи и начинает читать:

«Как руки ладонями сложить, так тесно со двором Пройды стояло подворье Бронники Сизаря. Жена у Сизаря и тихая, и хозяйственная, и рукодельная. А вот над самим Бронькой вся деревня смеялась: «Ты, Сизарь, поди-ка, все запятки бабке Пройде пообступал? Шумота ты бестолковая, шумота и есть! Ты пошто это со всякого восходу на людей кидаешься? Мало тебя мужики-то буздыкают?».

Илья Лавров не только признанный писатель, Илья – артист! Голос поставлен. Интонация безупречная...

Лиза не сразу понимает, что читается её работа. В себе она успевает удивиться: надо же, как здорово написано!

Руководитель же прерывает чтение, оглядывает семинаристов и говорит:

– Вот так надо писать!

Французские духи

– Рукопись твоя передана редактору «Сибирских огней», – сообщает Лизе председатель правления писательской организации. – Не торопи его, – советует. – Пусть как следует посмотрит...

– Надо бы, – говорит ей уже редактор журнала после двухлетнего (!) «просмотра» рукописи. – Надо бы посоветоваться со специалистами по фольклору – из пединститута. А то сам я не могу похвалиться тонким знанием местных наречий...

– Надо так надо, – пожимая плечами, соглашается Лиза.

В коллективе писателей Лиза, как говорится, стоит пока «у стеночки». Потому смеет всего лишь соглашаться.

Тут – не литобъединение, где общаются по-свойски.

– Ну! Как твои сказы? – каждое занятие спрашивает Губошлёп, мстя ей за выходку в его конторе. – Похвалили да свалили? А то... Куда там... Родила свинья бобра... Я те, поньмаешь, говорил: не будут такое публиковать. Стихи – ещё куда ни шло...

Лиза вдруг, от волнения забыв начало стиха, читает злобно:

...Поэты головой рожают,
Ночами у виска держа
Огрызочек карандаша.
Они,
Поэты эти, знают,
Что значит головой рожать.
Они ещё другое знают,
Что где-то там! Там!
Будет вам!
Жрецы морали холостящей,
Поэзии живородящей,
Грозят обрядом обрезанья!
И это дело называют —
Там! —
Посвящением в познание...

Лиза ладонями закрывает лицо. Её трясёт. А кто-то тихо просит:
– Может, чего-нибудь ещё прочтёшь...
– Могу, – отзывается она так же тихо и начинает:

Бьют вора!
Лежит!
А где-то у реки вальком бельё колотит мать...
С отяжкой хлещут сапоги —
Им наплевать на жизнь, на мать,
На честный люд...
Они бьют!
Бьют основательно,
Вразмах...
Со слизью белой на губах
И с малосольной кожурой.

В дремучих, топких бородах...
Топор бы им!..
Пускает дым кольцо мясник и косит глаз —
Не попадайся!
Торговка, к бочке наклонять, жуёт грибки —
Не попадайся!
Баба слёзы льёт в платок:
– Где ты? Жив ли? Мой сынок!..
...Косит кровью синий глаз —
«Люди! Только б не сейчас,
Не сейчас познать бы мне глубину конца...
Тот – в косматой бороде —
Больно схож с лица
На отца!»

– Ну, это, понимаешь, какое-то беспризорье... – оценивает Губошлёп прочитанное. – Не типичное для социализма явление...

– Не типичное?! – возмущается Лиза. – Да я своими глазами видела, как его били. Мальчишка совсем...

– Ты же сама говоришь: «Не попадайся!» – Кто-то, за спиной Лизы, поддакивает руководителю.

– Жрать захочешь – слямзишь. По себе знаю...

– Воровала, что ли?!

– И воровала, и колотили...

Тот же голос ехидничает:

– И материлась?!

– А што? Послушать хочешь? – с вызовом спрашивает Лиза, не оборачиваясь: – Могу!

Но Губошлёп торопится остановить её:

– Этого ещё не хватало! От тебя всего можно ожидать...

На что Лиза отрезает сквозь зубы:

– Подумать, так вы все тут – паиньки...

– Да успокойся ты! – останавливает её кто-то. – Лучше прочти ещё чего-нибудь.

Лизу уговаривать не нужно. Читает, тут же забывая размолвку:

То ли с неба луны беглые
Катят круглые бока?
То ли черти скачут белые,
Оседлавши облака?
То ль на пенсию по старости
Провожают сатану?
То ль мужик дерёт за стайкою
Подгулявшую жену?
Ох, и ночка нынче выдалась:
Полыхая и звеня,
Из зимы на землю вырвалась
Прорва белого огня...
Ой ты, ветреная выпогодь,
Мне ли выпала назло —
Не пройти к нему,
Не выпрыгнуть —
Избу снегом замело.
Догорает время свечкою;
Слёзы попусту теперь...
Темнота кленовой веткою
Заколачивает дверь.

Ни шороха в студии! Молчание!

Лиза не может понять: что это – успех, провал?

– Ещё почитай, – слышен непонятно чей шёпот. Она продолжает с
безысходностью:

Под окошком избы убелённой,
По стране одиноких снегов,
Вновь пластинку тоски зелёной
Раскрутил граммофон ветров.
Только видно хозяйке убогой,
Приложившей ладонь к лицу,
Как, вихляясь, пустая дорога
Виновато ползёт к крыльцу.
И старуха, ломая спину,
Долго крестится в белую жуть...
То ли просит вернуть ей сына,
То ль в последний готовится путь.

– Ух ты! – восклицает кто-то.

А у Лизы, после заново пережитых строк, душа просит одиночества. Она стремительно покидает студию.

Блуждающей по улицам, ею не ощущается дорога. Ей хорошо! Никто не хвалит и не судит... Нет Губошлёпова слоблудия...

В одиночестве она общается с Творцом, имя которому Слово! Оно сводит воедино образа и образы, мечты и грёзы... Открывает заново ей одной подаренную жизнь. Всё иное – плывёт стороной; не смешивается с её сущностью... А время замирает на страже её уединения...

Но вдруг оно срывается, чтобы догнать самого себя, и предъявляет ей среди улицы Губошлёпа.

Со своим тошнотным причмокиванием он желает поговорить с нею...

– Поньмаешь, какие у тебя были бы перспективы, если бы ты описала в стихах завод, знаменитый на всю страну «Сибсельмаш»! Это же – сорок тысяч рабочих! Это же сеялки! Сенокосилки!..

– Жатки! – дополняет Лиза. – А ещё болванки для снарядов, а ещё станки времён царя Гороха, а ещё конвейерная покраска – без вытяжки...

– А ещё, – наперекор ей продолжает перечислять Губошлёп, – публикация в газетах, журналах... А ещё – бесплатные дома отдыха... А там – Союз писателей, где командировки в любой конец Союза...

– За счёт фейерверка?! – нарочито удивляется Лиза.

Но Губошлёп её не слышит. Он излагает задуманное:

– Бесплатные путёвки, Дома творчества, выступления, встречи...
– И всё это – за фейерверк? – стоит на своём Лиза.
– За какой ещё фейерверк? – наконец доходит до Губошлёпа её вопрос.

Она поясняет, словно разговаривает с дураком:

– Одноразовый! Который вы называете стихами.

Наконец Губошлёп расстраивается:

– Рано возносишься, голубушка...

– Это – факт, а не возношение! Вы – руководитель, мы – ученики; мы – в публикации, вы – в фавор! Как же – взрастил поэтов! А что такие поэты гроша ломаного не стоят, увы, мало кто понимает... Да таких поэтов те же самые болтуны-хвалители за обедом с кашей слопают и в туалет спроводят... А у человека, глядишь, впустую жизнь прошла: заброшена похвальными грамотами в старый чемодан! Или не так?!

– А как же Маршак, а Михалков? А Маяковский?..

– Ну, во-первых, Маршак и Михалков возвращены не вашим серпом и молотом... А если говорить о Маяковском, то не такие, как я, довели его до смерти. А скорее – похожая на вашу, поньмаешь, тенденция... твою мать!

– Ты чего себе поз-воляешь?! – заикается Губошлёп.

Ответно Лиза почти орёт:

– А ты чего ко мне привязался со своими путёвками? Кто ты такой?! Я тебя не знаю и знать не хочу. Щас позову милицию...

– О! – раздаётся рядом вальяжное восклицание. – Иван Архипыч! Здрас-сте! Я иду к вам, да, видать, не вовремя...

Для Лизы сейчас только французского аромата не хватало...

Уходя прочь, она успевает услышать за спиною:

– Это наша бунтарка! Случаются всякие... А у тебя как дела?

– Подборка в «Сибирских огнях» пойдёт в ноябре, – слышит Лиза нарочито громкую похвальбу Галины...

Вспугнутое божество слова не возвращается к Лизе. Оттого под ногами грубеет асфальт, мимо проползают облезлые дома, шмыгают сторонние люди...

Только что была волшебная жизнь – без Губошлёпа, без «французской» Галины... И снова – обдергайка, именуемая платьем, брезентовые тапочки... В руке – тетрадка в клеточку...

И это всё Лиза – в свои 25 лет!

И снова у подъезда ждёт Михаил!

Протягивает ей цветы и ленточкой увязанный пакетик. Лиза почти машинально распускает шёлковую увязку...

Да будь они прокляты – французские духи!

Лиза нервно суёт флакон в карман дарителя, спешит к двери подъезда и, развернувшись на пороге, громко отказывается:

– Не приходи больше! Ты! Ты... А я... – и вдруг добавляет сквозь зубы: – Меня... В детдоме... Воспитатель... Уже полюбил... Не приходи!

Концерт

В Доме культуры завода будет концерт в ознаменование очередной годовщины советской власти.

Лизе вспоминается...

Как-то в одном из детдомов появляется гармонист.

А лето!

Дом – бывший барский. Огромные окна отворены. За окнами – березняк! Дальше – тайга! И синее, синее небо!..

Лизе тогда, за успешное окончание шестого класса, подарена косынка! Ни у кого нет, а у неё – беленькая, в цветочек!

По случаю конца учебного года предстоит праздничный обед с самодеятельностью!

Гармонист готовит концерт. Старается. Но морщится, хотя понимает: с ребятами никто никогда не занимался. Ещё и стесняются...

Тогда он в комнату занятий приглашает ребят по одному. Опять недоволен: певуны никудышные...

А у Лизы в голове проявляется нечто новое, его нужно запомнить! Она больше ни о чём не может думать, потому досадует – на фига ей это пение! Но заставляют... А в ней без конца повторяется:

Тайга вековая!
Сосна к сосне
Вершины свои в облака вонзили...
Не здесь ли пульсирует в полусне
Лохматое сердце чалдонской Сибири?
Не здесь ли былины безмолвные спят?
Не здесь ли забытые тайны уснули?
А сосны над ними стоят и стоят
В бессменном почётном своём карауле...
Карауле, карауле...
В бессменном... почётном...
Ни звука!
Но! Чу!

Кажется, получилось:

Дальний куст задрожал —
Трусливую птаху встревожил собою...
Не древний ли там человек пробежал
И затаился за старой сосною?!

Получилось!

Душа её ликует! Ей мало в груди места! Она рада сейчас
полюхнуть даже песнею, как полётом... Откуда только голос берётся?
Гармонист ошарашен...

В окна заглядывают ребята... А в словах Лизиной песни, заученной
от бабушки, пылает пожар, в котором высвечивается обезволенный
завоеватель мира:

Шумел, горел пожар моско-овский,
Дым расстилался по реке,
А на стенах вдали кремлё-овских
Стоял он в сером сюртуке.
И, призадумавшись, вели-икий,
Скрестивши руки на груди,
Он видел огненное мо-оре,
Он видел гибель впереди...

Гармонист сливается с гармошкой, наперекор состоянию
Наполеона, блаженствует, закатывая глаза и шевеля губами...

Не помня двух строк, Лиза не смущается, озвучивает их только голосом и дальше поёт:

...И тихим голосом созна-анья
Он сам себе проговорил:

– Зачем я шёл к тебе, Росси-ия,
Европу всю держа в руках?
Теперь с поникшей голово-ою
Стою на крепостных стенах...

Дверные створки поскрипывают. За порогом шепотки:

– Во! Даёт Быстричиха!

– Теперь её... вообще – пальцем не тронь...

Но песня не заботится о защите исполнительницы, она повествует о том, что думал Наполеон Бонапарт 135 лет назад. А он думал:

...Войска все, созданные мно-ою,
Погибнут здесь среди снегов,
В полях истлеют наши ко-ости
Без погребенья и гробов.
Судьба играет челове-еком,
Она изменчива всегда:
То вознесёт его высо-око,
То бросит в бездну без стыда...

Гармонь ещё звучит, а Лиза уже пугается – стих-то свой недоучила!

– Куда ты? – шумит ей вослед гармонист. – Вернись! Ты же – талант!

Но «талант» уже в коридоре. «Талант» шепчет своё:

...Не здесь ли пульсирует в полусне
Лохматое сердце чалдонской Сибири?..

Тогда гармонист куда-то исчез. Говорили – запил. Концерт не состоялся. Но Лиза о нём не печалилась. А теперь она зачем-то вспоминает, что может петь. Душа рвётся овладеть непонятной силою... Она не осознаёт того, что поэту необходим слушатель. Она хочет знать, услышат ли её голос люди?

Губошлёп частенько организует ребятам выступления, но Лизу не приглашает.

– Развела, понимаешь, лирику, – говорит он. – Не хочешь писать по-человечески, как хочешь...

– По-человечески – это по-вашему? – вроде как наивничает Лиза.

Губошлёп понимает её умышление, но отозваться надо: всё-таки – наставник! Потому отзывается:

– По-рабочему! А это значит – по-советски!

– Это вы по-советски хотели техничку из меня сделать?

Разговор идёт при всём объединении. Губошлёп теряет до кашля. И уже сорванным голосом оповещает:

– Ладно, ребята... Что-то я занемог. Ступайте домой. До пятницы...

Лиза домой не торопится. Она, одинокая, бредёт парком, подшвыривая ногами оборванную сентябрём листву. Думает: стоит ли быть задиристой? В то же время образует рифмы. Она словно разом движется по земле и витает в потоках неведомой силы, где улавливает слова, посылаемые наитием. А строки стремятся к Михаилу, потому сомневаются и лукавят:

Не надо о любви, не надо.
Мне не дано себя понять.
Я и тогда, когда ты рядом,
Чего-то продолжаю ждать.
Мне хорошо, как летом в поле,
Брести неведомой тропой,
Не чувствуя щемящей боли
Моей вины перед тобой.
Здесь всё и ясно, и понятно.
Легко и плакать, и любить...
О, как не хочется обратно
Из этой сказки уходить.
Туда, где надобно досаду
Словами фальши прикрывать...
Не надо о любви. Не надо!
Мне не дано тебя понять.

Издалека Лиза видит у своего подъезда человека.

«Опять ждёт! – надеется она и противоречит себе. – Думает, что я цену себе набиваю».

Она придерживается за клёном – ждёт: уйдёт ли...

А новые строки, словно зимой голодные воробьи, спешат слететься на её мозги, как на жменьку брошенных семечек:

Ничего объяснять не желаю,
Ничего повторять не хочу...
Всё отрину!
Я твёрдо знаю —
Мне любая беда по плечу...

Словно стреляет она в Михаила стихами и уже не прячется, а идёт в наступление – прогнать!

Но! Перед нею Губошлёп!

– Ты чего тут забыл? – хамит Лиза.

– Поньмаешь, – произносит тот ненавистное для неё слово. – Ты это... Не ершись... Совсем-то уж... Ну, сваял я дурака... Прости... Не век же помнить?.. Скажи вот лучше: когда у тебя отпуск?

– В декабре! – настораживается Лиза.

– Ты бы не хотела поехать в дом отдыха? Бесплатно.

– С тобой, что ли?

– Хочешь – одна, хочешь – со мной...

Лиза хлещет себя ладонями по бёдрам и восклицает:

– О Господи!

И матерится – по-детдомовски.

– Ну, всё! – вдруг успокаивается она и обещает: – Будешь ты меня помнить!..

Да! Упомянутый концерт!

В заводском клубе, перед праздником Октября, он всё-таки состоялся.

Лиза не учла того, что ей необходимы совсем другие слушатели.

За кулисами, в гримёрной, под сопровождение умелого баяниста, она прекрасно исполняет романс «В запылённой пачке старых писем...».

А со сцены?

Со сцены она видит, как зал потешается над её исполнением.

Ею особо выделяется среди публики Губошлёп с кривою усмешкою и Сашка из заводского отдела комплектации, который от хохота задирает колени...

Но Лиза не кидается за кулисы. Лиза спокойно допевает романс.

Всеми на заводе смакуется её позор. А ей плевать... Она далека от суеты; она – в своём мире – одна там, где никакая суета её не касается!

У неё – свой Бог! Свои понятия о человеческой сущности. И всё-таки...

По дороге домой её преследует кривая улыбка Губошлёпа.

Я шут!

Смотрю на короля,

Тая сюжетную измену...

Но шутовская роль меня

Ещё не вывела на сцену...

Уж замуж...

И зима проходит, и весна...

Лето!

Михаил больше не появляется.

Узнать бы! Но с красавицей Зоей, после ночного побега Лизы, отношений – никаких!

Как-то встречается Николай. Улыбается.

Лиза кивает:

– Здравствуй! Как дела?

– Живём, слава богу! – отвечает.

– А Миша как?

Молчание. Потом вопрос:

– Ты разве не знаешь?

– А что я должна знать?

– Так он же утонул!

– Как! Утонул?

– На рыбалку поехал на мотоцикле. С откоса хотел к берегу подрулить – тормоза отказали. А там – обрыв! Успел бы вынырнуть, да ногу мотоциклом придавило. И всё!

И всё! Пустота!

Но этой пустотой грудь заложило – не продохнуть. Странно! Пустота! А не продохнуть...

Настолько всё странно, что можно одной сходить на танцы...

Молодость, она, конечно, берёт, но не всегда своё...

Теперь Лизе всё равно: кто там, за танцевальной площадкою, валтузится из-за неё. Она танцует с красавцем писанным – Гошей Защёкиным.

Гоша дурак, каких свет не видывал. Ноги у него, правда, умные. Отлично двигаются. Если смотреть со стороны: то вместе Гоша с Лизою – пара хоть куда!

А у стеночки у решётчатой стоит Володя Войцеховский! Бледненький стоит, удивлённый! Смотрит во все глаза, но Лизе его нисколько не жалко... Он явно пытается убедить себя, что видит ту самую – рэушную Петрушку.

Гоша старательно кружит Лизу, уводит на другую сторону площадки. Когда же вытанцовывает обратно – Володи нет! Тоже, видимо, канул... в воду времени...

А в сердце Лизы – ледяной период: и танцевать может с кем угодно, и, опять же, одна пойти на пляж. Она – женщина! Она даже заледенелой душой понимает, что не следует таить роскошь своей красоты от созерцателей... Теперь она просто – картинка.

Один из созерцателей тут же отмечает её появление у реки:

– О! – громко восклицает он. – Русская Софи Лорен!

Пока Лиза купается, на расстеленном ею по песку банном полотенце устраивается ухажёрик с бледненькой бородёнкой – дохленький, как Войцех.

При хозяйкином приближении он любезно отодвигается на край постилки и услужливо пытается шутить:

– Садитесь, пожалуйста... на моё место.

Жалко его – не знает Лизы.

Она с такою силой выдёргивает из-под «любезника» полотенце, что он валится головою на грудь дремлющего рядом атланта-блондина.

Тот машинально отпихивается, смотрит на вскочившего неудачника и делает вывод:

– О! Кастрат сушёный!

И приказывает:

– А ну, отвали от неё, солитёр вяленый, а то...

Лизе не удаётся дослушать до конца красноречивую посулу атлета. Слышится крик:

– Человек тонет!

Красавец-блондин срывается с места и одним махом оказывается на плаву...

Лиза видит, как долго ныряет он, чтобы рядом с его светлой головою появилась над водой ещё и чернокудрая.

Двое парней помогают блондину вытащить тело на берег. Голова несчастного запрокинута – лица не видно.

Но ведь это же!..

Лиза рвётся к утопшему, кричит:

– Ми-ша!

Понимает: ошиблась; бежит прочь – от страшного места...

Красавец-блондин догоняет её. Шагает рядом. Несёт ею забытые вещи. Спрашивает:

– Утонул?

Лиза кивает.

И этот – тоже блондин, тоже Владимир. Но в нынешнем в одном – двое таких, как Войцеховский...

– Я – солист военного ансам-м-м-бля! – с печальным юмором представляется он и добавляет: – Ещё немного боксёр...

Лиза не любит хвастливых, но сейчас ей не до сторонних эмоций...

И чёрт этих женщин поймёт: всего лишь месяца хватает ей – очухаться от пляжного видения. И вот уже своим признанием о насилии детдомовского воспитателя Цывика она унижается перед атлетом, надеясь на понимание. Мало того: успевает кинуться на его певческо-боксёрскую грудь!

А никуда, видно, не денешься: телу – двадцать шесть лет! Оно требует своего! К тому же Лиза умудрилась убедить себя, что она, после Цывика, не имеет права на достойную любовь. Хотя женское чутьё подсказывает ей, что в теле атлета затаился бахвал, а может, и того хуже! Надёжный мужчина после такого её признания не стал бы настаивать на скорой близости. А из-под этого Лиза не сумела увернуться.

Но беда оказалась не в принуждении; Лиза с ужасом осознаёт: она только что по-настоящему утратила девственность!

Отвращение к Владимиру накатывает на неё лавиной – душит, давит, морозит...

– Чего заледенела-то, как сосулька? – удивляется он. – Чего испугалась? Не бойся! Поженимся... Лучше иди помойся. А то заляпаешь тут... кровью.

Даже в ванной комнате Лизе не плачется – не даёт брезгливость к самой себе...

– Ну чего ты... долго так? – слышен ночной шёпот за дверью ванной комнаты!

Лиза ответить не в состоянии; Владимир не настаивает.

Когда она высвобождается из добровольного заточения, он уже спит!

Утром Лиза молчком уходит на работу.

Вечером он – добрый, ласковый! Оказывается, она для него – звёздочка ясная! Оказывается – он всё понимает, всё прощает...

Ну, спасибочки! Да вот только виноватой Лиза себя не чувствует...

Пригожие женщины часто ошибаются, полагая, что и на самом деле мир спасёт красота! Враньё, бабы! Это мнение лишь одного, хотя и умного, человека! А Господом Богом сказано, что мир спасёт любовь!

Надобно, бабы, слушаться Бога!

После нищенской свадьбы, на тринадцатый день (потому и запомнилось), Лиза является с работы домой, где видит стол в объедках, кровать с пьяным атлетом, пару занюханных мужиков на полу и перекинутую поперёк их полуголую, храпящую девицу...

Лиза – детдомовщина, привыкшая защищать своё маленькое пространство!

Первое, о чём спрашивает она у разбуженного ею теперь вроде как собственного блондина: что всё это значит?!

Он не увиливает. Через пьяную губу отвечает внятно:

– Выгнали меня!

– Откуда?

– Откуда ещё-то меня могут выгнать? Из ансам-бля...

Вот тебе и... бя!

– Твою мать! – только и успевает выразить свою ошарашенность Лиза, как тут же, от налетевшего на неё кулака, оказывается на полу. Подняться не успевает – от швырка скользит к двери... Хорошо, что та открывается вовнутрь...

Мужики подхватываются и, пока Лизу мужнина сила тянет обратно, исчезают. Следом за ними полая дверь с визгом выпускает девицу.

А у Лизы – продолжаются скольжения...

Ударов она не чувствует. Зато видит белые глаза атлета; зрачки разлетелись на стороны.

«Садист!» – понимает Лиза.

На пороге появляется коммунальный дед Роман. Он говорит:

– Пошёл звонить в милицию...

И хлопает выходной дверью.

Садист махом падает перед Лизой на колени...

В голубых его глазах слёзы. Слова тенором выползают из его гортани и прилипают к душе Лизы тягучим:

– Прости, любимая! Не знаю, что со мной. Выгнали... Я ж ничего больше делать не умею... Пропаду я без тебя...

Ну и так далее – минут пять-шесть...

Его опытный глаз улавливает в лице Лизы сострадание. Он вскакивает, подхватывает её на руки, и опять... не успевает Лиза вывернуться...

«Наловчился... – думает она. – Да какой он, к чёрту, садист... Пакостник...»

А Владимир уже стоит у окна и напевает прекрасным голосом:

На трембите я сыграю, сыграю и спою —
Расскажу родному краю, как я его люблю.
Как люблю любовью сына
Всей душою Верховину,
Всей душою Верховину – красавицу мою...

Лиза в тот вечер остаётся довольная тем, что дед Роман милицию погодил вызывать...

– Сама разберись... – почти приказал он ей тем же вечером на общей кухне.

И дальше

Месяца три Владимир ищет работу. Специального образования нет. Грузчик, дворник, чистильщик вагонов, стропальщик – не царское дело! Водитель! Кто-то, когда-то, где-то немного учил его вождению. Но надо иметь права. А курсы платные...

Днями у Лизы работа: пешком до завода, туда-сюда – километра по четыре. Ночами – швейная машинка. Слава богу – руки у Лизы на месте. Никто не учил, но умеют многое. И так изо дня в день: смену отстаивай, ночами шей, мужа ублажай, курсы его оплачивай... Ни сна ни продыху... У Владимира – занятия три раза в неделю. Остальное время – заработок по случаю, который надо искать...

Но её натура не принимает отрешённости. Поэзия диктует ей и диктует:

Не усталость гнетёт, не дороги нас старят,
А порою не знаешь, зачем ты живёшь,
Оттого, что с тобою по жизни шагает,
Притворяясь родной, беспросветная ложь!
Всё, что с ложью срослось, с добротой не срастётся,
Если даже любовью добро одарит;
Всё, что ложью болит, при тебе остаётся.
И не как-нибудь так, а смертельно болит!
Отрывая её, не ругайся от боли,
Пусть виски поседеют от сдержанных слёз.
Отпусти ей грехи – все мы в жизни не боги.
Где б она прижилась, если б нас не нашлось.

В народе имеется примета: кто ест хорошо, тот и работает неплохо. С Владимиром иначе: ест – хорошо... Пением в ансамбле он зарабатывал себе на прожорство, но теперь – женины каша да макароны его не устраивают...

Сердобольный коммунальный дед Роман всё понимает – потому вздыхает, глядя на Лизу, которой стыдно признаться, что вляпалась она по самую макушку...

У Владимира каждый вечер хмельное дыхание. Дед Роман владеет тонким нюхом. Потому уходит из общей кухни, едва там появятся винные пары...

Наконец курсы водителей закончены. Теперь Владимир – за баранкой хлебовозки! Хлеб есть, денег нет. Ну что ж – с паршивой овцы хоть шерсти клок...

Однако он, видя явное отвращение к нему деда Романа, понимает, что тот разгуляться ему в квартире не сильно-то позволит. И вообще...

– Поехали к матери, – всё чаще зовёт Владимир. – У нас не деревня, а районное село! Таёжное! Ты ведь любишь тайгу? Две коровы у матери, свиньи, куры! Огород двадцать соток... Поехали. И водители там – нарасхват...

Уговорил.

Свекровь – высокая, поджарая тётка лет пятидесяти, работает наборщиком в районной типографии. Вроде причастна каким-то боком к современности, но зубы не чистит...

Для переезда приходится нанимать контейнер. Диван, стол, стулья, швейная машинка... Холодильника нет. Приёмник есть. Стеллаж

разборный... Вот и всё, что видит свекровь, когда во дворе выгружается железнодорожный этот ящик. Потом она жалобилась по деревне:

– Привезла, как путёвая! Махину этакую! Думала – богатая невестка пожаловала, а у неё – одни книги! Надо ж было на них столько денег изводить!.. Володька вкалывал, а она интеллигентку из себя корчит... Разве я для неё мать! Я, видите ли, Евдокия Алексеевна! Детдом, господи прости... Чё с неё возьмёшь...

Селянки поддакивают и дополняют:

– Такой Вовка красавец! Такой певун! И не мог в городе кого получше найти...

– Так ить... добрый дурак... Переспал – и всё... И женись...

Дом у Евдокии Алексеевны – низенькая, столетняя изба на две половины! Огород – до реки! Река Мурта – по колено! За Муртой – красноярская тайга; девственная, непроходимая!

Кроме самой Евдокии Алексеевны, в доме – её сожитель, красномордый, однорукий Остап Иванович – бывший полесский партизан. А ещё – мать Евдокии, старая баба Катя.

Остап Иванович, хотя хозяйками этого дома присвоен, на своём месте бывает набегами. В основном эта чужая собственность, спит и столуется непрописанным в «хоромах паршивой сучонки» – Гутьки Косовой.

А тут, в двойной избе, Евдокия с матерью мечтают: если взять да настоять водку на травах да напоить ею Остапа Ивановича – «сволочь однорукая» вернётся обратно и упадёт прямо в ноги...

Остап, однако, никому в ноги падать не торопится. Иной раз приходит, ночует, но никакого питья из рук хозяек не принимает! Видать, Гутька-сучонка предупредила его, что баба Катя – ведьма ещё та!

Чёрная, сутулая, носатая! Килограмм тридцать пять если в ней и наберётся весу, вместе с юбками и турецкой шалью, и на том спасибо! Ведьма, конечно!

Глядишь – удивляешься: как удалось ей выродить такую здоровенную «лошадь» – Евдокию?

Лизе на третий же день соседка Нинка доложила через невысокий заплот, чем бабка Катя смолоду занимается, и не только приворотом! И градусы гонит. Теперь на Володьке опять станет крепость их

пробовать. Началось это, когда ему ещё лет тринадцать-четырнадцать было. Евдокия ругалась на мать, а та огрызалась:

– А чё я такого творю? Ничего я такого не творю. Ты глянь на него со стороны: какой мужик поспел! На тёлку поглядывает, как на спелую девку...

Сволочь всякая

С переездом «молодых» в село «сволочь однорукая» зачастил по месту прописки.

А как-то заночевал даже. С Евдокией на сеновале. Вольготно, запашисто!

На дворе – июнь. Хозяйка успела припасти сена и для коров, и для овец.

Ею и картошка посажена – дома и в поле...

– Если навовсе поумнеет, – после ночёвки вознадеялась баба Катя, – я те, Дуська, мешать не стану. На припечике в кухне ночевать определюсь. Живите себе...

Но Остап Иванович умнеть не поторопился...

Время к осени – надо во поле картошку повторно прополоть.

Владимир – шоферит. Остап Иванович – инвалидит... Евдокия – ломовая лошадь, одна привыкла тянуть! На этот раз Лиза рядом со свекровью оказалась, должна себя показать. Да куда там!..

Сотку с тяпкой прошла – спина, гляди, переломится. Подташнивает.

Картофельная полоса на поле – первая у березняка. Самая сорная. А тут жара, гнус... Лиза – и тяпкой, и руками, и так, и на коленях...

Свекровь далеко умахала. Даже не оборачивается.

Лиза, чтобы передохнуть, просится:

– Сбегаю в лесок?

– Чё зря время терять? Садись тут, – по-своему понимает Евдокия невестку.

– Неудобно...

– Чёрт вас, городских, знает, – в поле поср... и то не присядь... – ворчит та и разрешает: – Ладно. Беги уж...

Лиза отходит подальше, чтоб свекровь не поняла того, о чём она вдруг сама подумала, заворачивая в колке за старую берёзу. Тошнит!

Головой утыкается она в комель... А тут откуда-то Остап Иванович! Кого он в роще сторожил?! Грабастает Лизу! Рука цепкая!

Прижал ко стволу, задыхается:

– Козочка моя! Денег у меня, – шепчет, – как у турецкого султана! Уедем. Пропадёшь ты с Дуськиным дармоедом...

Козлом воняет. Пыхтит. Цывика детдомовского напоминает...

Лизе и без него худо... Слабость одолевает...

Сползает она спиной по стволу – присесть. Инвалид по-своему, видно, понимает её: какая-де баба откажется от такого мужика... Подхватывает за талию.

– Ах ты, сучка поганая! – слышится голос свекрови.

Тем временем Остап Иванович поднимается на ноги и начинает срамить Евдокию:

– Дура ты, дура! – останавливает её Остап. – Тебя я, дуру, ждал... А тут вижу, Лизавета – только не замертво падает... Удержать ухватился! Помоги лучше...

В этот миг Лизу прорывает тошнота...

– Во-он чё! – догадывается свекровь. – Забрюхатела... Точно не от тебя, – ухмыляется она, глядя на Остапа. – Бог тебя за блуд за твой наказал – где тебе детей заводить... Подохнешь один, – делает она вывод и тут же велит: – Пошли отсюда! Пуцай проблюётся...

Вечером Владимир, ткнув пальцем в Лизин живот, спрашивает:

– Мать правду говорит?

– Не знаю, – отвечает Лиза. – Сходить надо в консультацию.

– Дочку родишь – выгоню! – вроде как шутит Владимир.

Только к марту живот округляется. Баба Катя говорит соседям:

– Кошку ли, чё ли, родит? До сих пор ходит поджарая...

– А страшна-то! – докладывает на работе Евдокия. – Смотреть тошно...

Лиза и в самом деле ходит некрасиво: и без того пухлые губы повыворачивались, лицо покрылось коричневыми пятнами; её постоянно сташнивает, хочется поесть огуречной плесени. Падает безо всякой причины...

– Чё ты холера сшибает? Ишь! Завалилась опять, – ворчит баба Катя, наблюдая, как поднимается упавшая во дворе Лиза. – Скалечишь ребяночку-то – Вовке на што увечный? Да и я тетёшкаться с выродком не стану...

Лиза пытается поговорить обо всём с Владимиром, но тот заявляет:
– Тебя никто беременеть не просил...

Он мало шоферит – много пьёт! Всякое в селе застолие отрабатывается им превосходным пением. Особенно любят слушать:

В том лесу соловей громко песни поёт.
Молодая вдова в хуторо-очке живёт...

У его, по отцу, тётки Нюры в начале апреля гулянка случается! Поросёнок нажрался во дворе проросшей картошки и собрался подыхать; так успели прирезать.

Конечно, праздник! А то как же? Надо обмыть...

Тётка Нюра – тоже инвалид. У неё – один глаз. По пьянке вилкою выкололи. Случайно.

Приглашается вся родня. И Остап Иванович, конечно... Он вовсе и не против... На халяву да не согласиться!

Самогона – пей не хочу!

Лиза не пьёт вообще, да никто и не настаивает.

Остальные – ого! А жрут! Поросёнок – целый подсвинок! Приходите! Всем хватит. Из Владимира сытость уже обратным ходом... Он её во двор... Там – два пальца в рот – и опять за стол...

Притом умудряется ещё и петь. Это он делает добросовестно! Песня течёт через открытые окна, разливается чуть только не по всему району. Для охотников за чужими радостями она звучит призывно. Гулянка ширится! Подтягивает:

Как-то летом на рассвете
Заглянул в соседний сад.
Там смуглянка-молдаванка
Собирает виноград...

А сколько при этом во Владимире самолюбования!

Лиза неспособна такое уважать! Смотрит безрадостно. Владимир поворачивается к ней, спрашивает при людях:

– Ну?! Чё?! Голубая кровь не выносит?!

Отвернуться бы. Но там вездесущие глаза Остапа Ивановича. Они так и лезут в душу, отчего Лиза настолько злится, что не может свободно продохнуть...

А надо бы глотнуть чистоты...

А снег талый, грязный. Лиза идёт за угол дома – в палисадник. Там чище.

Но опять – Остап Иванович... Протискивается следом в узкую калитку. Пиджак нараспашку. Брюхо – девятым валом! Лизе хочется втиснуться в талый сугроб.

– Давай уедем! – слышится под хруст тяжёлых сапог.

Единственная рука – за двух цепкая! – пытается обнять. Лиза ныряет под руку. Остап Иванович резко наклоняется и вдруг замирает – радикулит!

Лиза давно так не веселилась!

Как назло, Владимир оказывается во дворе. Он тоже давно не слышал её хохота.

А за углом – картина как на ладони: жена да матушкин сожитель. Всё понятно! И Лиза через весь палисадник летит по грязному снегу до рябинки, потом – до сосны, от сосны до штакетника... Дальше лететь некуда. Размах ботинка – метит в живот. Лиза утыкается в колени лицом – защитить будущую жизнь. Удары принимают спина да голова...

В открытое окно никаким её стонам не втиснуться – оттуда густо ломится застольная песня, в которой трижды кряду:

...По До-о-ону гуля-ает

Казак мо-ло-до-ой...

Даже материки Осипа Ивановича не могут протиснуться сквозь гущу рёва.

Слава богу – ни одного удара не прилетело Лизе ни в живот, ни в лицо...

Довольная тем, она в одиночестве плетётся домой. Баба Катя встречает её словами:

– Опять увалылась! Холера тебя сшибает... И правильно. Неча брюхатой за мужиком по пьянкам таскаться...

В ночь Владимир домой не приходит. Бабка Катя снова наставляет Лизу:

– Дура дурой... Не спишь... Чё б тебе не развалиться-то? Кровать для одной-то пошире будет... С пузом плохо ли?.. Будет реветь-то! Ничё у ево не измылится... И тебе хватит...

Не измыленный является под утро.

Лиза жмётся к стеночке. Он валится рядом и уже спит!
А ей голову одним махом полнят теперь нечастые рифмы:

А ночью глаз не видно,
А ночью кошки все черны...
Обидно, не обидно —
Обручены!

А ночью все порочны,
А ночью снова – в простыни...
И так вот... еженощно —
Без просыпа!

А днём боишься ночи,
Как вечности, как сатаны!
Но хочешь ли, не хочешь —
Обречены!
А кто-то дразнит лаской,
А кто-то манит в сторону...
То сказка ли, не сказка?
А! Всё равно!

Лаской теперь вряд ли станет её манить даже Остап Иванович. Ему тоже основательно досталось от Владимира.

Утром Лиза поднимается, хоть этим счастлива.

Но удовольствие недолгое: перед нею – реальная картина: поверх одеяла, раскинутым, лежит Владимир. Он без штанов, зато в галстук. Подол белой рубахи в крови – подтёрся после очередного «общения» с публикой...

Евдокия ж Алексеевна с той половины дома шумит:

– Лизавета-а! Володьку не буди – пуцай проспится. Слышишь, нет? Иди жрать. Оглохла, что ли?!

Но Лиза стоит посреди комнаты – безучастная.

Спустя минуту рядом появляется она, свекровь...

Лиза не хочет видеть ни её, ни Владимира...

Какой уж тут завтрак?!

А весна в разгаре! Полный апрель!

Река в мелкой шуге, но покатый берег уже покрыт одуванчиками. Одна кукушка спрашивает: как ты? как ты? Другая требует: такси!

такси!

Лиза идёт берегом, чувствует: кто-то за спиной следом!

Свекровь! Кто же ещё...

Лиза не оборачивается. Спокойно спрашивает:

– Уж не думаете ли вы, что я пошла топиться?!

Молчание.

И слова Лизы уплывают в тишину, как в согласие:

– Не ждите! Если надумаю, то сперва ублюдка вашего утоплю...

И потом

На процедуре развода Владимир ведёт себя проще простого. Его спрашивают: почему согласился на развод?

Отвечает:

– Пью. Гуляю. И не думаю бросать.

В городе наверняка бы не развели по причине беременности супруги. В селе Владимира знают как облупленного – бабник, задира, гулеван...

По сути, из того, что пожелала Лиза, сотворяется решение суда: первое – брак расторгнуть; второе – назначить алименты (с согласия ответчика) в твёрдой сумме 25 рублей в месяц; и третье – бывший супруг обязан оставить такую-то такую в покое, пока не найдёт возможным вернуть её туда, откуда привёз.

Для Лизы – неплохо!

Надо заметить, что, уезжая из Новосибирска, она оставила за собой городскую прописку; комнату сдала по договору – вернуть по первому требованию.

Возвратиться ей, слава богу, есть куда. Но не на что. Жалкие её рубли давно ушли на переезд и прожор...

После же развода свекровь отказывает невестке и в молоке, и в яйцах. Даже овощами её тайком снабжают в основном соседи.

Лиза вынуждена «похвастаться» перед Нинкой (так зовёт ближнюю соседку Евдокия Алексеевна), что умеет шить. Появляются желающие. И ещё она признаётся, что может рисовать. Появляются клиенты, поскольку великим счастьем считается возможность приобрести в магазине палас или ковёр.

А многим желалось видеть над кроватью хотя бы примитивный гобелен...

Лиза не знает, как точнее назвать такое «полотно». Однако берётся она малевать и на брезенте, и на старых покрывалах, а порой и на мешковине рогатых оленей, изгибистых лебедей, лежащих на берегах рек и озёр дам с пышными формами...

Да уж, действительно! Нужда заставит – горбатого любить...

Владимир ничего не хочет знать: он домашними делами не озабочен.

Лизе приходится мириться. Она понимает, что если вернуться домой и там родить, а дальше – как? Тут хоть малость заработать можно... В магазин можно сбегать... Всё-таки бабушка-прабабушка в доме. Поди-ка, не дадут малому изреветься...

«Надо терпеть! – решает она. – А там видно будет».

В поэзии её начинают уже одолевать потёмки. Хотя голова ещё пытается вершить начатые строки. Получается унылое:

Греха на душу не возьму —
Я преступлений не свершала.
Но почему же, почему
Я так безвыходно устала?
Я как преступник без улик,
Ищу в признании покоя,
Но гложет исповеди крик
Пред равнодушною толпою.
И я подальше от людей
Несу надменную наружность.
И плачет в темноте аллея
Моя преступная ненужность.

Владимир хотя бы не досаждаёт...

В нём присутствует нетипичное для русского человека благородство – он даже пьяным совсем не матерится.

По Лизиним подсчётам, пятого мая – время родить. Но уже двенадцатое число... Свекровь всё-таки тревожится:

– Уж не помер ли он у тебя?

– Ну да... Помер... – отвечает Лиза. – Живот ходуном ходит... Пока я на ногах – затихает, а сяду – пляшет...

Как-то, ещё до этого разговора, в сельской лавке Лизу встречает старая повитуха и безо всякого вопроса заявляет:

– Парня жди!

Прошла ещё неделя. Наконец среди ночи свекровь услышала стоны. Надо отдать должное, в доме всполошились все. Подхватывается даже полухмельной Владимир. Он, пожалуй, суетится больше всех...

Наконец мать приказывает:

– Веди давай! Хватит топтаться!

Но у порога останавливает:

– Господи! Володька! Штаны-то надень.

В другое время посмеялись бы. Но тут – не до смеха: у Лизы – кровь!..

Четвёртые сутки продолжаются схватки.

Случись такое в городе, ребёнка уже бы силком выпустили на белый свет. Сельский же акушер решает: подождём...

Схватки продолжаются – каждая через четыре минуты! В эти минуты Лиза цепляется за рёбра стола, виснет на кроватных спинках, елзит от боли по полу...

На четвёртые же сутки вечером акушер приказывает:

– Готовьте в хирургию... Утром – кесарево...

Всю ночь от Лизы не отходит медсестра – жалостливая немка. Она повторяет, сама почти всхлипывая:

– Кричи, торокая! Кричи – легче путит...

Владимир во все дни в больнице не появляется... Он где-то поёт:

Сына подарила мне жена,
Очень угодила мне она
Маленьким мальчишкой,
Крохотным сынишкой.
Вместе с ним в мой скромный дом
Пришла весна...

Операция назначена на девять утра. Лиза рождает в семь сорок. Парень! Четыре килограмма девятьсот восемьдесят граммов.

Все удивлены: где мог поместиться такой богатырь, когда у матери был почти плоским живот?!

Владимир является только утром пятого от рождения дня. Он стучит в окно палаты. Кричит:

– Я тебе платье принёс... Твоё! Выходи – проверим: испортилась у тебя фигура или нет?

– Ой, дура-ак! – не удивляются, а уточняют соседки по палате.

А «дурак», без ведома Лизы, умудряется назвать сына Алексеем. Хотя она мечтала о Марке.

Таким вывертом намеревается он дать сыну свою фамилию – вписать в метрику себя как отца. Номер не проходит: на место записи родителя ложится чёрная полоса!

Страшно

Лизу выписывают домой в конце мая. А в июне баба Катя ворчит:

– Первая ты, чё ли, на свете рожаеть – развалилась, лежишь! Делай всё за тебя... Евдокия с весны никак не доберётся – крылец помыть. А у меня – спина уже корою сосновой взялась... Нагнись – треснет...

Пришлось мыть.

Увидала Нинка-соседка, орёт через ограду:

– Эй! Бабка Катерина, старая ты курва... Очумела – роженицу полоскать на ветру... Иль не ведаешь: сляжет бабёнка. Молоко пропадёт... Ты ж, сука старая, воды не поднесёшь...

– Отвяжись, язва сибирская! – отругивается старая. – Я вон Дуську свою под копною родила, в юбку исподнюю завернула и стоговать отправилась. Ни хрена с твоей бабёнкой не делается.

А вот и сделалось: вторым вечером, да обвалом – сорок градусов! Ребёнку – месяц, а мать – в лёжку! А отец – на концертах! Иначе ему прямо никак!.. Первый певун в районе... Жена лежит – с подушкой спеклась, а он перед зеркалом бриалинится. Старая и та заругалась:

– Петух голосастый... Опять ли, чё ли, до курёх намылился?

Владимир отшучивается:

– Породу, свет-баушка, надо ж кому-то улучшать... Ишь, какие у меня богатыри получаются!

– Мимо конторы побежишь – скорую хоть вызови, – наказывает «свет-баушка».

– Обязательно, – доносится уже из-за двери...

Раскалённая маститом грудь долго перекидывает молодую мать из небыли в небыль... Да, слава богу, дело не доходит до операции! Хотя толку от такой груди уже никакого. Спасибо корове, которая в этот год осталась яловой. А ещё свекровке – решила наконец уделять молока.

У неё, у Евдокии Алексеевны, новое горе: оказалось что Остапова Гутька Косова, «сучонка паршивая, всё-таки забрюхателя»!

О том свекровь узнаёт, когда забирает Лизу из больницы. И вот уже сколько дней она рёвом ревёт.

– Корову, слава богу, не забывает доить, – жалуется старая Катерина соседкам. – Ёй ишшо ж на работу ходить надо – попробуй-ка вовремя не явиться!..

Однако Евдокии Алексеевне ни дневные, ни ночные дежурства любить не мешают...

Пушкин, такой-сякой, оказался прав, когда сообщил миру, что любви все возрасты покорны!

Евдокия от Гутькиной тяжести напрочь лицо потеряла. Бабы сельские, особенно при Лизе, очень стараются жалеть её: хорошая-де бабёнка, а он чё над ею вытворяет... Никакой надежды не оставил... паразит культяпый!

Лиза вынуждена, как может, хлопотать по хозяйству... Спасибо, помогает соседка Нинка. А Володька либо шоферит, либо зарплату прогуливает...

На дворе – июль! А это – поливы, прополки, заготовки... Ему – хоть бы хны...

Баба Катя упрекает внука:

– Ты даже не знаешь, где чё в огороде посажено...

– Вырастет – узнаю, – отвечает он.

К августу Евдокия Алексеевна немного смиряется со своей бедою.

И вот: огород убран, соленья в погребе. Скирда сена – за сараем. Дрова колотые – в поленнице. Хатёнка утеплена. Осталась только картошка...

Всё это, можно сказать, её руками... Сынок у Лизы беспокойный; молчит только тогда, когда мать рядом...

Время – к осени. И вот тебе... Остап Иванович возвращается – на готовенькое-то!

– Не верю, – докладывает он Евдокии. – Не могла Гутька от меня затяжелеть...

Чужим горем счастливая Евдокия – суетится, ожила!

Маленькому Алёше почти четыре месяца – бутуз! Добреет прямо на глазах, но орёт без матери – шагу не отойти.

А что со стихами? Брезжат постоянно в голове, а не вырисовываются.

Однажды мечта всё-таки выплеснулась наружу печалью. И когда-то написанные строки стали началом стихотворения:

Ничего повторять не желаю,
Ничего забывать не хочу...
Всё приемлю, но твёрдо знаю:
Мне любая беда по плечу!
Мужем бита, любовью обманута,
Умудрённая горькой нуждой...
Жизнь моя до предела натянута
Тетивою на быт тугой!
Чем коварнее зло, чем убористей,
Чем настырней рука беды,
Тем точнее и тем напористей
Метят стрелы моей мечты.
Тем точнее в неё попадаю,
Тем увереннее шепчу:
Ничего повторять не желаю,
Ничего забывать не хочу!

По сути, Лиза не кокетничает, думая таким манером о своём нынешнем положении, хотя врёт о метких стрелах...

Но ни время, ни страсти её не оупили. В ней постоянно растут и зреют понимание и напевность русского слова...

Красочный язык деревни полнит её надеждою. Она дышит им. Она купается в нём. Нырять до самых его глубин и возносится к молитве его восторгом, живёт великой его добротой и неповторимостью...

Слова сами собой слагаются в присловья...

Это удивляет Лизу тем, что она не может понять, каким образом они выстраиваются в ней так, что проявляют собой нечто вековое, народное...

Всё это наслаивается в памяти Лизы. Никаких записей, никаких дневников...

На дворе – бабье лето! Пока время есть до копки картошки, Лиза берётся разобрать рукописи прошлых лет. Укладывает стопкою на стеллаж. Сама читает шёпотом:

Кряхчет созрани дед по-утиному,
Топоршась на пригревок окна...
Перепуталась паутинами
Золотая моя сторона...

Затем:

Люблю я осень – земную стынь,
Где зелень сосен в кострах осин,
Да сонный лепет уставших трав,
Да отблеск лета в речных глазах...

Или:

Заплясала осень по лесу,
Привязала вьюги к поясу,
Затянули небо синее
Тучи сивою холстиною...

Осень! Осень! Осень!

Октябрь приносит в дом новую волну несчастья. Остап Иванович заявляет:

– Ухожу. Совсем. До Гутьки! Вчера сына принесла! Две капли – в меня!

А на неделе по селу тревога:

– Пропал Остап Иванович!

– В больницу ни до сына, ни до Гутьки не приходит!

– Гутька ором орёт...

Лиза видит, что и со свекровью вовсе неладное творится: сядет – глаза в одну точку... Часами сидит!

А тут ещё Нинка, только не каждый час спрашивает через заплот:

– Остап Иванович не появлялся?

– Отстань ты, ради бога! – раздражается Лиза.

И снова остаётся Нинка с вопросом:

– Куда мужик подевался?!

– В сарае у нас прячется... – дерзит Лиза. – Привязалась со своим Остапом... Сходи – проверь...

– Да я так... Не злись. Свекровушка твоя, гляжу, тоже... Как пришибленная...

Лиза и без Нинки видит – свекровь не в себе!

Думает:

«С ума сойти! Неужели можно так любить... в пятьдесят-то лет?! – Удивляется: – Старуха старухой, зубы не чистит, а туда же... Прямо – шекспировские страсти».

После пропажи Остапа Ивановича, на четвёртый день – воскресенье. А в понедельник село гудом загудело: нашёлся! насмерть убитый!

Уборщица, до прихода работников, решила в типографии порядок навести.

Уминает она в корзину бумажные обрезки, несёт вывалить – под навес. Там целая куча такого добра. Вытряхивает. Руками подгребаёт. Шлёпанец из-под обрезков выныривает. Странно! Вроде носить ещё можно... Зачем выкинули? Авось другой найдётся. Разгребаёт обрезки – нога! Да здоровенная! Разом сообразила – чья! И завопила...

А милиция напротив типографии... А рядом остановка автобусная. Всё правильно – центр села. И школа рядом, и клуб, и сельпо...

Народищу – махом; полная ограда набилась!

А вот и Евдокия на смену идёт...

Видит – толпа во дворе типографии. Останавливается посреди дороги, стоит, разворачивается – и в милицию.

Село к обеду уже толкует наперебой. Оказывается, дело было так:

– В среду, нет, ещё во вторник ночью... Гутьку везут в больницу – рожать.

– В четверг, паразит культяпый, у неё с утра побывал, сына признал. Днём от Дуськи собрался, ушёл...

– И тем же вечером, сволочь безрукая... Знал, что у Дуськи ночная смена. Дом-то Гутькин только что не рядом с типографией...

– Нажрался, конечно, и в одних тапочках поёрся к ней на работу...

– И зовёт Дуську – пойдём, дескать, посидим под навесом...

– Вот и посидели, выходит...

Пересуды бабьи оказались не так уж и далеки от истины.

Под навесом не только обрезки свалены. Там из-под рулонов бумаги железные стержни брошены... И старый литерный станок – на боку валяется...

Садятся. Остап и жалуется Евдокии...

Это уже потом, на суде выясняется. Бабы о том же толкуют:

– Я, – говорит, – с Гутькой так, подживаюсь... Тебя, дескать, люблю. Давай прямо сейчас докажу... Дуська ни в какую...

И Нинка досказывает старой Катерине через заплот:

– Дуська ни в какую! А он, гад, своё: я, мол, к тебе, как пионер – всегда готов...

И дальше поясняет она другим уже соседям:

– У блудливых мужиков вся кровушка в такое время от мозгов к мундштуку приливает; надо успеть нижней мудростью пофорсить. А то отлив, не приведи господи, случится... Остап и валит Дуську прямо на землю. Она горем захлёбывается, а он – любовь у неё добывает...

На суде то же самое выясняется: прижал пузом – не даёт вывернуться... Шарит Евдокия по земле – чем бы его образумить. И подвернись ей под руку стержень! В страстях-то Дуська не вспомнила, что он железный, и гвозданула Остапа по башке... С одного маха захлестнула! Потом уж... завалила обрезками и забыла!

А когда его нашли, семнадцать ран насчитали! Во как допекло бабу!

Когда увидала Евдокия народ у типографии, тогда только вспомнила, что натворила... И признаваться пошла...

Старая баба Катя убита горем. Соображает плохо. Руки трясутся. Огня в печи не может развести.

Лизавету с утра в милицию вызвали. Володьку только война разбудит – к утру еле живой приполз. В избе – волков морозить. Как назло, никакой газеты под руками – дрова подпалить. А тут ещё правнук орёт...

Ад крошечный! Старая прикидывает в полупамяти:

«У Лизаветы полно бумаги мараной. Руки, знать, не доходят повыбрасывать. Сгодится – печку растопить».

Когда Лиза возвращается из милиции, печка пылает, в доме тепло, Алёша урелся – спит рядом с никаким отцом. Баба Катя чистит картошку и горюет...

У печи скомканные остатки поэтических рукописей...

Следствие

Остапа Ивановича Дзюбу в селе считали проходимцем. Говорили, что он пятое, а то шестое место и у нас, и в России поменял. И всё женится.

А у бабы Кати в Красноярске сестра. У сестры – дочка. У той дочки – муж Николай, который майором в милиции служит! Этот майор просит Лизу пока не уезжать. При следствии по уголовному делу лишней свидетель не помешает.

Сам он едет на Брянщину или Псковщину – узнать Остапову подноготную. Там он докапывается до того, что Дзюба Остап руку свою потерял не на войне, а до войны. Что в молодости он умудрился угнать у цыган пару лошадей и продать их на рынке мясом, за что и поплатился рукой...

А в годы войны пошёл полицаем и отличился беспредельщиной. В одной из деревень его старанием заживо сгорела целая семья. И ещё набралось всякого – по мелочи, если считать мелочью людскую жизнь...

Сведенья этот Николай собирает долго. Обрато возвращается только в феврале.

А потом уточнения, доводки, всякое остальное... Потом ожидание суда. Наконец решение: Власову Евдокию Алексеевну оправдать!

Судья понял: покойник был способным довести кого угодно до невменяемости...

Однако такая встряска даром Евдокии Алексеевне не проходит. У неё начинает подёргиваться голова и немного косит рот.

Баба Катя этого не замечает – неважно видит. А Володьке некогда – Володька веселится...

В мае месяце, не советуясь с Лизой, было решено справить годовщину Алёши, а заодно отметить правильное решение суда.

Из Красноярска – майор с женой, кривая тётка Нюра, сын её как раз дома оказался, пара близких соседей...

Человек десять набралось.

Лизе пришлось вместе со всеми оказаться за столом.

Пили, пели, вспоминая Остапа Ивановича, матерились, забыв, что теперь ему Бог судья...

Лиза в своё время, путешествуя по детдомам, ругаться тоже умела. Но после памятного разговора с начальником цеха её будто начисто отмыло от этих русских нечистот.

И теперь её всяким словом брани словно арапником хлещут. Владимир, молодец, не собачится. Но с каждой рюмкою у него всё шире разбегаются зрачки...

Лиза радуется тому, что на той половине дома заплакал разбуженный Алёша – не надо оправдывать свой уход.

Она садится там у стола. Качает на руках сына – пытается утешить. Тот продолжает хныкать.

А по первой половине дома – скачет казак через долину, через Маньчжурские края...

Алёша вроде не мешает ему скакать, но вместо казака в комнату на рысях влетает Владимир и с ходу бьёт Лизу по лицу. Сквозь зубы произносит:

– Ш-што?! Кровь голубая не выносит?.. Нарошно сына разбудила?! Штобы уйти?

Он повторно хлещет Лизу по щеке. Явно ждёт, что она закричит. Она же боится напугать Алёшу, потому смеётся!

Глаза у Владимира белеют окончательно, и тогда, с маху, он бьёт кулаком по голове сына...

Алёша закатывается...

Кто-то вбегает, силой отнимают его у Лизы, уносят. Вместе со всеми исчезает и Владимир. А у Лизы в руке вдруг появляется длинная, острая половинка ножниц...

Неведомая сила кидает её на сыновний крик. Кухонный стол огорожен полусогнутыми людьми. Спина Владимира перед Лизою... А половинка ножниц уже торчит у него из поясицы...

Никто сразу не понимает: что ещё-то случилось? И сама Лиза не осознаёт, почему на неё смотрят столько неподвижных глаз.

Баба Катя вдруг вопит треснутым голосом:

– Уби-и-ила!

Глаза оживают...

Кто-то кого-то куда-то тащит, волочит, советует...

Лиза в этой суе не может отыскать сына. Она обезумела...

Она до темноты мечется по селу...

Наконец Нинка через ограду сообщает:

– В стайке посмотри. Я видела, как Дуська туда кашу несла...

Годовалый Алёша сидит в яслях на стёганой подстилке. Тепло одет. Лицо припухшее...

Следом за Лизою в стайку семенит баба Катя, слёзно говорит:

– Уезжай, внучка! Я тебе денег на первое время дам. Уезжай. Дурак наш отлежится, поможет до вокзала проводить...

Но «дурак» всё-таки оказывается в больнице – вскользь задета правая почка.

Когда Владимир бывал трезвым, в нём устанавливался порядок, но такое случалось редко. В больнице случилось... Там он заявил, что его на улице саданули в бок хулиганы...

Хулиганы так хулиганы... Заявления от пострадавшего нет, и дело на том глохнет.

Деньги, что баба Катя выделила Лизе на отъезд, субботним утром лежали на месте, а тем же вечером от них остаётся только половина. А Владимир исчезает полностью!

Всё село свекровью обыскано, все люди повыспрошены... Вот и воскресенье! Поезд уходит вечером. Пора бы отправляться, а ни денег, ни Владимира!

К обеду Нинка окликает Лизу:

– Пошли давай – сама увидишь...

Двор, куда Нинка приводит Лизу, в недалёком переулочке. Во дворе – чёрт ногу сломит! Сенная дверь на петлях перекосилась, в проём – ладонь пройдёт. Нинка щепочкой легко справляется с внутренним крючком...

В сенях, на полу вдрызг пьяные хозяйки – мать и дочь. Обе полуголые; развалились на бараньих подстилках. Между ними мужик. Он, на грани сознания, руками враскид, пытается удовлетворить и ту, и другую...

Нинка плюёт и тащит Лизу в глубину кубла.

На полу ещё одна баба. Она, из комнаты в кухню, перевалилась через порог, наблевала и головою спит в своей помойке.

В комнате, на кровати – Володька. Рядом – девка с голой грудью и задранной юбкой.

Владимир успел надёрнуть брюки, прикрыть лицо согнутой в локте рукой, вроде как спит...

Лиза молча покидает гайно... На бегу она просит Нинку:

– Вызывай такси...

А у ворот уже стоит Владимир! Как вкопанный!

– Документы, сумка с едой, Алёшины вещи, – собираясь, перечисляет Лиза. – Остаток рукописей... Узел с одеждой... Кажется, всё!

Она не помнит, когда баба Катя сунула ей в карман последние свои сбережения, кто ей пособил оказаться в такси. Помнит, что Владимир и шагу не ступил, чтобы хоть чем-то помочь...

Таксист не сразу трогает машину. Лиза торопит – поехали! И видит, как баба Катя, маленькая, хрупкая, со всего маха хлещет внука по лицу... Владимир дёргается – бежать следом за машиной, но...

И ещё Лиза помнит, как таксист дорогой удивлялся:

– В первый раз вижу, чтобы, расставаясь, баба песни пела...

Это уже всё

До отхода поезда ещё больше часа. Алёша спит у Лизы на коленях. Цыганёнок мимо бегаёт-орёт... Цыганка ловит его и ласково матерится. Малыш хохочет... Лиза улыбается...

Цыганка вдруг подходит к ней, говорит:

– Денег от тебя не возьму. Они старым человеком на смерть были приготовлены... Скажу просто: сейчас появится человек – гони его прочь! Не прогонишь – загубит он твою жизнь... Сына уже загубил... Много впереди горя, ой много... Больше, чем перенесла... Но то, что дано тебе Богом, исполнишь! Не зря живёшь!

Она отходит от Лизы – на её месте почти следом образовывается Владимир. При нём ещё армейская походная сумка. Он с ходу валится Лизе в ноги и канючит без зазрения:

– Прости! Любимая! Пропаду без тебя...

Чем сильнее Лиза вдавливаясь в вокзальное кресло, чем громче, кажется, раздаётся по гулкому залу его доука.

Лизе стыдно. Она даёт Владимиру денег на билет и видит, как цыганка крутит пальцем у виска...

В Новосибирск поезд прибывает утром. Даже хорошо, что рядом Владимир. Всё-таки и Алёша, и какие-никакие вещи... Всё это остаётся на вокзале, а сама Лиза спешит домой – узнать: что да как?

Комната её занята прописанными жильцами, которых уверили, что им никуда не надо будет переселяться. Это подтверждают и в жилищно-коммунальном отделе. Однако начальник – человек! Взамен десятиметровки предлагает Лизе свободную комнату – аж девятнадцати метров!

Везение невероятное!

К вечеру семья уже на новом месте.

Вещей – только те, которые сумела прихватить Лиза. Владимир догонял её налегке: с трусами да майками в армейской котомке. Теперь оказалось – ни в стол, ни в печь, ни сесть, ни лечь...

Всё осталось в деревне. А главное – книги да швейная машинка! О рукописях Лиза старается не думать. У неё так и не дошли руки – посмотреть: чего там натворила с ними баба Катя?

На новом месте всего хозяйства, что стёганое одеяло, зимнее Лизино пальто да валенки. Алёшина одежонка...

Чемодан с мелким скарбом второпях забыт в селе. Ни ложки, ни вилки... Шаром покати...

Потемну Лиза находит на помойке выброшенный чемодан. Несёт домой, моет да определяет на полу. Застилает у соседки спрошенной газетой – вот и стол. Коммунальная соседка-дворничиха Надежда предлагает в кухне:

– Парнишонку-то некуда положить? У меня Витька подросток... Кроватку выбросить жалко. Забирай.

Опять – счастье! И кроватка, и постель, и чистое детское бельё! Вот уж действительно: голенький ох, да о голеньком – Бог... Столько везения в один день!

Накормленный, уложенный Алёша уснул. Лиза с Владимиром садятся на полу – ужинают с чемодана. Потом, на полу же, стелется стёганое одеяло. Лиза укрывается зимним пальто. Владимир спит одетым...

На следующий день, стараниями соседки, в комнате появляется почти крепкий стол, кровать с панцирной сеткой, пара стульев... На кухне старенькая, но просторная тумбочка, на которой горка посуды...

Мир не без добрых людей...

Будучи дворником, мать-одиночка Надежда знает в соседних домах всё и всех.

Не везёт ни у кого добыть только матраса. Приходится кровать застелить тем же одеялом, кинув поверху чью-то хоть ватную, но подушку.

Из прежнего места жительства Володька выписан. Чтобы устроиться на работу, нужна прописка. ЖКО с выдачей ордера не торопится. Деньги на исходе. Лиза нервничает. Владимир злится... Ищет хотя бы временную работу, но не находит. Однако заметно – возвращается не голодный...

Соседка, спасибо, позволяет Лизе пользоваться швейной машинкой. Есть подработка – есть хлеб и молоко...

Неделей дворничиха заглядывает к Лизе в комнату, говорит с порога:

– Я сёдни твоего видала – на базаре... Пиво стоит хлещет, беляши лопают... Чё ты его, дурёха, держишь? На днях ты спала, а он ко мне

подкатывал... Гони ты его к чёртовой матери, пока не прописался...

В тот незабываемый день Владимир является домой ополночь. И сыт, и пьян, и нос, как говорится, в табаке...

Слово за слово – поехало-затряслось...

Зрачки у Володьки вразлёт... Спасибо соседке: Алёшку грабастает – и к себе в комнату... В руках у Лизы – пестик от ступки... Только он и помогает ей остаться не битой... Сама уже в кухне...

А дальше что? В комнату не вернёшься. Спать негде. Ждать помощи неоткуда... Три часа ночи...

Надя советует:

– Милиция – через улицу...

В дежурке аж пятеро дюжих лбов. Ухмыляются. Появление ночью обиженной бабёнки – дело обыденное. Потому Лиза слышит:

– Бегаете, жалуетесь... Потом сопли распускаете – дяденьки, миленькие, отпустите дорогого... он больше не будет...

– Нет! – возражает Лиза. – Не прибегу... И бутылку вам за это не поставлю – не с чего... Прошу об одном: дайте ему понять, что такое больно...

И вот... Кровать застелена одеялом, стёганой же его половиной прикрыт Владимир. Храпит. На самом деле он спит обычно тихо. Явно прикидывается.

Лиза следит от порога комнаты, как его трое служивых пытаются «разбудить». Четвёртый за её спиною разговаривает с Надеждой. Её, как дворника, милиция знает. Потому и разговор идёт дружеским путём.

– Чё-то у них ни хрена нету? – спрашивает крепыш в форме. – Наверное, оба закладывают?

Соседка отвечает:

– Да у неё ребёнка нечем кормить... Закладывают... Он, паразит, врёт, что работу ищет, а сам по сучкам шлындает... Ишь какой красавец! Почисти тебя... Бабы его и жратвой, и деньгами снабжают... А она, дура, с копейки на копейку перебивается...

Тем временем один из милиционеров склоняется над «спящим». Лизе не видно, что он делает. Только Владимир вдруг вскакивает как ошпаренный. Долго ему собираться нет нужды – одет. Уходят все сразу...

А соседка говорит Лизе:

– Не пропадёшь... Вон ясли через дорогу... Там им няньки всегда требуются. Я и у них тоже – дворником... Прописывайся... Книжку санитарную получай... Вера Ивановна – золотой человек. Она и тебя, и пацана твоего возьмёт. Ничего, что маленький – ты ж сама при нём будешь... А бугая гони к... матери...

Пока «бугай» пребывает в вытрезвителе, Лиза успевает и прописаться на новом месте, и пройти медосмотр, и на работу выйти. Её Вера Ивановна приняла, вместе с Алёшей, воспитателем в ясельную младшую группу.

Зарплата – пятьдесят два рубля. Зато вычет за питание всего пятёрка...

Владимир появляется в квартире воскресным утром, когда Лиза добеливает в комнате последнюю стену. Всё его лицо украшено жёлто-сиреневыми пятнами от проходящих синяков.

Он останавливается, приваливается к дверному косяку, морщится. Тем показывает, что мусора накостыляли ему основательно.

Актёр!

Сам продолжает держаться у порога. Ведро-то с извёсткой у Лизы под рукой! С расстояния жмёт на бабью жалость:

– Давай пересмотрим нашу жизнь.

– Уже! – отвечает Лиза. – Пересмотрела. И в сумочку твою боевую упаковала... Видишь, рядом с тобой стоит? Забирай и уматывай! И чтобы я тебя больше не видела...

Нинка из кухни добавляет:

– Я в милиции всех знаю и меня все знают... Надо будет, опять морду разукрасят...

Постояв, помолчав, Владимир исчезает – даже не хлопнув дверью.

Эпилог

Золотая осень. Елизавета медленно идёт широкой улицей Новосибирска. Идёт мимо огромных окон магазина промтоваров. Любуется своим отражением. Не зря её величают иной раз именем Софи Лорен. Хорошо то, что она осознаёт внешность свою достойной похвал только тогда, когда видит отражение. Остальное её внимание занято фантазиями. Рифмы, поговорки, придумки теснятся в голове, как пчёлы в улье. К тому же обычная эта кутерьма постоянно

пронизывается сторонними речевыми звуками. Елизавета невольно слышит каждое особо произносимое русское слово. Так композитор слышит малейшие оттенки звуков. Так художник видит тончайшие переливы красок...

Елизавета идёт мимо открытого уличного рынка, напичканного огурцами, помидорами, луком... А ещё астраханскими арбузами, алма-тинскими яблоками, зычными голосами торгового люда...

Елизавете сорок! Она не помнит, чтобы её дни рождения хотя бы один раз в жизни были омрачены ненастьем. Счастливое время – бабье лето!

Деньги в ходу ещё такие дорогие, что за один рубль можно купить и арбуз, и яблоки...

Такого рубля вполне хватает заводским мужикам и на проезд в оба конца рабочего пути, и на обед, и на курево...

Шумит базар:

– Ничё, бабка, у тя семечки! Давай сюда. Сыпь прямо в карман.

– Да ты глянь путём – каки мясисты помидорчики-то мои!
Утреннего сбора.

– Огурчики малосольнаи! Бери – не пожалеешь...

– Хорошая капуста. Вилочк к вилку. Чё тебе ещё-то надо? Ну и пошёл на хрен! Дряблая... Сам ты дряблый!

Голос хриплый. Не то пропитый. Не то прокуренный. Не хочешь, да оглянешься.

Лиза оборачивается. У женщины с тюрбаном на голове, кокетливо сострепанным из клетчатого зимнего шарфа, заколотого огромной брошью, лицо смахивает на неоципаный капустный вилок – зелёное и мятое.

Быть того не может! Мария?!

Елизавета ошарашена. Она не в силах даже отвернуться. Хотя её капустная тётка уже занервничала. Уже насупилась. Уже раздула ноздри. Сейчас заматерится...

Спасибо – её прикрывает собою спина широкой покупательницы. Не узнанная Марией Елизавета направляется дальше – нужной дорогою. У неё назначена встреча.

Эту самую «встречу» из-за угла длинного кирпичного дома выносят крылья издательской радости. Она размахивает над своею

головой обещанным Лизавете ко дню рождения сюрпризом и орёт на всю улицу:

– Твоя книга! Твоя первая книга!

Примечания

1

См.: Пьянкова Т. Таёжная кладовая. Сибирские сказы. М.: Вече, 2019.

2

Ярка – молодая овца; подъярок – молодой волк.

3

58-я статья УК РСФСР – «враг народа».

4

Аноха – простак, недоумок.

5

Опока – снежные блёстки в воздухе.

6

Роспуски – сани для перевозки воды.

7

Обшивни – сани с высокой спинкой.

8

Зоска – употребляемый в игре кусок кожи с длинной шерстью (например, медвежьей), с внутренней стороны которого пришивается груз – тяжёлая свинцовая пуговица.